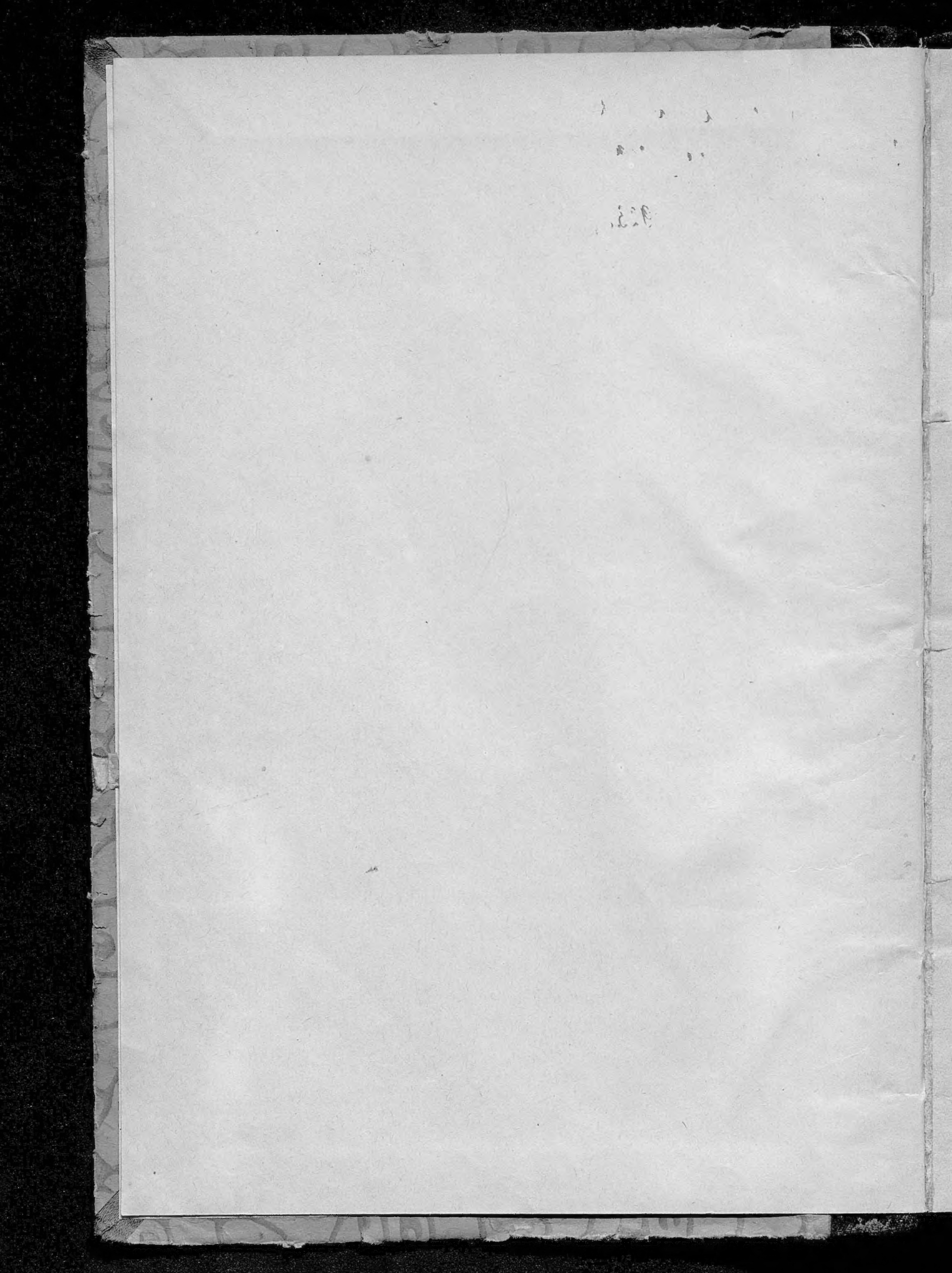


63.3(2)5
К-56
М. КОВАЛЕНСКИЙ
9(47)
К 56
61208
ПРОВЕРЕНО 1935 г.
РУССКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ
В
СУДЕБНЫХ
ПРОЦЕССАХ
И
МЕМУАРАХ
ИЗДАНИЕ
Т-ВА „МИР“
МОСКВА
1923.


1941
...очено
в
каталог


ПРОВЕРЕНО



М. КОВАЛЕНСКИЙ

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ и МЕМУАРАХ

КНИГА ПЕРВАЯ

Процессы Нечаева, 50-ти и 193-х.

Издание Т-ва „МИР"
МОСКВА
1923.

Тип. 1-е Петрогр. Печатное Производство «Д Е Л О», 5-я Рождественская 44.

Петрооблит № 2599.

Тираж 4000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

История русской революции насыщена драматическим элементом. Героическая борьба, какую вел и ведет русский революционный пролетариат,—даст будущим писателям и поэтам богатейший и благодарнейший материал для литературной и сценической обработки, и не одно поколение зрителей будет в театрах будущего переживать вместе с нами—великую драму русской революции. Не мало этого драматического и героического материала и в прошлом нашей революции, в предыдущих этапах ее развития,—связанных, может быть, не совсем с теми лозунгами, не совсем с теми идеологиями, во имя которых идет борьба теперь, но при всем том занимающих законное место в истории русской революции. Сколько этого материала дает уже теперь движение декабристов,—а его либерально-буржуазные лозунги, его идеология отнюдь не наши. Далеко от нас теперь и народничество и крестьянский социализм 60—70 годов,—но в истории пропагандистов и бунтарей, землевольцев и народовольцев, с их классической борьбой „по способу Вильгельма Телля,“—неиссякаемый родник драматических вдохновений. Жизнь сама создавала изумительные по силе трагедии, с которыми трудно сравняться книжным трагедиям поэтов. Перечитайте русские политические процессы 60—70 годов,—вы получите не в пример более сильное впечатление, чем от каких либо поэтических созданий нашего нынешнего театра.

Какое воспитывающее значение для молодых революционных поколений должны иметь созданные самой революционной борьбой драмы—ясно и без доказательств. Переживая революционные бури прошлого, невольно сам заражаешься революционным духом. Еще сильнее они подействуют при инсценировке. Составителю этого сборника приходилось инсценировать некоторые из процессов со слушателями партшколы и педагогического института,—и опыт оказался очень удачным. Молодежь с огромным интересом участвовала в этих инсценировках и смотрела их в качестве публики; составитель не сомневается, что ему удастся и впредь еще не раз, и с тем же успехом, проводить эти инсценировки.

В настоящем первом выпуске собрано 3 процесса 70 годов: процесс Нечаева, процессы 50 и 193. В дальнейших выпусках предполагается поместить процесс Веры Засулич, дело 1 марта, процесс первого совета рабочих депутатов и др. процессы, для коих имеются достаточные материалы.

Кроме больших отрывков, наиболее драматичных, наиболее характерных, из отчетов о самих процессах, здесь даются также различные дополнительные материалы, взятые из мемуаров, из воспоминаний современников, о самих „политических преступлениях“, служивших предметом судебного „действа“, о подготовке к этим „преступлениям“, о постановке суда, о поведении на суде тех или других подсудимых, о впечатлениях современников, как от суда, так и от „обряда казни“. Приводится материал о предшествовавшей жизни и деятельности героев этих процессов, о последующей их судьбе. Привлечены также произведения поэтов, отозвавшихся на отдельные моменты той сложной революционной драмы, которую развертывала перед ними жизнь. При всем старании составителя—собрать все сколько-нибудь важное и ценное в этом отношении, пробелы и недочеты всегда возможны, — не вычерпать в одной книге всего обширного накопившегося материала.

ВВЕДЕНИЕ.

Великое историческое движение, прорвавшееся в 1905 и 1917 годах в ряде бурных революционных взрывов, приведшее к красному октябрю, завершившееся рабоче-крестьянским правительством, диктатурой пролетариата и беднейшего крестьянства,—это движение имеет свои истоки далеко за пределами 5 и 17 годов, оно идет из далеких исторических глубин народной жизни, насчитывает не один десяток лет в своей истории. Двойная формула — рабоче-крестьянское государство, рабоче-крестьянская революция—соответствует и двум основным движениям, приведшим к этой революции, к этому государству; в основе его заложены два движения,—одно пролетарское и другое крестьянское. Различные по своему происхождению, различаются они и по своей программе, и по методам борьбы, и по ходу развития. Различны они и по своей идеологии. Одно из них,—рабочее, пролетарское, выковавшее свои методы борьбы во всемирном развитии стачек, в революции „скрещенных рук",—идеологию свою и программу получило в научном социализме Маркса и Энгельса, в резолюциях первого и второго, в наши дни—и третьего Интернационала,—а организацию в сплоченных, организованных и дисциплинированных рядах партии, сперва с. д., потом—коммунистической. Но это не было единственное на Руси революционное движение. Рядом с ним и раньше его шла другая великая борьба, борьба крестьянства с помещиком, борьба пахаря с феодалом, борьба ограбленного при крестьянской реформе мужика с ограбившим его барином, борьба за землю и волю. Непролетарское по своему составу, несоциалистическое по своей программе, движение это должно было сбросить барина с мужицкой шеи и с крестьянской земли и обеспечить за мужиком всю эту землю, передать ее в руки трудящихся, из'яв у помещиков-паразитов. Потомки Фамусовых и Чацких, Онегиных и Печориных, Обломовых и Чичиковых—должны были лишиться своих дворянских гнезд и вишневых садов, и не за золотую валюту, которую могли им дать всякие Лопахины и К^0, а без выкупа, в порядке экспроприации, революционным порядком. „Мы ваши, а земля наша"—говорили еще декабристу Якушкину его крестьяне, когда он предлагал им освобождение без земли. Юридическую волю им дало 19 февраля, теперь дело шло о земле. Но от передачи земли в руки крестьян до организации сельских коммун, до социалистической организации сельского хозяйства—было еще далеко, и крестьянское аграрное движение в России ни в 50, ни в 70, ни в позднейших годах—не

было по существу социалистическим движением, но было движением мелко-буржуазным. Порубки и потравы, разборки барских земель, житниц и экономий, признавая право труда на землю, никак не организовывали ни этого труда, ни этой земли. Однако, идеология этого движения, созданная русским народничеством, провозглашенная Герценом и Чернышевским, проповедуемая Шелгуновым и Михайловским, говорила о том, что русский мужик, выросший в традициях земельной общины и артели, гораздо ближе стоит к коммунизму, чем западный пролетарий, воспитанный в уважении к принципу частной собственности,—выдвигала взамен пролетарского социализма—социализм крестьянский, который должен был как раз застраховать русское крестьянство от грозившей ему в будущем пролетаризации, а самоё Россию от капитализма и от связанного с ним пролетариата. Россия совсем не обязана повторять в своем развитии всех тех ступеней, по каким прошла в свое время западная Европа,—линия развития, эмпирически изученная на западе, вовсе не обязательна для востока, Россия может перепрыгнуть вверх через ступеньку, как хорошая ученица перескакивает через класс,—может миновать стадию капитализма и сразу перешагнуть в царство социализма. Так твердили вожди этого движения, а за ними и все бесчисленные их адепты. От этого полумифического крестьянства ожидали они развития русской социальной революции, от мужицкого русского мира ждали сигнала к освобождению труда в целом свете. Социалистические учения запада фигурировали во всех писаниях и воззваниях русских народников, они старались привить этот социализм русским массам, старались развить найденные у них социалистические инстинкты—в социалистические понятия, но им это не удалось. Гораздо легче поддавались их пропаганде круги фабрично-заводских рабочих, круги пролетариев. Тем не менее, русское народничество оставалось при своем убеждении, не хотело признавать русского крестьянского движения мелкобуржуазным, и напротив винило в буржуазности пролетарскую идеологию социал-демократов, марксистов, считавших капитализм неизбежным этапом русского экономического развития.

Первые волны крестьянской революции поднялись на другой же день после реформы 19 февраля. Освобождавшееся царским манифестом с количеством земли меньшим прежнего надела, за выкупную плату выше рыночных цен, с сохранением на два года барщины и оброка,—русское крестьянство почти везде отказывалось признать эту волю—тою волею, которой оно столько времени и с такой страстью ждало,—отказывалось брать эту волю, отказывалось брать самую книгу „положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости", или, взяв „положение", толковало его по своему, отказывалось от дальнейшего выполнения барщины и оброка, или требовало себе запасов из барских житниц, само отбирало эти запасы. На этой почве в целом ряду губерний Евр. России разыгрались в 61—62 гг. бесчисленные крестьянские „беспорядки", как это называли официальные донесения флигель-ад'ютантов,—1.100 беспорядков. Кое где, как например в селе Бездне (Казанск. губ.),

дело кончалось кровопролитием,—большею же частью поркой крестьян, которые после этого смирялись. Порядок торжествовал, и русский освобожденный раб принимался за устройство своей новой свободной жизни, осененный для своего свободного труда не божьим благословением, как этого требовал манифест,—а плетями и розгами царских солдат. И русские крестьяне, одетые в серые шинели, пороли и стреляли в русских крестьян, одетых в рубахи и зипуны. Далеко за горами было еще тогда то время, когда эти серые шинели повернут оружие против вчерашних хозяев жизни и перейдут на сторону революции, на сторону трудящегося народа. Три четверти века должно было пройти, прежде чем эти серые шинели да матросские блузы дадут, наконец, торжество русской революции, вслед за февральским штурмом самодержавия создадут октябрьский штурм старого общественного порядка.

Крестьянское движение 60 годов было раздавлено, и на целых полтора десятка лет замерло, исчезло с поверхности русской жизни. Русский мужик пробовал приспособиться к новым аграрным условиям своей жизни, своего хозяйства, и долго еще не имел силы поднять вновь знамя восстания. До конца 70 годов на Шипке русской деревни было тихо, — но движение, выпавшее из крестьянских рук, было подхвачено другими руками, — руками русской разночинной интеллигенции. На почве неразрешенного ни реформой, ни крестьянским революционным движением 60 годов аграрного вопроса, выросло это новое интеллигентское движение — мелко-буржуазное по общественной среде, где оно сложилось, мелкобуржуазное и по своим основным тенденциям, но с красным знаменем социализма в руках. Это был крестьянский социализм народников. Новое направление провозгласило русского мужика — прирожденным социалистом и революционером, но самый социализм был им нужен для защиты крестьянства от разгрома его крупным капиталом. С этой руководящей целью—двинулись новые эти крестоносцы в „народ“, — для пропаганды и агитации и для подготовки в народных массах всенародного восстания, по образцу Разина или Пугачева. А над их головами звучал призывный благовест Герцена и его „Колокола“, взывавшего к воскресению народов, призывы Бакунина и Лаврова. В самой России к тому же взывал „Современник“ Чернышевского, о том же толковали первые русские прокламации 60 годов „К молодому поколению“, „Молодая Россия“ и иные. „Россия вступает в революционный период своего существования“,— провозглашала свои лозунги „Молодая Россия“: „Выход из гнетущего, страшного положения, в каком оказывается вся страна,—один—революция, революция кровавая и неумолимая, революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества, и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что погибнут, может быть, и невинные жертвы,—мы предвидим все, и все-таки приветствуем ее наступление. Мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она, давно желанная“. Уже в этой—одной из первых на Руси революционных прокламаций говорилось о захвате власти, о демократической и социальной

республике, о революционной диктатуре, о кровавом терроре, об истреблении „императорской партии“, как называет прокламация всех врагов народа,—об истреблении их всеми способами: „мы издадим один крик— в топоры“! „и тогда—тогда бей императорскую партию не жалея, как не жалеет она нас“. „Помни, что тогда кто будет не с нами, тот будет против, кто будет против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами; а царский дом Романовых — с теми рассчет другой. Своею кровью они заплатят за бедствия народа, за долгий деспотизм, за непонимание современных потребностей; как очистительная жертва сложит головы весь дом Романовых“.

За этой прокламацией последовали другие, — и началась героическая симфония русской революции, началась в мертвых схватках пропагандистов с царской полицией, с царскими тюрьмами и судами, виселицами и расстрелами. За первыми попытками мирной культурной работы в воскресных школах последовало их повсеместное закрытие и запрещение, за первыми прокламациями — целый ряд арестов, процессов, ссылок, позорных столбов — позорных столбов Михайлова, Чернышевского. За рядом таких репрессий — первые партизанские выстрелы — выстрел Каракозова, а за ним новый под'ем реакции и репрессий, эра Дмитрия Толстого с его сословной школой, с его стерилизацией русских мозгов—путем их питания окаменелостями мертвых языков. За эрой Толстовской школы—одновременно с ней — выступает как раз школьный работник, учитель приходской школы, да еще преподаватель в ней закона божия,—выступает Сергей Нечаев,—и какая это грандиозная фигура на пути русской революции! Громадная революционная энергия, громадный организаторский дар, об'явление безпощадной войны всему старому миру, осужденному на гибель, на исчезновение, низложение примата старой буржуазной морали, и замена ее новой этикой—этикой революции, для блага коей все средства хороши... С этим громовым лозунгом, „все для революции“—проходит перед нами этот сверх-революционер. От него, от его морали, открещиваются всячески ближайшие его преемники по борьбе—чайковцы, но по его стопам вынуждены итти землевольцы, народовольцы, через каменные стены Петропавловских казематов—подает он руку Желябову, печать его гения ложится на целый период русского революционного движения.

Не успел сойти со сцены Нечаев — новый ряд борцов революции выходит вперед, — открывается новая эра крестоносного хождения в народ, когда тысячи молодых людей покидают свои дома, свои школы, и уходят на великую страду революции, — на пропаганду в самой народной гуще, на фабрики и заводы, и в самую глушь деревни. И сейчас же начинается с другой стороны целый ряд новых репрессий, тысяча арестов, сотни подсудимых, целый ряд громадных процессов, — процесс 50, процесс 193... — Русская революция начинала свой церемониальный марш перед лицом царского суда, перед лицом всей дряхлеющей Европы, всего старого буржуазного мира. За рядом этих процессов—новые битвы, новые атаки и контр-атаки, — порка роз-

гами политического Боголюбова, казнь Ковальского, Осинского, целый ряд новых казней,—и затем новые ответы снизу, из рядов русской революции: партизанский выстрел Веры Засулич в градоначальника Трепова, оправдание ее русским судом присяжных и освобождение толпой от нового жандармского ареста,—убийство шефа жандармов ген. Мезенцева на улицах Петербурга,—покушение Соловьева на самого царя. В этой борьбе революционные ряды вынуждены перестраиваться на новый лад, стягивать свои силы, централизоваться, законспирироваться лучше прежнего; усиливающиеся репрессии заставляют их двигаться все дальше и дальше на их боевом пути,—заставляют переходить к политической борьбе с самодержавно-полицейским строем: на очередь ставится вопрос об организации всенародного восстаиия и о дезорганизации правительства путем террора, систематического террора. Партия „Земли и Воли" распадается на две группы, и одна из них „Народная Воля"—целиком уходит в политическую борьбу. Недостаток сил и средств не позволяет ей широко развернуть подготовку и организацию народного восстания,—дело ограничивается организацией ряда террористических покушений на имп. Александра II. После целого ряда неудачных покушений, казнь императора совершается 1 марта 1881 г. на улицах собственной его столицы. Единоборством вождей, дуэлью Желябова с Романовым, не решается, однако, исход борьбы, и свалить лицо, даже возглавлявшее старую Россию, оказывается мало: на другой день на опустевшем царском троне восседал уже его преемник, а ультимативное письмо рев. исп. комитета к Александру III так и осталось без ответа. А затем правительство Александра III переходит к ликвидации всего движения Народной Воли, и в 1887 г. не остается уже на воле в русских пределах ни одного народовольца: „гидра революции", казалось, вырвана с корнем. Но в то самое время, как правительство думает праздновать победу над этой революционной гидрой и переходит к дикому разгулу ультра-дворянской и ультра-монархической реакции,—у революционной гидры отрастают уже новые головы, в деревнях возрождается снова затихшее было аграрное движение, а в городах, на фабриках и заводах, формируются первые батальоны новой революционной армии—российского пролетариата; русская революция готовится вступить в новую фазу своего развития.

От прокламации „Молодой России" до революционного катехизиса Бакунина и Нечаева, от Нечаева до Желябова—русская революция прошла большой и сложный путь. Во всех стадиях этого пути она проходила чрез залы царских судов, чрез тюрьмы, застенки и эшафоты. В судебных процессах революционной эпохи отражались ярко и сильно оба врага—революция и старый порядок—в их взаимной борьбе, отражались в самые критические, в самые драматические для них моменты. В эти как раз моменты судебных процессов встают перед нами во весь рост фигуры Нечаева и Желябова, Бардиной и Засулич, Петра Алексеева и Ипполита Мышкина, и стольких других их товарищей по борьбе и судьбе. Многое и многое отделяет нас теперь, в XX веке, в период социалистической пролетарской революции, от этих героев и мучеников

другой, крестьянско-интеллигентской революции прошлого, но есть нечто, что роднит их с нами, что делает их родными и близкими и для нашего времени и для людей нашей революции,—это та сила революционной страсти, какая кипела в этих борцах, та святая ненависть, какой они были проникнуты к старому режиму, которая не позволяла им мириться с ним ни при каких условиях, и приводила их на эшафот, освященный их мученической кровью. Память их священна для нас,—не даром ставит им памятники новая, вышедшая из революции, красная Россия. Не даром так высоко ценит их В. И. Ульянов-Ленин, — воскликцавший в 1902 г.: „или вы думаете, что в нашем пролетарском движении не может быть таких корифеев, которые были в 70-х годах"? Этими корифеями он считает Алексеева и Мышкина, Халтурина и Желябова.

Процесс Нечаева.

Одним из первых политических процессов 70-х годов является процесс о заговоре против существующего в российской империи строя, рассматривавшийся в петербургском окружном суде в 1871 году. Это был громадный процесс, к нему было привлечено много народа. Арестовано по этому делу было до 300 человек, на скамью подсудимых посажено 87. Дело тянулось не одну неделю и очень занимало столичную публику. Оно разбиралось гласно, при открытых дверях, отчеты его печатались в оффициальном издании, „Правительственном Вестнике", на суде выступали крупнейшие адвокаты: кн. Урусов, Спасович и другие. Словом это были „большие дни" в летописях петербургского суда.

Движение, захватившее сотни лиц, примыкавшее к целому ряду других аналогичных движений, не могло быть созданием одного лица, не могло быть вызвано к жизни чьей-либо личной волей. Оно выросло на подготовленной почве, и корнями своими уходило в геологические пласты русской жизни. На той же почве выросла и центральная фигура, выше других поднявшаяся над процессом.

Центральной фигурой процесса, хотя и отсутствовавшей на суде, был несомненно Нечаев. Его выдвигали вперед и прокуратура, и свидетельские показания, и весь ход процесса. Не было на суде самого Нечаева, но во всем сказывалась его рука, рука крупного агитатора, властно двигавшая людьми и событиями.

Сын ремесленника, 16 лет выучившийся грамоте, потом учитель приходского училища в Петербурге, и притом учитель закона божия, Сергей Геннадиевич Нечаев—представляет собой крупную фигуру среди других русских революционеров. Первые его выступления связаны с петербургским студенческим движением конца 60-х годов. Уже в 1868 г. он начал агитировать в студенческой среде; к весне 1869 г., когда кончи-

лись в Петербурге студенческие беспорядки, среди студентов появились, наряду с бакунинскими, и нечаевские прокламации, призывавшие молодежь к борьбе, старавшиеся придать движению политический характер. Но сам Нечаев был уже в это время далеко, и прокламации свои присылал из-за границы. Самый от'езд его за границу был поставлен необыкновенно. Распространился слух, что Нечаев арестован, что его заключили в Петропавловскую крепость, что ему удалось бежать из крепости, что он благополучно скрылся за границей и теперь работает для русской революции в Европе. Действительно, он оказался там, вошел в сношения с Герценом, Бакуниным, Огаревым; Герцен выдал ему 1.000 фунтов стерлингов на организацию русского революционного движения, Бакунин вручил ему членский билет своего международного Альянса за № 2771 и назначил его организатором русского отдела этого Альянса. Таким образом вооруженный, вернулся Нечаев в сентябре 1869 г. в Россию.

И вот агент бакунинского Альянса приступил к работе. Он заводит связи с учащейся молодежью, со студентами Московской Петровской Академии, с московской интеллигенцией, организует студенческие кружки, ездит из Москвы в другие города, в Питер, в Ярославль, в село Иваново, организует кружки, собирает деньги, устраивает тайные типографии, снабжает своих товарищей фальшивыми паспортами, распространяет революционную литературу. Возникает нечаевская организация под громким названием „Общество народной расправы или топора“, от имени этой организации пишутся воззвания, провозглашается призыв к активной революционной борьбе: время мирной пропаганды прошло, надо действовать, и притом действовать, ни перед чем не останавливаясь. Бакунинский катехизис, найденный у нечаевцев, рассказывает, как должен вести себя революционер. Здесь правила революционной деятельности, проникнутые одним принципом: все для революции, это верховная цель, оправдывающая все средства. Сама этика пересматривается с новой точки зрения: революция—высший закон. На этом пути стоит Нечаев.

Этот принцип применяет Нечаев к тому делу, которое кладет конец всей его деятельности и организации. Среди студентов Петровской Академии, где сложился кружок Нечаевцев,—возникли недоразумения—вырос конфликт с студентом Ивановым, отказавшимся подчиниться властной воле Нечаева. Опасаясь со стороны Иванова измены, гибели всего дела, Нечаев решил покончить с ним, принести его, согласно принципам новой морали, в жертву революционному делу. Сговорившись с товарищами, Нечаев организует убийство студента, и Иванов падает жертвой; 21-го ноября 1869 г. в гроте Петровской Академии под Москвой совершается это политическое убийство.

Несмотря на все старания скрыть концы в воду, убийство обнаруживается, возникает судебное дело. Раскрывается вся сеть нечаевских организаций. Аресты следуют за арестами, 300 человек привлекается к делу, 87 обвиняемых сажаются на скамью подсудимых, по обвинению в

обширном заговоре против существующего строя. Обвиняемые делятся на суде на группы, в первую группу включаются ближайшие товарищи Нечаева по убийству. Четверо из них, Успенский, Кузнецов, Прыжов и Николаев, попадают в Сибирь на каторгу. Но самому Нечаеву удается избежать этой участи,—он спешно скрывается за границу, и в то время, как его товарищи по убийству отправляются в Сибирь,—он чувствует себя в полной безопасности, под защитой законов, не допускающих выдачи политических.

Однако, личность Нечаева настолько крупная, важная личность, что российское правительство делает все на свете, чтобы добиться его выдачи, чтобы получить его в свои руки. Специальные лица командируются за-границу, в поиски за Нечаевым. Руководить погоней отправлен был за-границу командир Семеновского полка Никифораки. Русским дипломатическим представителям за границей было сообщено, что „государь повелеть соизволил принять все меры к поимке этого преступника"; требовалось оказывать всякое содействие этим розыскам и поимке, влиять в этом направлении на иностранные правительства, и в случае обнаружения Нечаева — требовать его выдачи, как уголовного преступника, в распоряжение русского правительства. Западную Европу наводнили русские тайные агенты, карточки Нечаева были распространены повсеместно, все державы, за исключением только Англии, обещали свое содействие. Понадобилось довольно времени, чтобы розыскать Нечаева. После целого ряда неудач в этом деле, наконец, Нечаев был открыт и захвачен, при содействии швейцарских властей, в Цюрихе. Здесь его выследил польский эмигрант Адольф Стемпковский, 14-го августа 1872 г. Нечаев был немедленно арестован швейцарской полицией, скован наручниками, отправлен в местную тюрьму, и выдан, как уголовный преступник, российскому правительству. Цюрихские эмигрантские круги пытались освободить Нечаева на пути к вокзалу, но это им не удалось.

Так совершилось возвращение Нечаева в Россию. В январе 1873 г., в Московском окружном суде, публично началось слушание громкого этого дела, начался суд над Нечаевым, но и этот суд Нечаев умел использовать для своего революционного дела: стоит прочесть отчеты суда, рисующие, как вел себя на суде Нечаев, с каким безграничным презрением относился он к своим судьям, чтобы в этом убедиться. И, несмотря на обвинительный приговор, победителем (моральным) из залы суда выходят не царские судьи, а осужденный ими на 20 лет каторги подсудимый.

Условие, на котором был выдан Нечаев, формально было соблюдено, Нечаев был осужден на основании уголовного закона. Но взамен каторжных работ, где-нибудь в Сибири, Нечаев был заточен в Петропавловскую крепость, куда сажали обыкновенно лишь политических. Здесь, в каменных казематах Петропавловки, в Алексеевском равелине, должен был кончить жизнь фанатик революционного дела.

Но что такое каменные казематы, что такое Петропавловка для истинного революционера, для такого революционера, как Нечаев?! Запертый в этом каменном мешке, Нечаев умеет и здесь делать револю-

цию. Он ведет искусную работу среди крепостной стражи, умеет привлечь на свою сторону солдат охраны, своих тюремщиков. С конца 1880 и до весны 1882 г. идут сношения пленника Петропавловки с волей. Солдаты готовы на все для Нечаева: они переносят записочки из крепости и в крепость, таким путем Нечаев входит в сношения с исп. комитетом Народной Воли, с Желябовым, и в его уме слагается грандиозный замысел: воспользоваться случаем, когда в Петропавловском соборе, у императорских гробниц явится царь, и тут захватить его в плен, посадить в тюрьму, а на престол возвести его наследника. Об этом то и идут переговоры с Народной Волей, с Желябовым. Одновременно Нечаев подготовляет и свой собственный побег из крепости. В общей суматохе, какая будет после переворота, легко будет воспользоваться общим замешательством для побега.

Этот удивительный по смелости, по революционной дерзости, замысел не осуществляется, не потому, чтобы Нечаев признал его неосуществимым, или что либо помешало на деле его осуществлению,—Нечаев сам отказывается и от своего побега, и от переворота,—узнав, что одновременно подготовляется другое покушение на царя обществом Народной Воли, на улицах Петербурга, и он отказывается от своего в пользу Желябовского проекта, как более легко осуществимого. Вместе с тем он отказывается и от своего побега... и тем самым лишний раз подтверждает свою верность новой революционной морали; для него, как для революционера—революция выше всего. И он так же легко и свободно жертвует своей, как и чужой жизнью, великому делу революции. Сношения Нечаева с волей были позднее обнаружены, и в декабре 1882 г. солдаты „нечаевцы“ отданы под суд и отправились—кто в арестантские роты, кто в Сибирь.

Нечаеву так и не суждено было больше выйти из крепости. Десять последних лет своей жизни провел он в ее казематах и умер там в 1883 г., отсидев половину назначенного ему срока.

Крупная фигура Нечаева не прошла бесследно в русской жизни, она вызвала против себя бурный протест среди всех поклонников автономной этики, всех тех, для кого революция не высший закон. Первые революционные кружки 70 годов, кружок чайковцев в первую голову, создались на почве протеста против Нечаева, против его революционных методов, против его диктаторских замашек, против его, как это называли, „генеральства“. Нет, не все средства законны для революции,—говорили эти законники буржуазной морали. Нечаев на долгий ряд лет остался отверженцем революции, ее изгоем, ее расстригой. С отречения от Нечаева начиналась обыкновенно всякая революционная карьера, под знаком анафемы его методам проходила вся революционная деятельность 70 годов.

Отзвуки этого протеста против Нечаева и Нечаевщины—звучат и в литературе, в творчестве Достоевского,—из фактов Нечаевщины создал он свой знаменитый обличительный роман „Бесы“, — где бесовским наваждением об'является все революционное движение.

В наши дни, когда нами пережиты уже три российских революции, когда не только мораль, но и вся решительно наша жизнь подвергается пересмотру и переоценке с новых, пролетарских, революционных точек зрения,—ныне пора, казалось бы, сделать пересмотр и переоценку и деятельности Нечаева. Пора заняться реабилитацией революционера, который не только от других требовал жертв во имя революции, но и свою жизнь отдал ей без оглядки и без остатка, и своим собственным примером запечатлел свою верность принципу: „все для революции".

Процесс 50-ти.

За крупной фигурой Нечаева, фанатика и героя революции, развертываются целые фаланги революционных деятелей, пропагандистов, крестоносцев великого движения—„хождения в народ". Под лозунгами крестьянской революции, крестьянского социализма, двинулись они в народную массу, целью их было—подготовить народ к перевороту, к социальной революции, которая казалась им уже очень близкой,—она должна была разразиться со дня на день, и во всяком случае в течение 70-х годов. Надо было пробудить в крестьянской массе заложенные в ней социальные инстинкты, инстинкты социализма, развить их в сознательные понятия и идеи, создать в русских селах и деревнях целую армию коммунистов. Согласно народническому учению, русский мужик считался прирожденным коммунистом, он вырос в традициях крестьянской общины и артели, в достаточной степени свободен от буржуазных предразсудков, от преклонения перед догматом частной собственности. Работа пропагандистов должна была главным образом вестись в деревне,—они не отказывались и от работы в городе, на фабриках и заводах, среди пролетариев,—но эти пролетарии были им нужны и важны не столько сами по себе, сколько по близости своей к деревне, к крестьянству, от которых они не все еще оторвались,—рабочие могли быть хорошими пропагандистами среди крестьян же. Работа велась и в городе, и в деревне. Кружок Чайковцев, сложившийся в Петербурге, вел работу у петербургских застав, в районах, населенных фабричным людом; отсюда вышли первые пропагандисты в деревню,—распропагандированные чайковцами рабочие, из них первый Григорий Крылов,—он двинулся сперва в подгородные деревни, а затем в Тверскую губернию, где и умер в тюрьме в 1876 г., за ним пошли другие рабочие, за ними сами чайковцы—Кравчинский, Перовская и другие. Скоро движение охватило широкие массы, круги учащейся молодежи,—приобрело массовый характер.

Переодевшись в крестьянские костюмы, в костюмы мастеровых, освоившись несколько с сапожным, столярным, фельдшерским делом, шли эти люди, большей частью учащаяся молодежь, в народ. Там, в народной гуще, замешавшись в ряды народа, вели они свои революционные

беседы, снабжали своих слушателей книжками и брошюрами, подбирая хорошие легальные издания—и пригодные нелегальные. 37 губерний Европейской России были охвачены этим движением. Немного результатов дала эта пропаганда, крестьянство как раз в те годы переживало полосу апатии, после неудачи движений 1861—62 годов, кончившихся расстрелами и генеральной поркой,—и на призывный клич студенчества не отзывалось вплоть до конца 70 годов, когда многие сотни пропагандистов сидели уже по тюрьмам и ссылкам, погибли на виселицах и под пулями. Но совсем бесплодным движение все таки не было: оно подготовило почву для будущих революционных движений, и когда в 90 годах пошла новая волна социал-демократов с новыми лозунгами пролетарской, а не крестьянской революции,—во многих местах на фабриках и заводах они находили уже разрыхленную их предшественниками почву.

Но не вызвав к жизни крестьянской революции, хождение в народ молодежи вызвало против себя жестокое правительственное гонение. Старый режим, почуяв врага, ощетинился, поднялся на дыбы и ринулся в бой с „революционной гидрой". С 1873 г. началась полоса арестов, прокатившаяся по всей империи. Начато было следствие, к которому привлекалось 770 человек, из них 53 остались неразысканными, 452 были освобождены до суда, за недостаточностью улик, 265—оставлено под арестом. Многие выпущенные на волю за отсутствием улик, или после оправданные судом, просидели до суда в предварительном заключении до 1877 года, иные схватили там серьезные болезни, чахотку, сошли с ума, умерли до освобождения. В феврале и марте 1877 года в московском окружном суде поставлено было большое дело по обвинению 50 пропагандистов. Подсудимые, не признавая царского суда, судьей в исторической тяжбе между правительством и революцией—старались использовать суд для пропаганды своих идей через головы царских судей. Задачей их было—доказать всему свету, что положение народа в России безвыходно, что на реформы сверху не может больше быть надежды, что единственный возможный выход—революция. Публика, допущенная в залу суда в Москве, была поражена картиной, развернувшейся перед ней: вместо извергов и злодеев, какими рисовали революционеров правительственные перья,—пред ними предстали „пророки", „апостолы" и „святые", провозвестники грядущего нового мира, будущей лучшей жизни. Наибольшее впечатление произвели речи Здановича, учительницы Софьи Бардиной и ткача Петра Алексеева, сказанные в заседании 10 марта 1877 г. Это впечатление от процесса отразилось в стихотворениях Полонского и Боровиковского, в Тургеневском стихотворении в прозе „Порог". Отразилось оно и у Некрасова.

Из героев процесса 50-ти всех крупнее, бесспорно, ткач Петр Алексеев, один из первых русских пролетариев, вступивший на революционный путь. Политическое воспитание он получил в одном из кружков, созданных пропагандистами в фабричных кварталах Петербурга. Здесь, за Невской заставой, вел работу один из чайковцев Синегуб. Сюда к нему явились однажды трое рабочих с суконной фабрики Торнтона, чтобы учиться; они узнали, что здесь даром учат рабочих, и

пришли поучиться „еографии“ и „еометрии“. Среди них был Петр Алексеев. Синегуб передал занятия с ними Софье Перовской, поселившейся тоже за Невской заставой; Алексеев был политически учеником Перовской. Усвоив революционные идеи народников, он скоро сам становится активным пропагандистом среди петербургских рабочих и ведет среди них работу до своего ареста, в апреле 1875 г. Затем следуют два года предварительного заключения и суд по делу 50-ти,—на котором Алексеев выступает со своею знаменитой речью. Речь эта не прошла ему даром: его закатали на 10 лет каторги. Каторгу ему пришлось сперва отбывать в Харьковском централе, в Новобелгородской каторжной тюрьме, затем с 1880 года на Каре. Отсюда в 1884 г. он вышел на поселение в Якутскую область, где и погиб от руки якутов, убивших его и ограбивших в 1891 г. Так погиб один из первых революционных деятелей из русского пролетариата.

Иною была судьба другой героини дела 50-ти, Софьи Бардиной. Дочь частного пристава в глухой провинции, воспитанница провинциального института, Бардина 18 лет от роду приехала в Москву продолжать образование, и сразу окунулась в мир студенческих кружков и движений. Затем с целой группой подруг она едет доучиваться заграницу, в Швейцарию, в Цюрих—там вращается в политических кружках русской эмиграции. В 1874 г., по предписанию Российского правительства, все русские девушки, учившиеся в Цюрихе, должны были покинуть заграницу и вернуться в Россию. Вернулась и Бардина, и тотчас же заработала в одном из тайных революционных кружков, в кружке москвичей, к которому примкнула и группа кавказских студентов. Бардина и ее подруги нанялись работницами на московские фабрики и приступили к пропаганде среди рабочих. Приходилось работать по 15 часов в день, и после такого рабочего дня—отрывать часы у сна, чтобы вести с рабочими беседу или читать им нелегальные книжки. В итоге—арест, суд по делу 50-ти, речь на этом суде и в награду 9 лет каторги, замененных потом вечным поселением в сибирском городке Ишиме. В Ишиме—полная невозможность вести нормальную, культурную жизнь: все попытки сблизиться с местным обществом, с местной интеллигенцией—кончаются доносами на тех, кто общается с „политической“, и в результате—почти полное одиночество: можно водиться лишь со своим же братом—ссыльным. После 4 лет такой жизни—бегство из Ишима (1880 г. декабря 25), чтобы вернуться к новой жизни, к живой революционной работе. Но первые же встречи с былыми товарищами по работе там, в России, приводят Бардину в ужас, в отчаяние: она уже не та, что была прежде, она опустилась за время ссылки, она ослабела, это не прежний уже боец. Полтора года спустя, тенью прежнего человека, попадает она заграницу—в Швейцарию, откуда когда-то с таким под'емом ехала в Россию готовить революцию, и здесь кончает самоубийством: 13 апреля (26) 1883 г. Бардина застрелилась. Солдат революции, один из первых вышедших в бой,—она не могла примириться с мыслью о своей негодности для дальнейшей борьбы,—не могла себе простить, что сделалась инвалидом, и в отчаянии оборвала сама нить своей жизни.

Процесс 193-х.

С октября 1877 года по январь 1878 в Петербурге, в особом присутствии Правительствующего Сената, разбиралось громадное дело 193-х, преданных суду за революционную пропаганду. Весь этот процесс обратился в сплошной ряд конфликтов, протестов и инцидентов. Дело должно было разбираться при закрытых дверях, в отсутствии публики. Самое помещение было выбрано такое, что публику пустить было некуда. Подсудимые с самого начала протестовали против этого, заявив через защиту ходатайство о перенесении заседания в другую, более обширную залу, где могла бы поместиться и публика. В этом им было отказано. Даже стенограмма процесса не была разрешена к печати, не смотря на формальное обещание—опубликовать эту стенограмму. В первом же заседании один из подсудимых, Чернявский, заявил протест против суда сената вообще, заявив, что подсудимые не признают этого суда. Председатель распорядился вывести дерзкого из залы суда; тогда большая часть других подсудимых поднялась с мест с криками: „всех уводите, мы все не признаем суда!“, „к черту суд“! и массой направились к выходу. Заседание было сорвано.

На другой день—новое осложнение. В виду того, что в тесном помещении, где велся процесс, невозможно было развернуть его с таким количеством подсудимых,—суд постановил: разделить подсудимых на 17 категорий, и судебное следствие вести с каждой из групп отдельно. Все 193 были об'единены обвинительным актом в одно преступное сообщество, хотя никакой единой организации в то время среди них еще не было, и многие даже не знали друг друга,—против этого тоже нужно было протестовать,—теперь же это единое сообщество искусственно разбивалось на 17 групп, и каждая из них обследовалась отдельно; подсудимые, обвинявшиеся в принадлежности к одному сообществу, не могли даже знать всего материала, накоплявшегося за и против них по другим группам, не могли знать всего, происходившего на суде. Это разделение нарушало права и подсудимых, и защиты.—Надо было протестовать. Первая же группа, на которую пала очередь итти в суд—это были чайковцы—отказалась итти, и вместо себя выслала делегата, Синегуба, для подачи суду заявления—протеста; судебная власть, однако, распорядилась доставить подсудимых в зал суда силой. Это еще повысило настроение. Один за другим выступали подсудимые с заявлением, что их привели в суд силой, что они не желают участвовать в суде и давать показания. Тоже повторилось и с большей частью других групп. На суде присутствовали фактически только немногие из подсудимых.

Подсудимые, сидевшие в доме предварительного заключения, сговаривались для общих выступлений у себя в тюрьме. Другие, жившие на свободе, сходились для обмена впечатлений и для обсуждения своего образа действий—в квартире Софьи Перовской. Здесь был настоящий

политический клуб, здесь накопилось негодование против правительства, против его методов борьбы, против суда, обратившегося „в простую пешку в руках правительства“. Среди подсудимых был и студент Низовкин, оказавшийся предателем: он поддался увещаниям следователей и стал выдавать своих товарищей по работе. Таким же предателем оказался и Ларионов.

Один из подсудимых, Ипполит Мышкин, когда дошла очередь до его группы, остался в зале суда со специальной целью—сказать на суде приготовленную им речь, — не для того, чтобы оправдываться, чтобы защищаться перед царскими судьями, но для того, чтобы разоблачить этот царский суд, разоблачить всю „комедию“ этого суда. Речь эта не была созданием одного Мышкина: она скорее была плодом коллективного творчества. Первоначальный набросок составил Мышкин и передал его на рассмотрение своим сотоварищам по крепости (это было еще до суда, когда большая часть подсудимых не была еще переведена в дом предварительного заключения). В течение 2 недель набросок переходил из рук в руки, из камеры в камеру, возбуждая замечания, добавления и поправки. В конце концов этот набросок, переработанный всей тюрьмой, вошел во вторую часть речи Мышкина,—первая ее часть составлена была другим лицом, отказавшимся от своего слова в пользу Мышкина.

Произнесенная с большим под'емом, речь Мышкина произвела потрясающее впечатление. Председатель тщетно пытался прекратить эту речь, оборвать ее в самых решительных местах, Мышкин продолжал говорить и успел насказать в лицо царским судьям таких вещей, что вызвал настоящую бурю: дело закончилось форменной свалкой: жандармы бросились на подсудимых, стали их избивать, другие вступились за них,—в публике произошла паника, скандал, дамы попадали в обморок,—насилу удалось водворить порядок.

Процесс кончился приговором, по которому 94 чел. были оправданы, из остальных большая часть отделалась легкими наказаниями, 36 чел. были приговорены к ссылке в Сибирь; 28—в каторжные работы на сроки до 10 лет. Мышкин получил 10 лет каторги. Суд, приняв во внимание, что целый ряд подсудимых высидели по нескольку лет в предварительном заключении, нашел возможным ходатайствовать о смягчении приговора, но шефу жандармов ген. Мезенцову и министру юстиции гр. Палену удалось повлиять на Александра II в обратную сторону, и царь отказался смягчить приговор суда, и без того „слишком мягкий“. На другой день после приговора Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника ген. Трепова, — момент был не таков, чтобы царь и его министры могли кого либо миловать. Напротив, борьба обострялась. Важнейших из осужденных отправили вместо Сибири в Харьковскую центральную тюрьму; четырем из них — Мышкину, Рогачеву, Ковалику, Войнаральскому, по личному приказанию царя, предписано было все 10 лет каторги отбывать в оковах.

В революционных кругах не хотели мириться с приговором. Задумано было большое и смелое предприятие — освобождение осужденных.

Прежде всего решено было подготовить освобождение главного героя процесса—Ипполита Мышкина. Освободить его предполагалось во время перевозки его из Петербурга в Харьков. Организована была слежка по всему пути от крепости до вокзала, чтобы установить момент отправки Мышкина на юг, организованы боевые отряды, чтобы отбить Мышкина у жандармов. Но жандармы ухитрились обмануть революционеров и вывезли Мышкина из Питера не с вокзала, а с товарной станции. Революционеры узнали об этом, лишь когда Мышкин сидел уже в Харьковском централе.

Не удалось освободить Мышкина; надо было попытаться освободить других осужденных.

Когда отправлены были из Питера на юг Войнаральский, Ковалик, Рогачев и Муравский, в Харькове была еще раз сделана попытка отбить у жандармов этих пленников. Все было заранее подготовлено: люди, оружие, лошади, — было сделано вооруженное нападение на жандармов, которые везли Войнаральского, но жандармы с своим пленником ускакали, и так и не удалось его освободить. Три других осужденных были провезены в тюрьму другой дорогой, так что и их отбить не пришлось.

Во всех этих попытках освобождения царских пленников деятельное участие принимала Софья Перовская, оправданная по делу 193. Вскоре затем и она сама была снова арестована и выслана в Повенец Олонецкой губ. Это была общая участь почти всех оправданных: из 90 — 80 были высланы в разные места. Перовской удалось однако, по крайней мере, самой освободиться: на пути в Повенец на одной из станций жел. дороги, при перемене поезда, она сумела обмануть бдительность своих жандармов и, когда они заснули на пересадке, покинула станцию и в первом отходившем поезде ускакала в Питер. С этого времени ей пришлось перейти на нелегальное положение, добыть себе фальшивый паспорт и жить под другой фамилией.

Еще раз была сделана попытка освободить осужденных по делу 193-х из Харьковского централа. И опять эту попытку задумала та же Перовская. Под влиянием нелегальной брошюры о „заживо погребенных" узниках Харьковского централа, которую ей показал Кравчинский, она снова едет в Харьков и снова подбирает нужных людей, заводит нужные связи, заводит сношения с заключенными, подготовляет все для организации побега. Оставшиеся в Петербурге ее друзья посылают ей первое время подкрепление деньгами, но затем это прекращается. Петербург не может долее поддерживать ее в ее начинаниях, — там идет сплошная полоса арестов, провал следует за провалом, и Перовской приходится отказаться от своего плана и ехать, ничего не добившись, никого не освободив, в Петербург. Туда призывает ее теперь ее революционный долг.

Наиболее крупной и яркой фигурой процесса 193 является Мышкин. Его судьба не менее богата бурями, чем судьба Нечаева. Правительственный стенограф и в то же время владелец частной типографии в Москве, у Арбатских ворот, Мышкин, отдавшись революционному делу, устраивает в своей типографии группу революционеров, набирающих и

печатающих нелегальные издания. Дело кончилось разгромом типографии полицией, сам же Мышкин успел скрыться заграницу. Там, за рубежом, составил он смелый план—план освобождения Чернышевского из его Якутской ссылки. Для выполнения этого плана, Мышкин пробирается под чужой фамилией в Россию и, переодевшись жандармским офицером, со всеми нужными документами, едет в Сибирь с подложным предписанием от начальства о выдаче ему на руки Чернышевского для препровождения его в Петербург. Дерзкая попытка кончилась, однако, неудачей: офицер внушает подозрения, он не похож на обычных жандармов, а главное у него нет бумаги от высшего местного начальства. Мышкин едет добывать эту бумагу, с ним отправляют двоих жандармов. Поняв, что попал в ловушку, Мышкин стреляет в своих спутников, убивает одного, но другой его все таки арестует и везет обратно (7 июля 1875 года). После этой неудачи уже самого Мышкина препровождают в Питер и там сажают в Петропавловскую крепость. В это время как раз идет подготовка к делу 193-х, Мышкина привлекают к этому делу, держат три года в предварительном заключении, сажают на скамью подсудимых. На этом то суде и произносит он свою знаменитую речь. Суд приговаривает его к каторге. После приговора, вместо каторги и Сибири, Мышкин попадает в Харьковский централ—в Новобелгородскую каторжную центральную тюрьму Харьковской губ., так превосходно описанную Свитычем в его надгробном слове имп. Александру II. Здесь Мышкин трижды пытается активно протестовать против тюремного режима: узникам, присужденным судом к каторжным работам, не полагалось здесь никакого физического труда. Правда, разрешалось читать книги, но организм уставал от одной мозговой работы; Мышкин стал громко кричать на всю тюрьму: „я требую физического труда, я требую мускульного труда!“ Дело окончилось грязным, темным, вонючим карцером,—но физический труд все же был разрешен: дозволено было пилить и колоть дрова. Затем Мышкин задумал бежать из тюрьмы, приготовил подкоп под стеной своей камеры, приготовил и чучело из платья и одеяла, чтобы маскировать свой побег, но по неосторожности план его был расскрыт, подкоп засыпан, а самого Мышкина еще раз заперли в карцер. Дело не выгорело, приходилось мириться с одиночкой. Мышкин мириться не захотел, и в третий раз сделал отчаянную попытку протестовать. В тюремной церкви, в пасхальную заутреню, он дал пощечину смотрителю тюрьмы. Он рассчитывал, что за это его отдадут под суд, и на суде можно будет разоблачить порядки каторжной тюрьмы. Но Мышкин ошибся в своих ожиданиях: его вовсе не отдали под суд, поступок его признали за действие невменяемого сумасшедшего, а самого его перевели в другую каторжную тюрьму—Борисоглебскую.

После 2 лет сидения по центральным российским тюрьмам, Мышкин отправляется, наконец в Сибирь, на Карийскую каторгу. По пути туда умирает один из политических Дмоховский, Мышкин выступает с речью на его похоронах, и тем самым увеличивает себе срок каторги до 15 лет. На каторге, на Каре, Мышкин делает еще раз попытку бежать.

организует целую серию побегов, но опять дело кончается неудачей: его узнают и арестуют в момент, когда он уже достиг Владивостока и готовится плыть за океан. Мышкин еще раз возвращается обратно, приковывается к тележке, отправляется в Петербург, сперва в Петропавловскую, потом в Шлиссельбургскую крепость.

Так в течение 10 лет, переходя из одного застенка в другой, Мышкин попадает, наконец, в „самую безнадежную из русских Бастилий", как называет Шлиссельбургскую крепость Вера Фигнер (Запечатленный Труд т. II стр. 23). Чувствуя, что из Шлиссельбурга ему уже нет выхода, Мышкин делает еще одну последнюю революцию в своей жизни: он наносит оскорбление действием одному из чинов тюремной администрации, в рассчете, что за это его предадут суду, и на суде ему удастся разоблачить режим Шлиссельбурга, русский тюремный режим, и тем облегчить положение и судьбу томящихся в царском плену революционеров. Месяц спустя, 26 января 1885 года, Мышкин был расстрелян на плацу старой цитадели, там же, где за три месяца до него был расстрелян другой шлиссельбуржец—Минаков.

Таковы первые три процесса, с которыми решается выступить перед читателями составитель. Они вводят нас в самую глубь того периода нашего революционного движения, которое связано с народничеством. Полвека, отделяющие нас от этих процессов, прошли для России, для русского революционного движения не даром; с высоты крупных достижений, сделанных русской революцией, взираем мы теперь на эти первые шаги движения. Тем интереснее вернуться к ним благодарной памятью теперь, когда многое из того, за что боролись предшественники наших революций,—стало жизнью, стало действительностью для новых поколений.

Дело Нечаевцев.

(По судебному отчету).

Заседание С.-Петербургской Судебной Палаты по делу о заговоре, составленном с целью ниспровержения существующего порядка управления в России (1-го июля 1871 г.).

Заседание открыто в 11 часов 40 минут утра. Присутствие составляли: председатель А. О. Любимов, члены Палаты: постоянные: Маркевич, Мессинг, Медведев, Шахов, Богаевский; присоединенные члены: с.-петербургский уездный предводитель дворянства князь Трубецкой (за губернского предводителя), царскосельский уездный предводитель дворянства Платонов, с.-петербургский городской голова Погребов, волостной старшина 2-й Александровской волости Михайлов. Обвинял прокурор С.-Петербургской Судебной Палаты В. А. Половцев. Секретарь Гоилевич. Защитники подсудимых, присяжные поверенные: князь Урусов (Успенского и Волховского), Спасович (Кузнецова, Ткачева и Томиловой), Арсеньев (Прыжова), Соколовский (Дементьевой), Турчанинов (Николаева), Хартулари (Коринфского) и Депп (Флоринского.) В зале заседания кроме того находились многие присяжные поверенные—защитники по другим группам подсудимых, вызванных в заседание в качестве свидетелей.

Председатель. Об'являю заседание Судебной Палаты открытым. Судебная Палата, в составе особого присутствия постоянных членов Палаты и сословных представителей, приступит к рассмотрению дела об обнаруженом в 1869 г. в разных местах Империи заговоре с целью ниспровержения установленного государственного порядка. Это обширное и весьма сложное дело, которое в летописях судебного ведомства займет не последнее место, обнимает 84-х подсудимых, разделенных обвинительною властью на 11 групп, которым соответствуют столько же обвинительных актов. Все эти обвинительные акты в последовательном порядке один за другим будут предметом внимательного рассмотрения Судебной Палаты и ее обсуждения. Настоящее заседание, а может быть и несколько последующих, Судебная Палата посвятит рассмотрению и обсуждению первого обвинительного акта, обнимающего группу 11-ти подсудимых, к числу которых, как известно, отнесены: 1) дворянин Петр Гаврилов Успенский, 2) купеческий сын Алексей Кириллов Кузнецов, 3) отставной коллежский секретарь Иван Гаврилов Прыжов, 4) московский мещанин Николай Николаев, 5) священнический сын Владимир Федоров Орлов, 6) дворянин Феликс Вадимов Волховский, 7) кандидат прав Петр Никитин Ткачев, 8) с.-петербургская мещанка Александра Дмитриевна Дементьева, 9) жена полковника Елизавета Христьянова Томилова, 10) священнический сын Иван Иванов Флоринский, 11) священнический сын Михаил Петров Коринфский.

Обвинительный акт.

Прочитан обвинительный акт следующего содержания:

В феврале и марте месяцах 1869 года, в здешних высших учебных заведениях, именно: в Медико-хирургической Академии, Университете и Технологическом Институте, происходили, как известно, беспорядки в среде студентов. Беспорядки ти не имели, повидимому, другого характера, как выражение стремлений учащейся молодежи добиться у начальства разрешения иметь свою студенческую кассу и права составлять сходки для обсуждения действий этой кассы. В апреле месяце беспорядки были прекращены; но собранные при расследовании о причинах их сведения привели к мысли, что если, с одной стороны, внешние признаки университетских событий не давали повода подозревать в стремлениях студентов каких либо других целей, кроме вышеупомянутых желаний их иметь свою кассу и сходки, то, с другой, желания эти, а с ними и выражавшая их молодежь, были не более как орудием в руках людей, преследовавших совсем иные цели и бывших главным образом причиною беспорядков. Тем не менее, в то время не было еще ясных указаний, кто именно и для каких целей подстрекал студентов к движениям: сделалось только известным, что в происходивших в течение января и февраля месяцев студенческих сходках принимали деятельное участие: состоявший в то время учителем закона божия в приходском Сергиевском училище в Петербурге Сергей Нечаев, сын священника в селе Иванове, Владимирской губернии, он же учитель тамошнего сельского училища, Владимир Орлов, бывший тогда в Петербурге, а также кандидат прав С.-Петербургского Университета Петр Ткачев; что, затем, из них Нечаев с чужим паспортом уехал 4-го марта 1869 года за границу, а Орлов неизвестно куда скрылся из Петербурга. Далее, в конце марта того же года, задержано было напечатанное в типографии с.-петербургской мещанки Дементьевой воззвание под заглавием: „К обществу", в котором неизвестный автор, между прочим, заявляет: „...Протест наш тверд и единодушен, и мы скорее готовы задохнуться в ссылках и казематах, нежели задыхаться и нравственно уродовать себя в наших Академиях и Университетах". Как отдельный факт, обнаружение этого воззвания не привело еще к раскрытию какого либо организованного тайного общества, которому оно, очевидно, служило только одним из средств распространения его преступных намерений, но, тем не менее, обстоятельство это указало на необходимость усилить наблюдение за разными лицами, обращавшими уже на себя внимание Правительства своею политическою неблагонадежностью.

Сосредоточивая в себе все изложенные сведения, III-е отделение Собственной Е. И. В. Канцелярии признало нужным, в ноябре месяце 1869 года произвести, между прочим, обыск у приказчика книжного магазина Черкесова в Москве, дворянина Петра Успенского, занимавшего в то время квартиру отдельно от магазина, в доме купца Камзолкина, Мещанской части. Обыск этот был произведен 26 ноября, и результаты его следующие: 1) Под пружинами дивана, за парусинным поперечником, най-

дена тетрадь синей почтовой бумаги в восьмую долю листа, в которой оказалось восемь полулистов и девять листов одинакового формата; на каждом из них внизу, к одной стороне оттиснута печать овальной формы темноголубой мастики; внутри печати изображен топор, а кругом надпись: „Комитет народной расправы 19 февраля 1870 года“. 2) В распоротом затем диване, в изголовье, под клеенчатою обивкою, найден заграничный паспорт за № 168 от 3-го марта 1869 года, выданный из иностранного отделения Канцелярии г. московского генерал-губернатора московскому мещанину Николаю Николаеву. 3) Под тою же обивкою, в средине дивана найдена печатная в 1/16 листа книжка на неизвестном языке. 4) В мягком кресле, под парусинною обивкою и такою же поперечиною, найдена в 1/8 листа печатная тетрадка из 16-ти страниц, напечатанная мелким шрифтом, под заглавием: „Издание общества народной расправы 1869 г., (№ 1) Москва“. 5) По снятии с кресла клеенки, в боках его, найдены 5 бланок из почтовой синеватой бумаги с такими же овальными печатями, как и листы, найденные в диване; из них один на двух листах с № 17, исписанный мелким почерком и озаглавленный: „Изложение общих правил сети для отделений“, в 12-ти пунктах, причем на обороте первого листа, внизу, карандашем написаны буквы А. Ч. С.; второй на полулисте, с тою же печатью „комитета народной расправы“ на котором мелким шрифтом написаны 10 пунктов под заглавием: „Общие правила организации“, а внизу надпись: „Великорусский отдел, Москва“; на третьем полулисте написано то же самое, что и на втором, но другим почерком; четвертый, также полулист, но без оттиска печати, имеющейся на всех предыдущих, заключает в себе в 10 написанных пунктах те же правила, что и второй и третий полулист, с пометою „Москва № 420“; пятый, на четвертушке полубелой бумаги, с проставленным сверху № 1, заключает в себе написанные разные фамилии, против которых сделаны пометы с наименованием городов и местностей. 6) Внутри того же кресла вынут из-под клеенки клочек белой бумаги, на котором карандашем написаны цифры, выражающие рубли и копейки. 7) На этажерке той же комнаты найдены пять переплетенных тетрадей, в которых оказались разные имена и заметки, и 8) при осмотре платья, бывшего на Успенском, в кармане брюк его, найдены клочки изорванной бумаги, на которых значились какие-то круги и линии.

В то же время произведен был обыск и в заведываемом Успенским книжном магазине Черкесова, причем найдены, между прочим: 1) 14 экземпляров революционного воззвания под заглавием „От сплотившихся к разрозненным“, с вытисненным на каждом листе бланком следующего содержания: „Русский отдел всемирного революционного союза—Бланки для публики“ и 2) обращение студентов к обществу и стихотворение Огарева, озаглавленное „Студент“.

В виду таких результатов обыска у Успенского, признано было необходимым: во 1-х, произвести обыски и у других лиц, которые значились в найденной у Успенского записке, или близким знакомством с ним и отношениями возбуждали против себя подозрение; во 2-х, присту-

нить к строжайшему дознанию для разъяснения происхождения и цели хранения Успенским у себя всех вышеозначенных документов преступного свойства.

Из собранных тем и другим путем сведений обнаружилось следующее: 3-го сентября 1869 года прибыл в Москву из Женевы бывший учитель Сергиевского приходского училища в Петербурге Сергей Геннадиев Нечаев, который, благодаря знакомству, сделанному им с Успенским еще в феврале месяце, до побега своего заграницу, обратился непосредственно к сему последнему сначала в магазине, а потом стал бывать и в квартире. Здесь, после долгих бесед о том, как помочь бедствующему народу, который будто бы повсюду питает сильное неудовольствие против Правительства, Нечаев убедил Успенского составить тайное общество, которое подготовило бы в народе восстание, имеющее целью ниспровергнуть существующий в государстве порядок. Затем, в непродолжительном времени, Нечаев, по указанию Успенского, свел знакомства с слушателями Петровской Земледельческой Академии, где он слыл под именем Ивана Петрова Павлова. Последствием этих знакомств было то, что Нечаев, в качестве посланного от всемирного революционного комитета из Женевы, для возбуждения в России народного восстания, организовал из слушателей Петровской Академии тайное общество, с целью распространения в народе идеи о необходимости ниспровергнуть существующий порядок, указывая при этом на 19-е февраля 1870 года, как на самый удобный для народного движения день. Чтобы придать своей пропаганде более убедительный вид, Нечаев учредил сношения с вновь поступающими в тайное общество членами посредством особых бланок от комитета народной расправы с топором, образцы которых найдены, как сказано выше, при обыске у Успенского, и составил для руководства общие правила организации и правила сети для отделений, согласно каковым правилам, лица, склонившиеся к образованию из себя тайного общества, должны были сначала составить кружки, каждый в пять человек, из кружков должны были образоваться отделения и т. д. Таким образом, на записке, найденной у Успенского, значились под первыми четырьмя цифрами начальные буквы фамилий, принадлежащих первым членам организации: Долгову, Иванову, Кузнецову и Рипману. Все они слушатели Петровской Академии. Против этих фамилий, в свою очередь, значились имена тех слушателей Академии, которые ими уже были приглашены в члены тайного общества.

Между тем, еще прежде начала этого дознания, именно 25-го ноября того же года, в Москве, в пруде Петровского парка, принадлежащего Земледельческой Академии, случайно найдено было мертвое тело, в котором приглашенными к осмотру лицами узнан был слушатель той же Академии Иван Иванов. По всем признакам первоначального осмотра, Иванов оказался убитым огнестрельным оружием, на шее его затянут был красный шерстяной шарф, на концах которого оказался привязанным кирпич. При этом, однакож, никаких признаков грабежа замечено не было, так как даже часы оказались в кармане.

Сопоставление таких обстоятельств, как состояние Иванова в списке членов тайной организации—с одной стороны, и отсутствие признаков ограбления его при убийстве—с другой, подало повод подозревать, что смерть Иванова последовала от руки человека, имевшего основание мстить ему и вообще заинтересованного в его погибели. Направленное в этом смысле дознание раскрыло следующее: Успенский и задержанный вслед за обыском у него купеческий сын Алексей Кузнецов, он же слушатель Петровской Земледельческой Академии, об'яснили, что убийство Иванова совершено ими с участием Сергея Нечаева, отставного коллежского секретаря Ивана Прыжова и московского мещанина Николая Николаева, по следующему поводу и при нижеозначенных обстоятельствах.

Образовывая тайное политическое общество, Нечаев, он же Павлов, постоянно говорил им, что он действует от имени комитета, приказания которого должны быть беспрекословно исполняемы; что, вербуя таким образом членов Петровской Академии, Нечаев пригласил и Иванова, который, хотя и дал свое согласие на вступление в общество, но затем, на разных собраниях членов, заявлял постоянно недоверие к словам Нечаева о комитете, не желал беспрекословно подчиняться приказаниям последнего, об'являемым тем же Нечаевым, и вообще выказывал строптивость, намекая даже на то, что он отделится от общества и образует новое общество под своим главенством; что подобный образ действий Иванова возмущал Нечаева, который стал возбуждать вопрос об обуздании Иванова, и что по этому поводу он, Нечаев, Успенский, Прыжов и Кузнецов сходились сначала у Успенского на квартире, где был составлен план отделаться от Иванова чрез убийство его, для чего условлено было предварительно увлечь его в академический грот с целью открытия, будто бы, там типографии; потом же, именно 21-го ноября, собрались они у Кузнецова, куда пришел также и Николаев; что тут положено было Николаеву отправиться за Ивановым, чтобы привести над ним в исполнение означенный план, что и было затем исполнено часу в 5-м 21-го же ноября, т. е. Иванов был завлечен в грот Николаевым, где его ожидали уже Нечаев, Успенский, Прыжов и Кузнецов, и когда он вошел, то Нечаев, взяв у Николаева заранее приготовленный пистолет, выстрелил Иванову в голову. После этого навязаны были камни на шею и ноги Иванова, а затем труп его оттащили в пруд, где и бросили в прорубь.

При дальнейшем развитии дознания, кроме вышеизложенного, обнаружено еще, что после убийства Иванова, именно 22-го ноября, Алексей Кузнецов, вместе с Нечаевым, выехали из Москвы в Петербург, где Нечаев, с помощью Кузнецова, привлек некоторых студентов Земледельческого и Технологического Институтов и Медико-Хирургической Академии, а также и некоторых частных лиц, к вступлению в члены образованного им в Москве тайного общества; что, затем, в конце ноября или в начале декабря, он, Нечаев, когда увидел, что долее оставаться в Петербурге не безопасно, по случаю начавшегося уже тогда дознания, уехал в Москву, оттуда вскоре вместе с женою коллежского советника Варварою Александровскою уехал за границу, в г. Женеву.

Задержанные, по поводу открытия таких данных, в г. Москве отставной коллежский секретарь Иван Прыжов и московский мещанин Николай Николаев сознались как в принадлежности своей к тайноиу обществу, так и в участии с Нечаевым, Успенским и Алексеем Кузнецовым в убийстве Иванова.

Начавшееся затем по Высочайшему повелению предварительное следствие раз'яснило все вышеизложенные обстоятельства следующим образом:

1. Обвиняемые дворянин Петр Гаврилов Успенский, бывший до задержания приказчиком книжного магазина, принадлежавшего петербургскому столичному мировому судье Александру Черкесову, в Москве, на допросах 2-го, 20-го и 11-го января 1870 года, показал: знакомство его с Нечаевым совершилось таким образом: в декабре месяце 1868 года, он, Успенский, приезжал в Петербург, где познакомился с кандидатом прав Петром Ткачевым; по возвращении его в Москву, в начале 1869 года, Ткачев прислал к нему некоего Владимира Орлова с письмом, в котором рекомендовал ему Орлова, как своего хорошего знакомого. Орлов стал бывать у него и, в свою очередь, познакомил его с московским мещанином Николаевым, а затем, в одно из своих посещений, привел к нему господина, назвавшегося Павловым. Так как этот последний держался как то странно, а между тем в то время (время студенческих движений) прошел слух о бегстве из Петропавловской крепости Нечаева, то Успенский, предположив, не есть ли означенный Павлов—Нечаев, обратился с вопросом в этом смысле к Орлову; но последний и на этот раз, и на повторение того же вопроса впоследствии, отвечал отрицательно. Затем Орлов куда то скрылся и, как слышал Успенский, он находился в Харьковской губернии, а Нечаев, как также ему было известно, уехал за границу.

В начале сентября совершенно неожиданно явился Нечаев и прямо с дороги пришел к нему в магазин. Здесь Нечаев, назвавшийся уже сам этою фамилиею, распрашивал его о своих знакомых: Орлове, Николаеве, Волховском и других, и, узнав от него, Успенского, что он не совсем безопасен, потому что за магазином наблюдают, направился, по указанию Успенского, в Петровско-Разумовскую Академию, где затем и основал свою главную квартиру. После этого Нечаев стал посещать его довольно часто, причем главным предметом разговора было настоящее положение вещей и способы применения его к лучшему. В спорах по этому предмету он, Успенский, высказывал Нечаеву свои мысли, клонившиеся к мирному развитию народа путем распространения знаний; но Нечаев, выражавшийся, что „любить народ—значит водить его под картечь", был всегда на стороне самых решительных мер и в конце концов убедил Успенского в необходимости действовать к изменению настоящего социального порядка путем революции. С этою целью Нечаев предложил ему заняться устройством кружков. Успенский согласился; но предварительно Нечаев вручил ему разные вещи, как-то: а) заграничный паспорт Николаева; б) небольшую книжечку, отпечатанную шифром и заключающую в себе, как он, Успенский, узнал впоследствии, исповедь

революционера: в) на бумаге записал несколько названий лиц и городов, которые лежали на пути его возвращения из-за границы в Россию, через Бессарабскую область и Херсонскую губернию; потом, через несколько дней, вручил ему: д) прокламации „народной расправы“ и „дворянские“ (последние от Брюссельского дворянского революционного комитета) и, наконец, передал ему е) печать с вырезанной внутри топором и надписью вокруг: „Комитет народной расправы“. Сначала Нечаев просил спрятать печать, но вскоре она ему понадобилась по следующему случаю: в числе разных вещей, данных Нечаевым Успенскому, находился какой то лист, где было написано, что пред'явитель сего есть доверенное лицо революционного комитета в Женеве; на листе сем была подпись „Михаил Бакунин“ и печать с какими то словами на французском языке. Нечаев об'яснил, что с подобного рода листом будут являться ревизоры от революционного комитета. Успенский спрятал этот лист; а на другой или третий день явился какой то офицер (как впоследствии обнаружено, отставной подпоручик Иван Лихутин) с подобным листом в качестве ревизора, и вот, на другой день появления последнего, Нечаев сообщил Успенскому, что надо сделать бланок, для чего и взял у него печать, выдав ее Прыжову, который, вместе с упомянутым офицером, и отпечатали, на квартире Успенского, как ему кажется, 5 экземпляров. Таким образом, согласившись на образование кружков, Успенский приступил к деятельности, которая началась с того, что он, Нечаев, Прыжов, купеческий сын Павел Прокопенко, Рипман и Долгов — слушатели Петровской Академии — собрались в квартире Долгова, куда под конец вечера подошел Иванов, также слушатель Академии (впоследствии убитый), и здесь стали обсуждать предложение Нечаева об устройстве общества с целью пропаганды и агитации; затем, через несколько дней, когда Нечаев навербовал в Академии уже достаточное количество членов, он составил правила, на основании которых должны были собираться кружки — „общие правила организации“, несколько экземпляров которых, кроме розданных другим членам Нечаевым, хранились у него, Успенского; он же стал вносить в особый лист имена тех, кто в это время составил уже кружки, как то: Кузнецов, Иванов, Долгов и друг. Вслед затем ему, Успенскому, предложено было тем же Нечаевым сделаться членом кружка, но поставленного выше других, т. е. составить отделение, в члены которого Нечаев выбрал Прыжова, Алексея Кузнецова и Иванова, и для этого он, Успенский, собрал их в своей квартире 8-го октября, и тут они прочитали уже правила „для отделений“, после чего каждый из них избрал себе известный род деятельности. Так Алексей Кузнецов взял на себя ведение Академии, Прыжов заявил желание работать в низших слоях общества, в трущобах, лавочках, подземельях и проч., а он, Успенский, по поручению Нечаева, сделался представителем отделения. На его обязанности лежало хранение адресов, ведение кассы, сношения с комитетом, прием разных лиц, которые имели приезжать из других городов, и составление протоколов собраний; кроме того, он, Успенский, должен был сноситься с Долговым, приносившим ему каждое воскресенье отчет

о деятельности кружков, который он, в свою очередь, передавал на обсуждение в собрания членов отделения. В дальнейшем своем развитии деятельность отделения и его, Успенского, заключалась в разрешении разных затруднений, встречаемых кружками, разрешении, дававшемся обыкновенно на бланках с печатью, которые Успенский вручал после отчета Долгову. Подобные бланки печатались им, Успенским, Прыжовым и Нечаевым, причем на них писались поручения в роде: „предлагается вам познакомиться с таким то“ или „предлагается вам верить подателю сего“ и т. п., а внизу каждой приписывалось: „ по прочтении сжечь немедленно“. Сколько разошлось всех бланок Успенскому неизвестно, но он знает, что Нечаев брал два раза у него по сто штук и куда то их относил, да у него должны были остаться сто штук.

Далее Успенский об'яснил, что когда таким образом деятельность кружков и отделения установилась окончательно, то собрания происходили последовательно 11-го, 25-го октября и 4-го ноября, предметом которых было обсуждение действий разных членов и введение новых лиц в общество; действия же членов заключались в увеличении средств кассы, как напр. Алексеем Кузнецовым принесены были сначала 100 р. серебром, а всего —более 275 р.; Беляевою, вошедшею уже в это время в общество—1 р.,—и образовании особого склада платья, заведенного в квартире Кузнецовой, куда Прыжов представил монашеский костюм, Николаев—крестьянский, Нечаев—офицерский. Кроме того, члены предпринимали поездки в разные места, как например, Прыжов—в Тулу, он, Успенский—в Нижний-Новгород, где вручил прокламацию некоему Попкову, с целью склонить его к вступлению в общество. О результатах этих поездок рассуждалось в собраниях. Далее обсуждались способы воспользоваться начавшимся в то время волнением в Московском университете (так называемою полунинскою историею), для чего Кузнецов и Прыжов знакомились с недовольными студентами, другие же члены должны были посещать студенческие сходки. Нечаев же в это время составил прокламацию под заглавием: „От сплотившихся к разрозненным“, на экземплярах которой Нечаев вытиснул, с помощью переданного ему Успенским еще в начале октября печатного шрифта, слова: „Русский отдел всемирного революционного союза. Бланки для публики“—и затем экземпляры ее были розданы по кружкам, так например, им Успенским, переданы были Долгову и студентам; всобще их разошлось штук тридцать - сорок. Наконец, заботою представляемого им отделения было еще составление отчета о деятельности общества, который, по словам Нечаева, должен был быть отправлен заграницу и который составил он, Успенский, с Нечаевым; отчет этот должны были вести Прыжов и Беляева с тем, чтобы привести из-за границы прокламации; но так как поездка не состоялась, то отчет остался у него, Успенского, в магазине.

Раз'ясняя таким образом историю образования тайного общества, Успенский относительно цели этого общества и смысла и значения кружков высказался так: „прежде всего о цели никогда ясно не говорилось, и я был бы в большом затруднении, если бы мне пришлось формули-

ровать эту цель категорично. Разговоров, специально посвященных этому, никогда не бывало, и цель эта скорее подразумевалась, чем была поставлена прямо, но всетаки подразумеваемою целью было произвести возмущение. Я не хочу этим сказать, что этой цели и служили непосредственно кружки; нет, они служили ей, но только косвенно; на их долю должна была выпасть так называемая „подготовительная работа“. Самое же движение, сколько я мог понять из нескольких отрывочных фраз Нечаева, должно было начаться среди народа и именно после прекращения обязательных отношений крестьян к помещикам. Слова „19-е февраля 1870 г.“, вырезанные на печати, именно и указывают на желание воспользоваться народным движением, которое должно явиться само, просто в силу их тяжелого положения. Роль же кружков во всей этой истории должна была заключаться, первое время, в подготовительной работе, т. е. в скоплении капиталов, в направлении общественного мнения, в поддержании агитации, как сказано в правилах и т. д.

В заключение Успенский подтвердил все сказанное им при дознании относительно участия его в убийстве Иванова, причем, упоминая между прочими подробностями дела о башлыке, который был взят перед убийством Алексеем Кузнецовым у товарища своего Климина и оставлен на месте убийства, добавил, что на другой день убийства пришел к нему на дом Николаев и показал бланку, приготовленную для Климина, слушателя Петровской Академии, считавшегося уже в то время членом общества, в которой говорилось, чтобы Климин никому, никогда и нигде не упоминал о башлыке, оставшемся на месте убийства.

. . . .

Как ни многосложны, на первый взгляд, все вышеприведенные обстоятельства, рассеянные в отдельных показаниях обвиняемых, тем не менее внимательное соображение их в совокупности не может не привести к убеждению, что события, которых коснулось предварительное следствие, развивались преемственно с первых месяцев 1869 года до того времени, пока начавшимся дознанием не прервано было дальнейшее их продолжение, т. е. до конца ноября и даже начала декабря месяца того же года. Все отдельные указания обвиняемых относительно времени и места пребывания их с февраля месяца, когда студенческие движения приходили к концу, и по сентябрь, когда Нечаев после заграничной поездки снова появился в Москве, все добытые следствием документы, относящиеся к этому периоду времени, положительно удостоверяют, что те или другие действия обвиняемых, их встречи между собою и их заключительная, общая работа в Москве, были явлениями не случайными, а последовательно вытекавшими одно из другого, рассчитанным результатом той скрытой деятельности, которая была, если не исключительною, то главною побудительною причиною беспорядков в учебных заведениях. Таким образом, сущность всего того, что раскрыто предварительным следствием, может быть выражена в нижеследующих выводах.

1. Что в происходивших в начале 1869 года в здешних учебных заведениях беспорядках, кроме лиц, непосредственно заинтересованных в той или другой развязке своих отношений к начальству заведений, т. е. кроме студентов, принимали участие и такие лица, прямые интересы которых вовсе не связывались ни с правом студентов собираться на сходки, ни тем менее с правом их иметь свою кассу. Лица эти, как обнаружено следствием, были: учитель приходского училища в Петербурге Сергей Нечаев, вызванный им из Владимирской губернии сын священника Владимир Орлов, и кандидат прав Ткачев.

2. Что после того, как принятыми Правительством мерами вышеозначенные беспорядки были прекращены без удовлетворения требований студентов, вышепоименованные лица, вместе с другими, стали принимать меры к возбуждению не студенческого уже, но всеобщего неудовольствия к Правительству, озабочиваясь, в то же время, начертанием определенного плана преступных действий, имевших довести до народного восстания, как в этом удостоверяют, между прочими обстоятельствами дела, напечатание воззвания „К обществу“ и составление той рукописной программы, которая потом найдена была между бумагами Волховского.

3. Что средствами для выполнения этого плана служили: предоставление одному из деятелей в студенческих движениях, именно Нечаеву, бежать на время за границу, постоянные сношения между собою других обвиняемых, как-то: Орлова с Ткачевым, Волховским и Николаевым в Москве, затем Николаева же и Орлова с Флоринским и Коринфским в с. Иванове, Владимирской губернии, причем делались попытки к устройству подпольной типографии, собираемы были деньги, доставались чужие паспорта, читались преступного содержания рукописи, и, наконец, эмигранту Нечаеву доставлялись средства для существования за границею, как это делала обвиняемая Томилова, причем Нечаев своими письмами не переставал поддерживать готовность к продолжению какого-то общего дела, рассылая в то же время печатные прокламации самого преступного свойства.

4. Что затем, осенью 1869 года, когда Нечаев возвратился в Россию, в Москве было организовано особое общество, о значении коего будет сказано ниже, под названием „Народной расправы“, или общество топора; что это общество имело своих членов не только в Москве, но в Петербурге, в Ярославле и Владимире, имело свои денежные средства, свой условный шифр для сношений, свою печать и свои определенные правила, ослушников которых оно считало себя в праве наказывать даже смертью, как это и случилось с слушателем Академии Ивановым; и наконец—

5. Что злоумышление этого общества было открыто Правительством заблаговременно, при самом начале оного, так что ни покушений, ни смятений и никаких иных вредных последствий от него не произошло.

Такого рода выводы находят себе подтверждение в нижеприводимых обстоятельствах дела, в которых содержатся, между прочими, и данные, необходимые для определения значения и конечной цели вышеозначенного общества, учрежденного в Москве.

......Собственные сознания обвиняемых Успенского, Кузнецова, Прыжова и Николаева, приведенные выше, не оставляют никакого сомнения в том, что в продолжение сентября и октября месяцев 1869 года, в Москве, они, обвиняемые, и многие другие лица, по преимуществу слушатели Петровской Земледельческой Академии, образовали из себя коллективное целое, которое не может быть названо иначе, как тайным обществом. Такое значение этого соединения многих лиц вместе явствует как из самого способа постепенного привлечения каждого из них к одному центру, так и из тех первоначальных действий и приемов, которые предпринимались прежде соединившимися лицами относительно примыкавших впоследствии, а именно: каждый новый член, окончательно посвященный, т. е. прочитавший правила организации и прокламацию, обязан был составить кружок из пяти лиц, но при этом строго наблюдалось, чтобы состав одного кружка отнюдь не знал о личном составе другого кружка, так что принадлежность к обществу лиц, организованных одним членом, составляла тайну для таковых же лиц, организованных другим; что же касается до сношений, которые необходимо было иметь старшему кружку, или отделению, с остальными, то они производились без названия фамилий, а обозначением чисел, под которыми значился каждый член, и притом от имени неизвестного юридического лица—комитета, что, в свою очередь, ставило членов в невозможность знать, кто их собратья и кто ими руководит. Если к этим внешним признакам таинственности организации присоединить еще то, высказанное всеми означенными обвиняемыми обстоятельство, что деятельность каждого отдельного члена общества, хотя и направленная к одной общей сознательной цели, тем не менее неизвестна всем, а узнавалась и проверялась только в избранном кружке (отделении), с целью, без сомнения, обеспечить невозможность открытия кем либо этой деятельности Правительству,—то нельзя далее затрудняться в признании за образовавшимся в Москве, как сказано выше, соединением многих лиц в одно целое названия, именно, тайного общества.

Затем, цель этого общества ясно определяется на основании следующих данных: из показаний обвиняемых Успенского, Кузнецова и Николаева видно, что после долгих споров с Нечаевым о способах к изменению государственного устройства России путем мирного распространения знаний в массе народа или с помощью внезапного политического переворота, в сознании их, наконец, укрепилась мысль о необходимости начать действовать именно так, как советовал Нечаев, т. е. стремиться к произведению восстания в народе, имея ввиду воспользоваться для этого тем замешательством, которое необходимо принесет с собою для крестьян и помещиков день 19-го февраля 1870 года. Если, далее, из простого образования кружков, которым занялось общество на первых порах, и нельзя вывести указаний насчет того способа и тех средств, которыми общество было бы в состоянии непосредственно произвести народное движение, так что об'яснения обвиняемых, что они приготовлялись лишь к действиям, имевшим последовать за совершившимся уже народным вос-

станием, которое, как они надеялись, произойдет само, в силу вещей— представляется как бы правдоподобным, то, с другой стороны, ближайшее знакомство с содержанием руководящих документов общества, именно прокламаций, а также с свойством той расправы, положительно убеждает в том, что самое восстание в народе общество надеялось произвести через своих членов непосредственно, не ожидая самостоятельного народного движения. И действительно, текст прокламации „Народная расправа“, найденной у Успенского и читанной большинством обвиняемых, содержит в себе, между прочим, такого рода посылки: „Начинание нашего святого дела было положено утром 4-го апреля 1866 года Дмитрием Владимировичем Каракозовым. . . “ . . „ Мы имеем только один отрицательный неизменный план беспощадного разрушения. . . “ . . . „ Да, мы не будем трогать царя, если нас к тому не вызовет преждевременно какая либо безумная мера или факт, в котором будет заметна его инициатива. Мы убережем его для казни мучительной и торжественнной пред лицом всего освобожденного черного люда, на развалинах государства. . . “ . . . „ А теперь мы безотлагательно примемся за истребление его Аракчеевых, то есть, тех извергов в блестящих мундирах, обрызганных народною кровью, что считаются столбами государства. . . . “ . . „ До начала всеобщего народного восстания нам необходимо придется истребить целую орду грабителей казны“ и проч.; и тут же в выноске делается перечисление тех лиц, стоящих во главе управления России, которых необходимо истребить прежде всего, чтобы избавиться от министерств, генерал-губернаторств и барства вообще, и, кроме того, сделаны указания на некоторых издателей газет, долженствующих подвергнуться той же участи.

Из всех этих выдержек, вполне отвечающих, впрочем, и общему содержанию прокламации, не трудно убедиться, что в сознании людей, принявших ее за руководство, должно было образоваться одно лишь определенное стремление приступить к делу путем истребления, или убийств, тех живых препятствий к возбуждению народного восстания, которые в лице служащих или частных людей сочтутся опасными для тайного общества; и уже первый период существования этого общества доказал, что мысли прокламации готовы перейти в действительность, как только представится надобность. Насилие над Ивановым и затем смерть его ясно убеждают, что члены общества не признают иного способа уничтожить мнимое или действительное препятствие к достижению своих целей, как только убийством. После этого очевидно, что способ, которым тайная организация, по крайней мере в лице ее главных представителей, думала произвести народное восстание, заключался в том, чтобы рядом убийств в высших государственных сферах возбудить всеобщее смятение и, затем, путем ложных слухов и извращения правительственных распоряжений, воспользоваться этим смятением для поднятия народа к восстанию.

Такова, как следует заключить из приведенных данных дела, была ближайшая цель тайного общества, образованного в Москве. Что, затем,

народное восстание, которым думали руководить члены тайной организации, должно было, в свою очередь, вести к изменению существующего образа правления, в этом после сознаний, сделанных тремя названными обвиняемыми, и заключительных слов прокламации „Народная расправа“ о том, чтобы не оставить ни министерств, ни генерал-губернаторств, и проч., едва ли может быть сомнение, ибо члены тайного общества не могли не сознавать, что существование различных отраслей государственного управления в той или другой форме обусловливается настоящим положением верховной власти в России, и, следовательно, стремясь ниспровергнуть отдельные части, они сознательно шли к ниспровержению Правительства во всем государстве и существующего образа правления.

Итак, на основании всех изложенных соображений, выведенных, в свою очередь, из обнаруженных предварительным следствием фактических данных, следует признать, что осенью 1869 года в Москве образовалось тайное общество, имевшее конечною целью ниспровержение существующего в России Правительства и изменение образа правления.

. . . .

На основании всего вышеизложенного обвиняются: 1) дворянин Петр Гаврилов Успенский, 2) купеческий сын Алексей Кириллов Кузнецов, 3) отставной коллежский секретарь Иван Гаврилов Прыжов, 4) Московский мещанин Николай Николаев в том: во 1-х, что они по соглашению с прибывшим из Женевы осенью прошлого 1869 года бывшим приходским учителем Сергеем Нечаевым составили в Москве, а из них Кузнецов начал составлять в Петербурге, заговор с целью ниспровержения Правительства во всем государстве и перемены образа правления в России, причем злоумышление их открыто было правительством заблаговременно при самом оного начале, и во 2-х, в том, что они, по предварительному между собою согласию, по договору вышепоименованного Нечаева, совершили 21-го ноября 1869 года убийство слушателя Петровской Академии Иванова, заманив его в уединенное место, т. е. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных 249, 250, 13 и 3 п. 1.453 ст. Улож. о Наказ., изд. 1866 г.

5) Бывший слушатель Петровской Академии Иван Иванов Флоринский в том, что он принимал участие в действиях означенного заговора с знанием о цели их действий, т. е. в преступлении, предусмотренном теми же 249 и 250 ст. Улож.

6) сын священника Владимир Федоров Орлов, 7) дворянин Феликс Вадимов Волховский, 8) кандидат прав Петр Никитин Ткачев, 9) бывший студент Медико-Хирургической Академии Михаил Петров Коринфский,— в том, что, умыслив ниспровергнуть Правительство во всем государстве и переменить образ правления, совершили для этого приготовительные действия, причем также злоумышление их открыто было Правительством заблаговременно в самом начале оного, т. е. в преступлении, предусмотренном теми же 249 и 250 ст. Улож.

10) Жена полковника Елизавета Христиановна Томилова в том, что действиями своими помогала обвиняемым Нечаеву и Орлову совершить

приготовления к государственному преступлению, которое потом выразилось в составлении заговора ниспровергнуть Правительство и переменить образ правления, причем Томилова знала о таком их злоумышлении, т. е. обвиняется в преступлении, предусмотренном 13, 121, 249, и 250 ст. Улож. о Наказ. и—

11) С.-Петербургская мещанка Александра Дементьева в том, что напечатала в своей типографии и затем распространила воззвания „к обществу", с целью возбудить к явному неповиновению власти верховной, т. е. в преступлении, предусмотренном 251 ст. Улож. о Наказ.

Посему и на основании 1032 и 1033 ст. Уст. Угол. Судопр. вышепоименованные Успенский, Кузнецов, Николаев, Прыжов, Ткачев, Орлов, Флоринский, Коринфский, Волховский, Томилова и Дементьева предаются суду С.-Петербургской Судебной Палаты...—

По предложению председателя, секретарем прочитаны были:

Общие правила организации.

§ 1. Строй организации основывается на доверии к личности. § 2. Организатор (уже член) из среды своих знакомых намечает 5 — 6 лиц, с которыми переговорив одиночно и заручившись согласием каждого, собирает их вместе и закладывает основание замкнутого кружка. § 3. Механизм организации скрыт от всякого праздного глаза, а потому вся сумма связей и весь ход деятельности кружка есть секрет для всех, исключая его членов и центрального кружка, куда организатор представляет полный отчет в определенные сроки. § 4. По известному плану, основанному на знании местности или сословия, или среды, в которой ведется подготовительная работа, труды специализируются членами. § 5. Член организации немедленно составляет в свою очередь каждый около себя кружок 2-й степени, к которому прежде основанный становится в значении центрального, куда все члены организации (по отношению к кружкам 2-й степени организаторов) вносят всю сумму сведений от своих кружков для доставления далее. § 6. Правило не действовать непосредственно на всех тех, на которых можно действовать с неменьшим результатом посредственно, т. е. через других, должно быть выполняемо со строгой аккуратностью. § 7. Общий принцип организации не убеждать, т. е. не вырабатывать, а сплачивать те силы, которые есть уже на лицо, исключать всякие прения, имеющие отношения к реальной цели. § 8. Устраняются всякие вопросы от членов к организатору, имеющие целью дело кружков подчиненных. § 9. Полная откровенность от членов к организатору лежит в основе успешного хода дела. § 10. По образовании кружков второго разряда прежде организованные становятся относительно их центрами, получают устав общества и определенную программу деятельности в той среде, где находятся. Великорусский отдел. Москва.

Общие правила сети для отделений.

1) Задача отделений состоит в достижении самостоятельности и независимости в деле организации и их употреблений с вящею гарантиею безопасности общего дела. 2) Начало такого отделения кладут двое или трое лиц, уполномоченных от сети с одобрения комитета. Они группируют тех лиц из кружков на основании общих правил организации, которых, по усмотрению комитета, окажутся удовлетворяющими требованиям. Через организаторов поддерживается связь с сетью. 3) Личности, избранные из кружков и входящие в состав отделения, на первом же собрании дают обязательство: а) действовать неразрывно, коллективно, вполне подчиняясь общему голосу, и оставить отделение только для вступления в ряды еще более интимные, по указанию комитета; б) вместе с тем, они обязуются во всех своих отношениях ко внешнему миру иметь в виду только пользу общества. 4) Вступление в отделение делается постепенно, по одиночке. Когда количество дойдет до 6, тогда отделения разделяются на самостоятельные группы, по указанию комитета. 5) Избирается сообща лицо, заведывающее письмоводством, составлением отчетов, приемкой и отправлением членов комитета и других доверенных лиц, имеющих отношения к всему отделению. Это же лицо хранит бумаги, вещи и имеет адресы. 6) Другие члены берут на себя обязанность вести подготовительную работу в том или другом сословии, или среде, и избирают себе помощников из лиц, организованных по общим правилам. 7) Все количество лиц, организованных по общим правилам, рассматривается и употребляется, как средство или орудие для выполнения предприятий и для достижения цели общества. Потому, во всяком деле, приводимом отделением в исполнение, существенный план этого дела или предприятия должен быть известен только отделению; приводящие же его в исполнение личности отнюдь не должны знать сущность, а только те подробности, те части дела, которые выполнить пало на их долю. Для возбуждения же энергии необходимо об'яснить сущность дела в превратном виде. 8) О плане предприятия, задуманного членами, дается знать комитету, и только по соглашению оного приступается к выполнению. 9) План, предложенный со стороны комитета, выполняется немедленно. Для того, чтобы со стороны комитета не было требований, превышающих силы отделения, устанавливается самая строгая и аккуратная отчетность о состоянии отделения чрез посредство тех звеньев, которыми оно связывается с комитетом. 10) Отделение посылает членов для ревизии подчиненных кружков и отправляет в свежие места для заложения новых организаций. 11) Вопрос о средствах денежных стоит на первом плане; 1-е, прямой сбор с членов, лиц сочувствующих—на бланке комитета с выставлением, прописью количества жертвуемых денег; 2-е, косвенный сбор, под благовидными предлогами, от лиц всех сословий, хотя бы и не сочувствующих; 3-е, устройство концертов, вечеров, под разными номинальными целями; 4-е, разнообразные предприятия относительно частных лиц; все другие более грандиозные средства исключаются из деятельности отде-

ления, как превышающие его силу, и только по указанию комитета отделение должно содействовать выполнению такого плана; 5-е, из всей суммы приходов одна треть доставляется комитету. 12) В числе необходимых условий для начала деятельности отделения есть: 1-е, образование притонов; 2-е, допущение своих ловких и практических людей в среду разносчиков, булочников и прочее; 3-е, знакомство с городскими сплетниками, публичными женщинами и другие частные собирания и распространения слухов; 4-е, знакомство с полицией и с миром старых приказных; 5-е, заведение сношений с так называемой преступной частью общества; 6-е, влияние на высокопоставленных лиц чрез их женщин; 7-е, интеллигенция литературы; 8-е, поддержание агитации всевозможными средствами. Сей экземпляр не должен распространяться, а храниться в отделении.

Отношение революционера к самому себе.

§ 1. Революционер—человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью—революцией.

§ 2. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями и нравственностью этого мира. Он для него—враг беспощадный, и, если б он продолжал жить в нем, то для того только, чтобы его вернее разрушить.

§ 3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирской науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку, науку разрушения. Для этого и только для этого он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй медицину. Для этого изучает денно и нощно живую науку людей, характеров, положений и всех условий настоящего общественного строя, во всех возможных слоях. Цель же одна—наискорейшее разрушение (этого) поганого строя.

§ 4. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что помешает ему.

§ 5. Революционер—человек обреченный, беспощаден для государства и вообще для всего сословно-образованного общества; он и от них не должен ждать для себя никакой пощады. Между ними и им существует тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война на жизнь и на смерть. Он должен приучить себя выдерживать пытки.

§ 6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других... Все нежные, изнеживающие чувства родства, любви, благодарности и

даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение—успех революции. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель—беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть, и погубить своими руками все, что мешает ее достижению.

§ 7. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение. Она исключает даже личную ненависть и мщение. Революционная страсть, став в нем обыденною, ежеминутно должна соединяться с холодным расчетом. Всегда и везде он должен быть не то, к чему его побуждают влечения личные, а то, что предписывает ему общий интерес революции.

Отношения революционера к товарищам по революции.

§ 8. Другом и милым человеком для революционера может быть только человек, заявивший себя на деле таким же революционером, как и он сам. Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к такому товарищу определяется единственно степенью полезности в деле всеразрушительной практической революции.

§ 9. О солидарности революционеров и говорить нечего. В ней вся сила революционного дела. Товарищи - революционеры, стоящие на одинаковой степени революционного понимания и страсти, должны, по возможности, обсуждать все крупные дела вместе и решать единодушно. В исполнении таким образом решенного плана каждый должен расчитывать, по возможности, на себя. В выполнении ряда разрушительных действий каждый должен делать сам и прибегать к совету и помощи товарищей только тогда, когда это для успеха необходимо.

§ 10. У каждого товарища должно быть под рукою несколько революционеров второго и третьего разрядов, т. е. не совсем посвященных. На них он должен смотреть, как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую пользу. На себя он смотрит, как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела, только как на такой капитал, которым он сам и один без согласия всего товарищества вполне посвященных распоряжаться не может.

§ 11. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос, спасать его или нет, революционер должен соображаться не с какими-нибудь личными чувствами, но только с пользою революционного дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем—с одной стороны, а с другой—трату революционных сил, потребных на избавление, и на какую сторону перетянет, так и должен решить.

Отношения революционера к обществу.

§ 12. Принятие нового члена, заявившего себя не на словах, а на деле, в товарищество не может быть решено иначе, как единодушно.

§ 13. Революционер вступает в государственный, сословный, так называемый, образованный мир и живет в нем только с верой в его полнейшее скорейшее разрушение. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире, если он может остановиться пред истреблением положения, отношения или какого-либо человека, принадлежащего к этому миру—все и все должны быть ему равно ненавистны. Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские и любовные отношения; он не революционер, если они могут остановить его руку.

§ 14. С целью беспощадного разрушения революционер может и даже часто должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что есть. Революционер должен проникнуть всюду, во все низшие и средние сословия, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в Ш-е Отделение и даже в Зимний дворец.

§ 15. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий: 1-я категория неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных, по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так чтобы предыдущие нумера убрались прежде последующих.

§ 16. При составлении таких списков и для установления вышереченного порядка, должно руководствоваться отнюдь не личным злодейством человека, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в товариществе или в народе. Это злодейство и эта ненависть могут быть даже отчасти полезными, способствуя к возбуждению народного бунта. Должно руководствоваться мерой пользы, которая должна произойти от его смерти для революционного дела. Итак, прежде всего должны быть уничтожены люди, особенно вредные для революционной организации, а также внезапная и насильственная смерть которых может навести наибольший страх на правительство и, лишив его умных и энергичных деятелей, потрясти его силу.

§ 17. Вторая категория должна состоять из таких людей, которым даруют только временно жизнь, чтобы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта.

§ 18. К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом, ни энергией, но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием, силой. Надо их эксплоатировать всевозможными манерами, путями; опутать их, сбить с толку и, овладев, по возможности, их грязными тайнами, сделать их своими рабами. Их власть, влияние, связи, богатство и сила сделаются, таким образом, неистощимою сокровищницею и сильной помощью для разных предприятий.

§ 19. Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их программам, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем прибирать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их донельзя, так чтобы возврат для них был невозможен, и их руками мутить государство.

§ 20. Пятая категория—доктринеры, конспираторы, революционеры, все праздно глаголющие в кружках и на бумаге. Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед, в практичные головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих.

§ 21. Шестая и важная категория—женщины, которых должно разделить на три главные разряда: одне—пустые, обессмысленные, бездушные, которыми можно пользоваться, как третьей и четвертой категориями мужчин; другие—горячие, преданные, способные, но не наши, потому что не доработались еще до настоящего бесстрастного и фактического революционного понимания; их должно употреблять, как мужчин пятой категории; наконец, женщины, совсем наши, т. е. вполне посвященные и принявшие всецело нашу программу. Мы должны смотреть на них, как на драгоценнейшие сокровища наши, без помощи которых нам обойтись невозможно.

Отношения товарищества к народу.

§ 22. У товарищества нет другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, т. е. чернорабочего люда. Но, убежденное в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможно только путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет способствовать к развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и понудить его к поголовному восстанию.

§ 23. Под революциею народною товарищество разумеет не регламентированное движение по западному классическому образу—движение, которое всегда, останавливаясь перед собственностью и перед традициями общественных порядков, так называемой, цивилизации и нравственности, до сих пор ограничивалось везде ниспровержением одной политической формы для замещения ее другою и стремилось создать, так называемое, революционное государство. Спасительною для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции порядка и классы России.

§ 24. Товарищество поэтому не намерено навязывать народу какую-бы то ни было организацию сверху. Будущая организация без сомнения выработается из народного движения и жизни. Но это—дело будущих поколений. Наше дело—страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение.

§ 25. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством: против дворянства, против чиновничества, против попов, против гильдейского мира и против кулака—мироеда. Но соединимся с диким разбойничьим миром, этим, истинным и единственным революционером в России.

§ 26. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу—вот вся наша организация, конспирация, задача.

. . . .

Заседание 15-го июля.

Председатель об'явил следующую резолюцию:

„Судебная Палата, рассмотрев дело о заговоре с целью ниспровергнуть существующее в России правительство по отношению к 11-ти лицам, находит, что осенью 1869 года, в Москве, составлено было тайное общество, имевшее целью изменить существующий в России образ правления, и признает затем виновными:

1. Дворянина П. Г. Успенского, 22 лет, личного почетного гражданина А. К. Кузнецова, 24 лет, отставного коллежского секретаря И. Г. Прыжова, 42 лет и мещанина Н. Н. Николаева, 19 лет, в том, что они были соучастниками означенного тайного общества, и в том, что в качестве сообщников, по подговору Нечаева, совершили убийство студента Иванова, заманив его в уединенное место.

2. Сына священника И. И. Флоринского, 24 лет, в том, что, зная о существовании означенного общества, принимал участие в действиях оного.

3. Дворянина П. Н. Ткачева, 27 лет, и мещанку А. Д. Дементьеву, 19 лет, в том, что первый сочинил и отдал для напечатания и распространения, а последняя напечатала и распространила воззвание „К обществу“, заключающее в себе отзыв оскорбительный и направленный к колебанию общественного доверия к распоряжениям правительственных установлений и оправданию воспрещенных ими действий, с целью возбудить к этим распоряжениям и установлениям неуважение.

4. Находя затем подсудимых: священнического сына В. Ф. Орлова, дворянина Ф. В. Волховского, вдову полковника Е. Х. Томилову и священнического сына М. И. Коринфского—по настоящему делу не виновными.—

Судебная Палата, на основании 318, 1.453 п. 3, 1.035, 134, 152, 19, 31, 139, 143, 129, 38 и 140-й ст. Улож. о Наказ. и 771-й Уст. Угол. Суд., определяет:

1) подсудимых Успенского, Кузнецова, Прыжова и Николаева лишить всех прав состояния и сослать в каторжные работы: Успенского—в рудниках на 15 лет, Кузнецова—в крепостях на 10 лет, Прыжова—в крепостях на 12 лет и Николаева—в крепостях на 7 лет и 4 месяца, затем поселить в Сибири навсегда;

2) подсудимого Флоринского заключить в тюрьму на 6 месяцев с отдачею затем под строгий надзор полиции на 5 лет;

3) подсудимых Ткачева и Дементьеву заключить в тюрьму: первого на 1 год и 4 месяца, а Дементьеву на 4 месяца;

4) подсудимых Коринфского, Волховского, Томилову и Орлова признать по суду оправданными;

5) о применении меры пресечения способов уклониться от суда относительно Флоринского, Ткачева и Дементьевой составить особое постановление;

6) приговор о Ткачеве не приводить в исполнение, в виду имеющихся в Палате о нем других дел,—и

7) приговор этот по вступлении в законную силу относительно Успенского и Прыжова, на основании 945-й ст. Уст. Угол. Суд., представить на Высочайшее усмотрение.

Приговор в окончательной форме будет об'явлен через 2 недели после последней резолюции по настоящему делу.

Председатель. Подсудимые Орлов, Волховский, Коринфский и Томилова! Не угодно ли вам выйти на середину залы.

(Подсудимые вышли).

Подсудимые! Вы свободны от суда и от содержания под стражею. Господа, отныне вам место не на позорной скамье, а среди публики, среди всех нас.

. . . .

(Госуд. преступления в России в XIX веке, сб. под ред. Б. Базилевского том I, стр. 160—165, 176—178, 182—186 и 188).

Из показаний по делу Кузнецова.

Председатель. Подсудимый Кузнецов, Вы сознались в участии как в том, так и в другом преступлении, которые я формулировал в кратком вопросе, обращенном к вам; поэтому потрудитесь рассказать обстоятельства, сопровождавшие то и другое преступление, и в подробных чертах расскажите Палате степень Вашего участия, и вообще представьте нам те сведения об обстоятельствах дела, которые нам необходимы.

Подсудимый. Я познакомился с Нечаевым чрез посредство слушателя Петровской Академии Долгова. Это было во второй половине сентября 1869 г. Долгов приехал ко мне на квартиру и сообщил, что со мною желает переговорить один его хороший знакомый. Я отправился в

Академический сад и там увидел в первый раз Нечаева. Он на мой вопрос не назвал своей фамилии, а сказал, что его зовут Иван Петрович. Под этим именем я знал его до ареста.

Председатель. Просит подсудимого говорить погромче, если возможно.

Подсудимый. Нечаев начал расспрашивать о моих знакомых прежних и назвал несколько фамилий, или арестованных, или известных своим участием в каких-нибудь агитациях. Но так как до этого времени я не принадлежал ни к какому обществу и не имел сношения с подобными лицами, то только и сказал, что с теми лицами, которых он назвал, я не знаком. После этого он начал расспрашивать о моих занятиях, о знакомствах, о бывших товарищах, я сообщил ему, между прочим, что мы занимаемся приготовлением к экзамену, так как я тогда действительно должен был окончить курс в Академии, до чего мне оставалось два месяца. Нечаев начал говорить на это, что настоящее время такое, в которое должно думать не об одних книгах, а что нужно посмотреть на жизнь и на те причины, которые мешают нашим занятиям. Насколько я знал жизнь, я ему об'яснил; но он говорил, что мои взгляды ложны и т. д. После этого, чтобы убедить меня в том, что за-границей существует международное общество, которое имеет целью сблизить все интересы рабочих разных стран, не допускать до произведения отдельных вспышек, а чтобы совокупными усилиями добиваться тех или других результатов, и что это общество имеет конечною своею целью в отдаленном будущем уничтожить существующее разделение обществ во всех государствах, в настоящее время разделенных на две группы: на меньшинство развитое, которое эксплоатирует большинство, держа его в невежестве и оставляя ему для заработка лишь столько, чтобы не умереть с голоду. После того он говорил, что в этом обществе есть много народа, есть много русских, которые уже с давних пор изучают положение России и пришли к убеждению, что у нас хотя не существует обширного класса пролетариев, но, в сущности, если сравнивать положение рабочего на Западе и положение наших крестьян, не по собственности, а по тому, сколько они зарабатывают и сколько с них берут,—то положение наших рабочих нисколько не лучше положения пролетариев. Из этого он выводил то заключение, что в настоящее время народ наш мало по малу разоряется и находится в таком бедственном положении, при котором близко время, когда он может восстать; особенно указывал на окраины России, в которых, как известно, было несколько неурожайных лет, приведших к тому, что народ доведен до такого крайнего ожесточения, что этим людям, которые изучают его, приходится даже сдерживать народ; он указывал, между прочим, что в этих окраинах находится несколько лиц с прокламациями. Затем он говорил, что это положение народа может окончиться пугачевщиной и что, следовательно, нужно каким-нибудь образом ослабить эти последствия и не дать проявиться грубой силе черни в таких размерах, в которых она проявлялась в прежних восстаниях, как при Разине, так и при Пуга-

чеве. Когда я стал с ним спорить, что эти восстания ни до чего не доведут, кроме разрушения, то он сказал, что в настоящее время не возможен такой исход, который был бы возможен прежде, потому что у этой грубой силы стоит другая живая сила, которая не даст оказаться восстанию с теми результатами, какие были прежде, потому что будет направлять грубую силу в более выгодную сторону, чтобы дать возможность осуществить те или другие результаты и желания всего общества. В доказательство этого, между прочим, когда я выразил сомнение в существовании такого положения, он сказал, что эти лица не только изучили самое положение России, но что они также много работали для того, чтобы сдерживать всех недовольных в России, и указал, что сдерживали особенно в университетских городах, преимущественно в Петербурге, известное движение, произведенное во время студенческой истории в 1869 году, в марте месяце. Потом он говорил, что некоторые из лиц явились в Москву для того, чтобы там заняться организацией, в Москву же явились потому, что Москва проявляет себя более консервативным образом, и указывал на то, что у нас в Академии не было никакого движения, например, в роде студенческой истории, и спросил, почему это? Я указал на действительные причины, а именно, что Академия пользуется несколько большими правами, чем другие университеты, и этого достаточно, чтобы не было предлога для произведения каких-либо демонстраций.

Нечаев говорил, что вследствие того, что организуется еще общество, в настоящее время нужно ожидать, что сам народ произведет восстание скорее, и что так как уже сдерживают народ, то и думают, что во время 19-го февраля 1870 г. народ восстанет; но когда впоследствии мы стали говорить ему, что это, вероятно, невозможно, то он указывал на это 19-е февраля, как на такое средство, при котором возможно будет все-таки продолжать действовать энергично. Если восстание не произойдет таким образом, то все-таки в этом не было бы никакого ущерба. Я говорил ему и спорил долго о том, что есть другие пути для помощи народу и указывал на такие средства, как например, школы, артели и ассоциации, но он смеялся над этим и говорил, что эти вещи не законные, что как бы ваше желание помогать народу ни было искренно но посредством своих знаний вы недостаточно поможете ему словами; достаточно узнать о ваших действиях, чтобы вас преследовали, как политических преступников. По этому поводу я спорил, но, в конце концов, должен был согласиться, что он говорил справедливо. Потом он стал мне предлагать вступить в общество; но я отговаривался тем, что я не имею никакого знакомства, что веду замкнутую жизнь и вообще не могу быть полезным и т. д.. Но он просил хотя чем-нибудь помогать, об'ясняя, что таким образом я покажу, что не буду против народа и встану под его знаменами, так что во время восстания этим будет гарантирована безопасность моей личности. Вообще, о положении народа он говорил с страшным энтузиазмом, и видно было, что во всяком его слове была искренняя любовь. Я не подозревал, что он говорит ложь,

и после некоторых споров все-таки отговорился от участия; но когда он стал ставить вопрос о вступлении в общество так, чтобы дать свое согласие хотя для какого-нибудь дела, например, относительно помощи денежной, то я сказал, что я, пожалуй, останусь, но что я должен уехать чрез два месяца из Москвы и, таким образом, моя роль будет самая ничтожная. Он отвечал, что все равно, какова бы ни была помощь, все же лучше, чем совершенно отказаться и итти против народа. Вообще вопрос о вступлении он ставил так ловко, что, отказавшись, в глазах его должен был назвать себя подлецом. Я дал свое согласие помогать ему. Обо всем этом при свидании я сообщил Долгову, так как он рекомендовал меня, и об'яснил ему, что Нечаев довел меня до того, что я отчасти согласился помогать ему. Долгов сказал, что это, действительно, личность либеральная, и что ему также он уступил отчасти. При окончании свидания, Нечаев дал мне прочесть прокламацию Бакунина и Нечаева, а при последнем разговоре и „устав международного общества". На этом уставе была приписка Бакунина такого содержания: „Если вы сочувствуете этой программе, то дайте знать чрез кого следует".

Я прочел эти прокламации и в назначенное Нечаевым время опять пришел в сад. Здесь я начал с ним спорить преимущественно по поводу „Народной расправы". Я высказал ему, что для меня непонятна та злоба, которая высказывалась в этой прокламации. Он засмеялся и сказал, что дело не в народной расправе, что важно чем-нибудь помогать , что она может клониться к людям, которые вышли из народа; а потом он смеялся над нами, что мы не понимаем прокламации. Значение „Народной расправы" он об'яснял таким образом, что изложены в ней ужасы народа затем, чтобы те лица, которым она попадется по назначению, давали читать прокламации и не членам общества, чтобы этим запугать общество: при чем об'яснял, что хотел достигнуть того, чего достигает реакционная пресса, т. е. запугать общество не посредством разглашения несуществующих различных признаков, но вследствие деморализации его проводить те или другие взгляды. Но он об'яснил, что дело не в „Народной расправе", и сказал, что вообще эта вещь касается теоретических вопросов, и высказал свой взгляд на то, что все общество, существовавшее до сих пор, не имело успеха потому, что занималось разными теоретическими соображениями. Он указал на то, что гораздо полезнее сделать хотя бы что-нибудь, чем заниматься разными обширными планами.

Таким образом, он привел меня в квартиру Долгова, и я увидел здесь Долгова, Иванова, Рипмана, и он сказал, что из нас должен образоваться кружок, стоящий на первой ступени организации, и должен был называться кружком 1-й ступени, и, наконец, что руководством будут служить нам правила, которые он прочтет. Правила эти носили название: „Общие правила организации" и в них было сказано, что общество основано на доверии к личности. Здесь мы в первый раз узнали о существовании комитета. Он очень ловко начал об'яснять то, что наши выгоды заставляют нас подчиниться некоторым образом решениям этого комитета, так как в руках его сосредоточены все сведения; но что мы не

можем знать лиц и, вероятно, никогда не узнаем личного состава этого комитета, потому что он обладает обширными сведениями и что знакомство с лицами может повести к тому, что из-за неосторожного знакомства могут попасть сотни тысяч людей, погибнет все дело; но что комитет имеет только одно лицо, именно его, которое и будет сноситься с нами. Потом он прочел между прочим § 1-й правил, в котором сказано, что мы обязаны составить каждый около себя кружок из 5 или 6 человек, и после этого уже собрания отдал нам прокламацию и сказал, что бы мы обратились к своим знакомым.

Я отправился в свою квартиру и собрал всех своих товарищей, что было против правил, по которым требуется собирать в одиночку, как это он сделал с нами, и потом, когда несколько человек дадут свое согласие, то свести их вместе. Но я говорю, что поступил против правил и пригласил всех моих товарищей: Гладышева, Рязанцева, Климина, своего брата и Прокофьева. Здесь мы прочли те прокламации, которые давал Нечаев, Бакунина, „Народной расправы", и устав международного общества. Здесь мы высказались насчет „Народной расправы", так как она произвела на всех очень дурное впечатление. После прочтения всех этих правил, некоторые дали согласие на вступление, а именно: Гладышев, Иван Рязанцев, Климин и мой брат. Прокофьев сказал, что он подумает; взглянул на это дело более серьезно и, таким образом, не попал в общество. Я составил протокол, то есть сообщил об этом на следующем собрании, и тогда Нечаев дал мне „правила организации" для того, чтобы их прочесть, что я и сделал.

Когда таким образом образовался около меня кружок, в силу одного из § § правил начали образовываться кружки также и около других членов: Иванова, Долгова и Рипмана. Долговым был завербован в то время Корябин; с другими членами он вел переговоры. Ивановым был завербован Ланге и еще кто-то, теперь я забыл. Потом Рипман вел переговоры с каким-то студентом, не называя его по имени. Когда таким образом образовался и начали образовываться около нас кружки, то тогда наш кружок, состоящий из Долгова, Иванова, меня и Рипмана, состоявший при начале образования на 1-й ступени организации, стал на 2-ю ступень организации и начал называться центральным кружком, а те, которые образовались около нас, стали на 1-ю ступень, и стали называться кружками 1-й ступени.

Деятельность центрального кружка, кроме того, в то время состояла в следующем: он рассматривал списки слушателей Академии и должен был, как я уже упомянул, составлять особые списки этим слушателям, пред именами которых были выставляемы особые знаки, определявшие характеристику этих лиц. Таких знаков было 5, но я в точности не помню, какими знаками выражались известные качества. Об этих собраниях протоколы составлялись посредством особого шифра цифрами. По этому шифру мы все были размещены в алфавитном порядке. Долгов обозначался 1, Иванов 2, я 3, Рипман 4. Кружки, которые состояли при каждом из нас, снова размещались в алфавитном

порядке, и первый по алфавиту в моем кружке обозначился цыфрою 31, т. е. первая цифра (3) означала кружок, вторая личность по алфавиту. Таким образом, у нас никогда не называлось фамилий. Это делалось потому, что Нечаев в первоначальных отношениях со мною, убеждая меня вступить в общество, постоянно говорил, что наших фамилий не будет существовать совсем и что их тотчас же перешлют в центральное бюро заграницу. Здесь же мы будем известны только под одними знаками. Кроме отчета о наших собраниях, занимались другими делами; так, будучи еще в центральном кружке, я занимался составлением бланок для собирания денег. С тѐх пор, как наш кружок из кружка 1-й степени стал на 2-ю степень и сделался центральным кружком, Нечаев начал переменять тон, которым он прежде с нами беседовал, начал все настоятельнее и настоятельнее указывать на то, что мы должны повиноваться комитету, что мы должны вести дело аккуратно, и сам притворялся даже недовольным комитетом, который будто бы налагает на него так много обязанностей, что он не может исполнить, и, действительно, он так много трудился, что, как сообщали мне Долгов и Иванов, у которых он проводил большую часть времени, спал в сутки 2—3 часа. Потом он начал для подтверждения существования комитета проделывать различные фокусы; так однажды, когда я был у Иванова, он явился в офицерском платье, и когда мы спросили, что это значит, то он об'яснил, что был сейчас на собрании кружка офицеров, где невозможно было иначе быть, как в военном костюме; потом однажды приходит в квартиру Долгова очень расстроенный; мы начали его расспрашивать, утешать, он сердился, долго ломался, ничего не говорил, наконец, с отчаянием сообщил, что в московский комитет пришли из Петербурга сведения, что там арестовано пять кучек (так назывались там будто бы кружки), и когда мы стали жалеть, что это случилось, то он, как будто в виде утешения, стал нам об'яснять, что это еще не из лучших, и что они попались потому, что не выполняли требований комитета, и вместе с тем об'яснял, что при громадной организации, которая существует в Петербурге, это небольшая потеря и что при существующей организации, при которой члены очень мало знакомы между собою, даже при желании выдать кого-нибудь, они не могут ничего сделать.

Теперь я перейду к рассказу об участии в организации Иванова и о последствиях этого участия. Специальным занятием Иванова было ведение Академии. Ведение это должно было состоять в следующем: он должен был заниматься распределением членов по квартирам таким образом, чтобы по возможности было как можно более притонов; он должен был также направлять общественное мнение и устраивать литературные вечера для того, чтобы как можно более выяснить действия управления общества; кроме того, он должен заводить знакомства в окрестности Академии с различными волостными писарями и т. д. Иванов, не имея возможности заниматься этою деятельностью, не захотел представлять отчетов, которых от нас требовали; следовательно, он принял другую систему, чем я, чтобы уничтожить контроль комитета, он начал

действовать прямо. Вследствие же того, что он не хотел подавать отчетов, Нечаев начал с ним обращаться несколько грубо.

Иванов был очень самолюбив, а потому невежливое обращение с ним Нечаева вызывало постоянное раздражение. Мало по малу к этому присоединилось еще несколько других причин, которые постоянно усиливали раздор. Так, между прочим, Иванов требовал, чтобы Долгову дали те же права, как и ему, т. е. перевели его в кружок отделений. Кроме того, Иванов хотел непременно ездить в Москву на собрания, хотя ему даже не было необходимости присутствовать на этих собраниях. Наконец, одною из причин, усиливших раздор между ними, было приказание Нечаева—по моему мнению крайне неосновательное—о том, чтобы Иванов наклеивал прокламации в столовых сдушателей Академии и библиотеках. Иванов сказал, что после этого кухмистерские закроются, и тогда негде будет обедать. Я в этом отношении стоял за него; тогда кто-то заявил, кажется Нечаев сказал, что этот вопрос должен итти на обсуждение комитета. Иванов, имея уже случай заметить, что комитет решает всегда спор в пользу Нечаева, отказался. Это сильно рассердило Нечаева. Успенский устранил этот спор, поставив общий вопрос: имеют-ли члены право требовать подчинения общего интереса частному? Тогда я отказался и стал убеждать Иванова, что, так как нас обязывали беспрекословным повиновением, то теперь сопротивление будет бесполезно, и он согласился. Этот спор был почти пред самым выездом моим в Петербург. После этого, 20 ноября, я приехал по обыкновению в Академию, чтобы узнать о получении денег, которые задерживались в Петербурге, и при этом Нечаевым или Прыжовым была передана мне записка к Иванову. Иванов, прочтя эту записку, сказал, что его требуют на собрание кружка, и пригласил меня ехать с ним в Москву.

Мы поехали; на половине дороги он зашел к Прыжову, а я отправился к своим знакомым, чтобы проститься, так как в этот вечер был назначен мой от'езд в Петербург вместе с Нечаевым. Я приготовился к этой поездке и в назначенное время стал ожидать Нечаева. Но он несколько опоздал; наконец, он явился и сказал, что необходимо итти на собрание к Успенскому. Я пошел с ним; дорогою он мне сообщил, что сегодня был Иванов у Прыжова и что прямо уже отказался от всякого повиновения комитету, что не хочет отдать те деньги, которые собрал, не хочет слышать никаких предложений, обещаний, что об этом было передано в комитет, и что комитет поручил ему покончить это дело, так как Нечаев ошибся в выборе Иванова. Мы пришли в квартиру Успенского, где собрались Нечаев, Успенский и Прыжов; впрочем, последний вскоре ушел.

Между мною и Нечаевым произошел спор, который продолжался очень долго, несколько часов даже. Я очень хорошо понимал, к чему собственно ведет разговор с Нечаевым, и старался не дать возможности ему договориться до чего бы то ни было. Но Успенский сделал более прямой намек, которым воспользовался Нечаев, об'явив, что с Ивановым остается только одно средство покончить, а именно уничтожить его. Я

снова начал с ним спорить, доказывая, что они раздражали Иванова, что в его характере никогда не соглашаться сразу, а потому с ним надо действовать постепенно, ласково. Я имел право говорить об этом, так как хорошо знаком с Ивановым. Я их уговаривал, чтобы они дали мне возможность с ним сговориться, но Нечаева мое сопротивление только рассердило. Он злобно стал смотреть на меня из-под очков и, наконец, холодным голосом сказал: „и вы думаете сопротивляться“? Мне оставалось одно: если бы я сказал „сопротивляться“, то это возбудило бы только Нечаева против меня—я должен был уступить. Тогда стали придумывать способ осуществления задуманного плана. Я старался доказывать несостоятельность этих планов и невероятность удачи. Но вскоре Нечаев вспомнил о находящемся близ Петровской Академии гроте, в котором, по его мнению, всего удобнее привести задуманное в исполнение. Я указывал и тут на многие затруднения, напоминая, что недалеко от грота проходит дорога, по которой ходит сторож. Но меня не слушали. Не помню, кто-то предложил завести Иванова в грот под предлогом желания вырыть типографию, оставшуюся еще со времени Каракозова. Я помню только, что в это время Успенский был в страшно раздраженном состоянии, бледнел и краснел, и что Нечаев пред уходом сказал, что все мы должны на следующий день сойтись у меня. Уходя, я сам находился в страшном состоянии. Товарищи, с которыми я прожил тринадцать лет неразлучно, могут удостоверить, что я всю жизнь не имел ни одного врага, даже ни одного человека, которому бы грубое слово сказал. Вы поймете положение, в котором я находился при сознании, что я должен итти против своего товарища, которого невинность я вполне сознавал. Я должен был итти против него с людьми, из которых я двух даже не знал по фамилии: Нечаева и Николаева, а с двумя другими, Прыжовым и Успенским, только не задолго перед тем познакомился. С такими тяжелыми мыслями я воротился к себе на квартиру уже далеко за полночь и все думал, как бы спасти Иванова. Для этого казалось возможным только известить Иванова, но на это нужно было два часа, не менее, так как он был в Академии; к тому же у меня ночевал Николаев, который видел, что я воротился взволнованным. Таким образом, мне не было никакой возможности сделать что нибудь. Утром скоро явился Нечаев, пришел Успенский и Прыжов, начались приготовления. Нечаев сказал Успенскому, чтобы он взял веревку, потом сказал, чтобы мы осмотрели свое платье и оставили все вещи, которые могли бы выдать нас. Прыжов пришел ко мне и начал говорить, что Нечаев просто с ума сошел, нужно его каким-нибудь образом остановить от этого безобразия. Я пришел к Нечаеву снова, начал ему указывать на взволнованное состояние Успенского и на нежелание Прыжова. Тогда он мне сказал: „что, вы опять принялись за старое“? Я замолчал. Он отправился к Прыжову и начал его ругать. Затем Нечаев послал Николаева в Академию, чтобы он привез Иванова к нему на квартиру, где должен был оставаться Прыжов, а я с Успенским и Нечаевым должны были уйти с квартиры и ожидать их на Тверском бульваре. Мы отправились сначала в трактир, а

потом на бульвар. Через несколько времени пришел Прыжов и сказал, что Николаев приехал один.

Тогда Нечаев снова стал сердиться, что невозможно осуществить задуманное дело, потому что ему представлялись сильные препятствия. Он сказал, что, если ему это не удастся сделать, то он придет с Николаевым вечером в квартиру Иванова и задушит его. Одумавшись, Нечаев сказал, чтобы Николаев шел к Ланге, у которого бывал часто Иванов, а меня послал посмотреть с тем, что, если я увижу, что Николаев с Ивановым идут, то пришел бы его предупредить. Все так и было сделано. Когда мы вышли из квартиры, то мы поехали в Академию: я, Успенский и Нечаев. Придя в грот, Нечаев, осмотрел все выходы, послал меня и Успенского следить, когда покажутся Иванов и Прыжов. Я встретился с ними за несколько шагов, на некотором расстоянии от грота и пошел вперед с Ивановым, а Нечаев и Прыжов шли за мною. Иванов что-то говорил, но я не помню: я был в таком волнении, что сбился с дороги и завел их в лес (здесь подсудимый прервал на несколько минут свое показание), наконец, мы дошли до грота, но пришли к нему с другой стороны, и нам пришлось переходить через вал.

Была мертвая тишина; всякий шаг делался все тише и тише, наконец, остановились. В это время Нечаев страшным голосом сказал: „кто здесь“? При этих словах я сейчас же выбежал из грота и стал, прислонившись к дереву, около грота. Сколько времени прошло—не знаю; только через несколько времени я увидел согнутую фигуру около выхода из грота; я подбежал тотчас к этой фигуре, спросил: что такое, в чем дело? Так как я был вне грота, то я очутился перед самим Ивановым и людьми, которые выходили за мною. Это естественное положение могло показаться Нечаеву задержанием, но для меня не было времени. Нечаев тотчас навалился на Иванова, который упал навзничь головою ко мне и ногами к выходу. Я стоял сзади; он стал кричать; я пустился к Иванову. Не помню, много ли прошло времени и что делалось, вдруг раздался выстрел... Этот выстрел был произведен внезапно и испугал всех, так что все выскочили. Стрелять в гроте было чрезвычайно опасно, так как в этот день был праздник, и могли пройти пьяные крестьяне по пролегавшей недалеко от грота дороге...

Рассказ Кузнецова был прерван по случаю истерики, сделавшейся с подсудимою Дементьевой, которая была удалена из залы заседания.

После перерыва. Кузнецов. После выстрела Нечаев что-то начал опять кричать, всех ругать—Николаева кажется—и потом я как бы сквозь сон видел, как снимали пальто с Иванова, потом, кажется, шарили в карманах, потом Нечаев закричал снова, начали поднимать труп. Я дрожащими руками взялся за край платья и пошел также около трупа. Не знаю, кто здесь шел, только когда дошли до проруби, то опустили труп на землю, а Нечаев пошел в воду по колено, и хотя был в длинных сапогах, но вода заливалась за сапоги. После этого он ушел в одну сторону с Успенским, взял с собою пальто, а Николаеву, мне и Прыжову приказал итти другою дорогою. Все были в страшном состоянии, но Николаев старался

успокоить меня. Мне показалось, что идут очень медленно, и я убежал от них вперед. Опомнившись, я заметил, что у меня в руке несколько монет, сунутых мне Нечаевым. Я их бросил. По возвращении в Москву взял извозчика, проехал несколько, но там снова бросил извозчика и возвратился в квартиру, где застал Нечаева и Успенского. Здесь мы начали осматривать себя. Оказалось при этом, что шапка, которая была

Нечаеве, была им оставлена вследствие борьбы с Ивановым, и он захватил шапку, в которой был Иванов. Кроме шапки, в гроте был также оставлен башлык.

По этому поводу я должен заметить, что из квартиры Успенского мною был взят башлык Климина; взял я этот башлык в одно из посещений Академии, когда я должен был возвращаться оттуда в дурную погоду. Таким образом, у меня в квартире оказалось два башлыка. Свой я надел, а башлык Климина взят был Успенским. Каким образом он остался в гроте мне совершенно неизвестно. Я был все время в своем башлыке; помню даже, что Николаев и Прыжов, при встрече со мною в первый раз, испугались.

Нечаев оказался весь в крови, даже на рубашке оказалось несколько кровяных пятен. Так как он носил рубашку, то я потребовал, чтобы он снял ее и сжег вместе с шапкою, взятою у Иванова, и полотенцем, которым я вытирал у Нечаева окровавленное пальто. Сам Нечаев не мог даже владеть пальцами, потому что у него обе руки были в страшных ранах. Потом затопили печку, в которой я сжег эти вещи, и не знаю, о чем там в другой комнате говорили остальные. Вдруг слышу выстрел. Оказалось, что Нечаев, об'ясняя будто бы Успенскому устройство револьвера, сделал выстрел по направлению Прыжова, и едва не попал в него, так что пуля пролетела около самого уха Прыжова. Я склонен подозревать, что едва ли Нечаев не с намерением выстрелил в Прыжова, потому что последний сопротивлялся ему перед убийством Иванова. Когда я сидел около, мне были принесены какие то бумажки, взятые у Иванова. Я бросил их в печку. Потом условились, как говорить в случае, если нас будут спрашивать о том, где мы были в тот день. Затем все разошлись. Я остался один в страшном положении, так что на другой день, когда меня увидала одна женщина, то испугалась от происшедшей со мною перемены. Если нужно будет, то я укажу эту женщину. Это было уже 22-го числа. В этот день я должен был уехать в Петербург.

Подсудимый остановился от усталости и просил позволить ему докончить свои об'яснения позднее.

П р е д с е д а т е л ь. В виду расстроенного состояния подсудимого, его просьбы и позднего времени, я признаю необходимым отложить заседание и об'являю, что палата приступит к дальнейшему рассмотрению дела завтра, 2-го июля, в 12 часов утра.

(Заседание закрыто в $7^1/_2$ часов вечера).

„Правительственный Вестник“ 1871 г. № 156.

Заседание С.-Петербургской судебной палаты 10-го июля 1871 г.

Защитник князь Урусов. Г.г. судьи, г.г. сословные представители. На мою долю выпало произнести первую защитительную речь, и я не скрываю от себя всех затруднений моей задачи. Эти затруднения заключаются не только в тяжести улик против моего клиента Успенского, не только в сложности дела, но и в свойстве тех предметов, тех общих вопросов, которых защита должна будет касаться, рассматривая их с своей точки зрения. И вообще, в настоящем процессе по многим обстоятельствам и причинам эта точка зрения может быть совершенно противоположна той, с которою смотрит на дело обвинение. Обращаясь к тем указаниям закона, в которых в данном случае защита ищет себе опоры, и которые должна признавать обязательными, я нахожу в комментариях к 1.038 ст. Уст. Уг. Суд. следующие соображения, на которых статья эта основана: „Суд по государственным преступлениям должен быть устроен таким образом, чтобы высокое общественное положение судей служило ручательством в строгом, но справедливом преследовании всякого злоумышления, чтобы подсудимые пользовались всеми средствами защиты, установленными общим порядком уголовного судопроизводства". Итак мысль законодателя ясна как нельзя более. Законодатель не делает никаких из'ятий в правах защиты по делам политическим, ничем не отличает этих прав от прав защиты в делах, производимых обыкновенным порядком. Из этих выражений, а также из комментария к ст. 1.032 оказывается с особенною обстоятельностью, что права обвинения и защиты по делам политическим должны быть совершенно и также строго равны, как в обыкновенных процессах. Отсюда нельзя не притти к заключению, что воля законодателя была, чтобы защита являлась совершенно свободною, ибо без совершенной свободы защиты не мыслимо и самое правосудие: достоинство Суда и достоинство защиты одинаково требуют, чтобы защита была вполне свободна.

Для того, чтобы исполнить задачу защиты так, как я ее понимаю, мне необходимо прежде всего установить некоторые общие понятия, некоторые юридические определения тех преступлений, о которых будет итти речь. В обыкновенных случаях, когда обсуждаются предметы более или менее известные, относительно которых давно уже установились понятия в обществе, эта задача не всегда представляется необходимою. Но в данном случае, когда речь идет о преступлении, впервые разбираемом в России Судом открыто и публично, установление этих понятно, представляется делом необходимым, так как всякое новое дело, понятий, возбуждает множество недоразумений; а также и потому, что защита раздается не только в этих стенах, но читается и слушается многими. Вот почему задача зжщиты, как она мне представляется, в данном случае должна заключаться, во-первых, в установлении теоретических понятий, во-вторых, в рассмотрении дела всесторонне, так как в конце концов

задачею Суда должно быть самое полное изучение известного общественного явления, которое называется преступлением. Но для того, чтоб получить об этом явлении полное понятие, нам необходимо рассмотреть его не как отрывочный факт, но как явление, подобное всем явлениям мира, зависящее от той среды, в которой оно возникло, носящее характер тех условий, среди которых оно образовалось — одним словом, рассмотреть не только ту общественную среду, в которой явление произошло, но и условия, действующие на эту среду, характер участвующих лиц и те исторические явления, которые вызвали то или другое общественное настроение. Это положение защиты не может не возбудить в обществе сомнений и недоразумений. Защита, задача которой не утверждать, не обличать, а об'яснять, находится в положении наиболее сообразном с научным пониманием дела, так как наука не признает совершенно независимых самостоятельных явлений, которые бы стояли в мире совершенно особняком. Но таким образом вопрос этот переносится на почву, где все понятия представляются относительными, между тем как известно большинство обществ воспитано на абсолютных началах теологического или метафизического свойства, которые во многих случаях с воззрениями защиты сходиться не могут. Говоря о тех приемах, которых намерена держаться защита, я вполне полагаюсь на то внимание, которое Суд оказал делу во все продолжение его производства, и вполне убежденный, что свобода защиты и достоинство Суда — в сущности вполне солидарное понятие.

Перехожу к определению тех теоретических воззрений на свойства преступления, о которых я заявлял. Если относиться к преступлениям политическим с вульгарной, весьма распространенной точки зрения, то они представляются самым тяжким и самым безнравственным и самым опасным делом, которое только можно себе представить, потому что угрожают самому существованию государства и благосостоянию всех граждан, и потому нет таких строгостей, нет карательных мер, которых бы не заслуживали величайшие из преступников. Но, благодаря историческому опыту и успехам гражданской свободы, эти идеи давно уже отвергнуты и теориею и практикою. С точки зрения юриста-теоретика между безнравственностью преступлений общих и преступлений политических существует весьма серьезное различие. Я приведу мнение писателя, консервативность которого не может быть поставлена в сомнение, писателя, известного представителя буржуазии, писателя набожного, строго последовательного, и который вообще не может быть заподозрен ни в каких увлечениях. Я говорю о Гизо. Гизо в своем сочинении об отмене смертной казни за политические преступления выразил следующие мысли, которые перешли с тех пор в различные учебники по уголовному праву. Безнравственность—говорит Гизо—политических правонарушений далеко не так ясна и далеко не так незыблема, как безнравственность преступлений частных. Это понятие постоянно изменяется или помрачается различными житейскими превратностями. Оно изменяется сообразно времени, событиям, правам и достоинствам власти; оно постоянно колеблется под

ударами силы, которая воображает себе, что может видоизменять это понятие сообразно своим прихотям или потребностям. Едва-ли найдется какое либо невинное или даже похвальное действие, которому в каком либо уголке мира в известную минуту не придавалось уголовное значение. Известный юрист Faustin Helie, пользующийся неоспоримым авторитетом, в своем руководстве к изучению уголовного права—Théorie du code penal—я цитирую парижское издание 1863 г., том II,—Faustin Helie говорит, что законодатель не мог не сознавать, что „обыкновенные, частные преступления против жизни и собственности лиц всегда и везде считаются одинаково безнравственными. Они не разделяются Пиренеями, говорит автор известным выражением Людовика XIV. Но конституция государства есть форма существенно изменимая, быстро поддающаяся давлению времени и нравов. Она зависит от воли людской. Она изменчива, как люди“. Но увлечение самыми благородными идеями может доводить людей до преступлений, заслуживающих порицания общества и кары государства.

Покончив с этими общими положениями, я перехожу к рассмотрению системы обвинения. По мнению прокурора, мы имеем дело с преступлением, которое обвинение подводит под ст. 249 и 250, называя это преступление заговором, направленным к ниспровержению существующей в России верховной власти. Ставя таким образом вопрос, обвинение, очевидно, не считало необходимым проводить какое-либо различие между заговором и тайным обществом, полагая, вероятно, что на этой почве оно не встретит сопротивления. В данном случае мы имеем все признаки тайного общества, признаки деятельности, направленной к поколебанию существующего порядка в империи, пожалуй, к ниспровержению его; но имеем ли мы в данном случае дело с заговором, и какое юридическое различие существует между понятием о заговоре и о тайном обществе—вот воззрение, которое обвинением вовсе не об'яснено. Я полагаю, что, обращаясь к рассмотрению этого вопроса, мы не будем жалеть о потраченном времени, если удастся нам только об'яснить, что между этими двумя понятиями существует весьма определенная граница. Для того, чтобы определить эту границу, мы должны рассмотреть как то, так и другое явление совершенно отдельно. В настоящее время я считаю необходимым указать на некоторые существенные различия этих понятий, а остальное выяснится при разборе обвинения. Заговор, как мне думается, есть соглашение известного числа лиц с целью произвести насильственное посягательство на правительство страны. Для состава этого преступления требуется, чтобы цель заговора была определенная, всем известная, всеми принятая. Далее требуется, чтобы действия заговорщиков и принимаемые ими меры клонились непосредственно к осуществлению этой цели, так напр., приобретали оружие, назначали время и место восстания, назначали каждому свою роль в принятии той или другой насильственной меры. Таковы признаки заговора с целью восстания, т. е. преступления, предусмотренного ст. 249 и 250. Если же организуется тайная ассоциация лиц, полагающих себе целью враждебную деятель-

ность против установленного правительства; если не только не определено число этих лиц, а, напротив, полагается его безгранично увеличивать, привлекая к организации новых членов; если ассоциация получает иерархический характер; если состоит из небольших групп, друг другу неизвестных; если лица эти обязываются повиновением неизвестным начальникам; если они агитируют противозаконными способами, распространением воззваний, доказывающих необходимость или близость восстания, если окончательная цель ассоциации неизвестна всем ее сочленам; если эта цель их скрывается; если она не определена; если она ставится в зависимость от ожидаемого в будущем события; если не все соглашаются относительно этой цели; если есть признаки разногласия существенного; если полагается только помогать ожидаемому восстанию; если не приобретается ни оружия, ни разрушительных снарядов, если не назначено ни места, ни времени действия, нападения, посягательства восстания—то мы имеем дело с политическим тайным обществом с целью противоправительственною, но не с заговором; мы имеем дело со статьей 318-й и высочайше утвержденным мнением Государственного Совета 27-го марта 1867-го года о тайных сообществах, а не со ст. 249 и 250 Уложения. Различие весьма важное. Заговор и тайное общество могут иметь совершенно одинаковую цель, а между тем заговорщиков, будь они учредители, начальники или сообщники, пособники или хоть попустители—закон наказывает одинаково—всех смертью или всех каторгою. В тайных же обществах главные виновные наказываются также каторгою, но второстепенные и последние деятели подвергаются гораздо менее тяжкой ответственности и притом сообразно степени своего участия, причем Суд пользуется чрезвычайно обширным правом выбора в лестнице наказаний от высших до низших ступеней. Смысл закона очевиден; опасность заговора и тайного общества совершенно различны.

Сказанного я пока считаю достаточным, так как, приступая к разбору обвинительной речи, мне по необходимости придется несколько раз указывать на несомненное доказательство того, что мы имеем дело не с заговором, а с тайным обществом. Для не юриста это может быть решительно все равно, но для Суда необходима точная квалификация преступления. Очевидно, говорит Helie в другом месте, что государственный интерес в репрессивности преступлений существенно изменяется, смотря по тому, прочна ли власть или расшатана, спокойна ли нация или взволнована. Революционная попытка среди спокойного мирного населения раздастся, как пустой звук, и скорее удивит, чем устрашит, но в государстве едва установившемся, где в умах господствует смущение и колебание, там явление это представляется в высшей степени важным. Итак, интерес общества далеко не одинаков в каждом преступлении в том или другом обществе и должен соразмеряться со степенью тех смут, волнений, беспорядков и опасностей, которые вызывает известное преступление. Отсюда следует, что один и тот же факт может быть рассматриваем или как чрезвычайно важное преступление, заслуживающее самого строгого наказания, или же как действие настолько ничтожное,

что по самому своему ничтожеству, по незначительности того вреда, который оно может произвести, уже вызывает теорию несходства в применении наказания.

Что это последнее не принадлежит только к области одной теории, что оно применяется к практической жизни, что оно не составляет удела одних только теоретических умов, на это возможно представить веское доказательство. По Северо-Германскому Кодексу, принятому 31-го мая 1870 года, за насильственное изменение конституционного союза виновные подвергаются, как за государственную измену, пожизненному заключению в смирительном доме или крепости, а при уменьшающих вину обстоятельствах, не менее 5 лет, с лишением или с ограничением прав; и затем всякое действие, направленное непосредственно к совершению в государстве переворота, указанного в ст. 138-й, представляется такого рода комплотом, который подвергает виновных наказанию, предусмотренному в этой статье. Но затем Северо-Германский Кодекс различает чрезвычайно осторожно самый комплот—заговор, т. е. то, в чем обвиняет г. прокурор в настоящее время подсудимых, от тайного общества, которое они действительно составляли и которое отрицать по делу невозможно. Вот то замечательное законодательство, которого придерживается народ нам близкий, народ нам весьма знакомый и от которого мы можем без ложного стыда очень многому поучиться. Статья 138 Северо-Германского Кодекса, в отделе преступлений против общественного порядка, говорит: „за участие в обществе, коего существование сохраняется в тайне от правительства и в котором участвующие обязаны подчиняться неизвестным начальникам или же безусловно подчиняться известным начальникам, подвергаются: соучастники—заключению в тюрьме до 6 месяцев, основатели же и представители общества—тому же наказанию от месяца до одного года.

Итак, те теоретические воззрения, которые я имел честь изложить перед Палатою, находят себе, таким образом, подкрепление и в практическом мире. Следовательно, я полагаю, что, приступая к рассмотрению обвинения, направленного против подсудимых, можно относиться к этому обвинению без всякого предубеждения. Несомненно, что для нас безусловно обязательны законы, существующие в нашей стране—законы бесконечно более суровые в этом отношени, чем те, о которых я сейчас упомянул,—но тем не менее мы не можем упускать совершенно из виду тех теоретических положений, которые выработаны наукой и европейской мыслью. Между нами и Европой не существует той китайской стены, которая давала бы нашим мыслям совершенно другой оборот и характер. В особенности здесь, где я имею честь об'ясняться перед Судебной Палатой, перед представителями ученых юристов, мне кажется, нельзя упускать из внимания общих теоретических положений, выработанных наукой и практикой просвещенного народа. Следовательно, я имею полное право надеяться, что, с одной стороны, на основании этих соображений, а с другой—принимая во внимание, что то тайное общество, в котором обвиняются настоящие подсудимые, было

обществом, построенным на данных чрезвычайно химерических, что оно представляло таким образом наименее возможную опасность для Государства, г.г. судьи не отнесутся к этому обществу, как если бы они имели дело с правильной, сильной организацией, которая распоряжалась обширными средствами для достижения этой цели, так как цель эта, о которой было так много говорено на судебном следствии, сама по себе предмет отвлеченный и без средств к ее достижению не представляет никакой опасности. Я повторяю, что смею надеяться, что Палата взвесит и сообразит указанные мною теоретические положения уголовного права и ту опасность, которую безусловно представляло настоящее преступление, и если окажется это минимум опасности, возможной в какой бы то ни было стране, то можно смело надеяться, что наказание будет применено в той же мере, которую требует самая строгая справедливость. Прося поэтому Палату относительно снисхождения подсудимому, защита не намерена указывать на такие смягчающие вину обстоятельства, которые в глазах Суда, быть может, не получили бы того значения, которые придают им другие. Защита не будет основываться, например, на том, что побуждениями к совершению политических преступлений в громадном большинстве случаев служат действительно честные увлечения. Увлекаются люди, которые не имеют достаточной опоры в житейской практичности и недостаточно знакомые с законами истории, преувеличивающие мнение о силе отдельной человеческой воли,—все это приводит их к нарушению законов истории и в конце-концов делает их преступниками. Мы не будем говорить о том, что во многих случаях, как например и в данном случае, побуждения некоторых из подсудимых были не только не теми подлыми чувствами, которыми руководствуется убийца, вор или грабитель, но ощущениями, которые, будучи лучше направленными и поставленными в другие условия, были бы названы всеми побуждениями героическими. Эта деятельность была неправильна и привела к прискорбным результатам. Но тем не менее всякий справедливый судья прежде всего всматривается в душу преступника и потом уже обвиняет его в том, что он совершил.

Я полагаю возможным ограничиться теми теоретическими соображениями, которые я имел честь изложить. Я перехожу теперь к рассмотрению той среды, тех условий, среди которых возникло преступление. Среда эта, г.г. судьи, может иметь одно название: эта среда должна быть названа русским мыслящим пролетариатом. Какие бы то ни было отдельные средства подсудимых, они в целой массе действительно принадлежат к числу тех людей, которые, получив образование, сблизясь с плодами науки, познакомясь с европейскими идеями, тем не менее в действительности оказываются едва имеющими возможность существовать, имеют лишь средства на столько, чтобы жить, не имеют никаких твердых установившихся прав и не представляют собой ничего положительного, обеспеченного, вследствие чего легко об'ясняется, что они составляют собою тот материал, в котором всякая новая, зародившаяся идея развивается чрезвычайно легко и наиболее удобно. Мы не можем

сказать с совершенною точностью и определенностью, какие собственно условия среды необходимы для того, чтобы явления революционные, подобные тем, которые мы рассматриваем в настоящее время, являлись зарождающимися и развивались. Эта область той общественной науки, которая в настоящее время не исследована достаточно. История, которая есть в сущности только свод наблюдений, указывает нам действительно в других странах на некоторые причины таких явлений, но с достоверностью выводить из этого закон не дает никакой возможности. История указывает нам, по примеру Франции и Италии, что при существовании широкого развития народной жизни, такие общества и заговоры представляются явлениями более или менее редкими, но как скоро это развитие народной жизни—и вследствие сознания правительства о том, что необходимо положить ему известного рода преграды и придать известные формы и назначить границы, уходит во внутрь страны—уходит со света божия, как бы в недра земли, то производит брожение, которое потом является в форме тайных обществ. Одним словом, примеры иностранных государств указывают нам на то, что реакция возбуждает тайную политическую деятельность, и возбуждает при следующих благоприятных условиях. Для того, чтобы писать статьи в газеты, чтобы произносить речи на трибуне, нужно известное развитие, известное знание; для того, чтобы писать прокламации, чтобы держать речи в тайных и закрытых собраниях, не нужно ни больших познаний, ни большой опытности; напротив, чем менее опытности, тем более энтузиазма, чем менее познаний, тем более веры. Следовательно, люди, которые при других условиях не имели бы большого значения в политической жизни, при этом условии приобретают громадное значение. Выводов из этого защита делать не будет, это принадлежит другим. Но как факт, это деление, конечно, неоспоримо. В России, т. е. в среде, в которой зародилось настоящее преступное движение, оно составляет вещь не новую. С 1861 г.—проходя через различные формы, от студенческих волнений до революционных вспышек и, наконец, до организованных тайных обществ, о которых упомянул г. прокурор—до 1870 г. тянется одна нить, прерываемая то здесь, то там, и это указывает на такое патологическое состояние страны, которое, повидимому, не устранено, не смотря на самые энергичные меры. Повторяю, что выводов из фактов защита делать не будет; ее дело восстановить известные предметы в должном свете, выводы же предоставляется делать тем, которые имеют к этому назначение.

Мыслящий русский пролетариат, представителей которого мы видим здесь на скамье подсудимых настоящей категории, представил нам людей одних и тех же свойств. Все эти люди чрезвычайно молоды, кроме Прыжова. Вам достаточно посмотреть обвинительный акт, чтобы убедиться, что всем обвиняемым от 18 до 26 лет; ни один из них не достиг той обыкновенной степени зрелости, принадлежащей тому возрасту, который бы в других странах давал, быть может, право на участие в политических делах. Этим свойством об'ясняется очень много

хороших и очень много дурных сторон дела. Что касается дурных сторон дела, то, разумеется, не мое дело указывать на них, так как на это есть представитель обвинительной власти, который указал все эти стороны весьма подробно. Что касается хороших сторон, то, мне кажется, что Палата не упустит из виду искренность отношений, любовь друг к другу, привязанность товарищескую, доходившую до того, что многие, по словам г. Успенского, словам весьма характеристическим, многие поступали в общество, т. е. соглашались принять участие в кружке, просто из распущенности. Это то непридавание себе никакой цели, это беззаветное чувство товарищества может быть самым лучшим источником самых благородных радостей человеческой жизни и служит, разумеется, одним из явлений общечеловеческой солидарности—чувство в высшей степени благородное, в высшей степени заслуживающее уважения. В данном случае это чувство могло содействовать распространению некоторых заблуждений. Далее; я уже сказал, что среда, в которой живут эти люди, представляет ту особенность, что вообще эти молодые люди чрезвычайно бедны, что заработок их ничтожен. Один Успенский получал, кажется, до 600 рублей в год; другие же зарабатывали едва столько, сколько нужно, чтобы не умереть с голоду. Но при всех этих условиях бескорыстие юношества доходило до самых симпатическикх проявлений, которым, я уверен, г.г. судьи, ваше сердце не откажет в сочувствии. Вы припомните эти картины, которые передавались вам на Суде; вы припомните этих молодых людей, приходивших пешком за тысячу верст для того, чтобы учиться. Вы не откажете в вашем сочувствии этому, например, Коринфскому, который таскал кули для того, чтобы заработать несколько грошей и на эти гроши учиться в университете. Вы припомните подсудимого Орлова, отдающего последние 10 рублей товарищу для того, чтобы дать ему возможность ехать, зная, что сам он остается ни с чем. Я думаю, г.г. судьи, что эти в высшей степени симпатические проявления благородных чувств не могут доводить вас до того озлобления, не могут привести вас к неуклонному применению железных правил закона, которого требует в данном случае обвинение.

Опасность политических явлений представляется прямо пропорциональной его средствам. Средства политической ассоциации—люди, оружие и деньги. Люди должны быть опытные, уже прошедшие искус политических волнений, умеющие повелевать своими страстями и, следовательно, приобретать авторитет над другими. Здесь же самым старым, самым опытным человеком был Нечаев, которому всего 23 года; остальные были юноши, совершенно незнакомые с жизнью, и между этими революционерами выдается только один, который старше других—это г. Прыжов, который даже не мог разделять этих убеждений и относился скептически к ним; но остальные была молодежь, и уже один возраст подсудимых лучше всякого аргумента говорит, что первый элемент силы отсутствовал, т. е. не было людей, которые могли создать опасную политическую ассоциацию. Второе средство—оружие. Но его даже и не было, никто и

не помышлял запасаться каким-либо оружием. Общество имело отдаленную цель, а именно: предполагало пользоваться теми или другими случаями и поддерживать ассоциацию. Так, оно признавало неудовольствие студентов в полунинской истории за симптом чрезвычайно важный, которым следовало воспользоваться. Очевидно, определенной программы не существовало. Общество, вооружившись против того государства, где организация возникла, и не имело в своем распоряжении никакого оружия, кроме революьвера, которым совершено убийство Иванова. Наконец третье средство—деньги. Я полагаю, что для поддержания ассоциации в стране с 80-ти миллионным населением нужно было несколько более 300 рублей; между тем в обществе в самое цветущее для него время было еле-еле собрано 300 рублей. И вот с этими 300 рублей, с одним револьвером, в обществе молодых людей, из которых почти ни один не достиг зрелых лет, в течение полутора месяца от 8-го октября до 26-го ноября, разыгралась та страшная драма, та ужасная агитация, которая представляется нам каким то пугалом, каким то ужасным страшилищем. Разве можно серьезно смотреть на эти факты и может ли быть в них что-нибудь, кроме одного проявления идеи? Как идея — это симптом весьма важный, как факт—это ничтожество. Что такое представляет нам „Народная расправа“, как ни одну из самых бессильных ассоциаций, когда-либо существовавших? Мне кажется, что это очевидно для всякого. По выражению обвинителя, тайное общество было сильно по духу. Но этот дух кажется был призраком и лучшее средство против него то, которое принято в настоящем случае,—а именно яркий солнечный свет.

Таким образом, все сказанное мной доселе я имею возможность формулировать в следующих тезисах, которые я имею предложить вниманию Судебной Палаты: в русском обществе совершается медленное прогрессивное движение в одном направлении с импульсом правительственных реформ. Такое прогрессивное движение преимущественно выражается в среде учащейся молодежи или так называемого мыслящего пролетариата. Не имея права собираться, открыто помогать своим нуждам, молодежь эта весьма легко вовлекается в тайные ассоциации. Под влиянием внешних стеснений, в этих тайных ассоциациях весьма легко возникают раздражение и озлобление, переходящие границы законности. Таким образом, возникающие политические ассоциации придерживаются по необходимости и в силу закона самосохранения также—понятий нравственности, которые частною нравственностью не могут быть признаваемы; из такого рода понятия политической нравственности, возникающего в тайном обществе под влиянием внешних условий, возникают такие факты, как убийство Иванова. Вот те положения, которые я извлекаю из обстоятельств дела. Что касается юридической ответственности Успенского, то я прошу принять во внимание следующий тезис защиты: 1) в данном случае мы имеем дело не с заговором, а с тайным обществом, с преступлением, предусмотренным не 250 и 318 ст. Уложения о Наказаниях по продолжению 1867 года; 2) что это тайное общество по отсутствию средств и неопределенности цели, представляло собою минимум опасно-

сти, возможной в данном случае; 3) что Успенский, принадлежа к этому обществу, как соучастник по вопросу об убийстве Иванова, представляется пособником не необходимым, что предусмотрено статьею 121 Улож. о Нак.; 4) что в данном случае на основании 134 статьи, пунктов 2, 3 и 6, представляются полные основания к снисходительному отношению к нему Суда, что эти основания Суд может усмотреть также из 154 статьи, видя и зная, что подсудимый Успенский 2 года и 8 месяцев находится под стражей; 5) что прошлая жизнь подсудимого и отзывы о нем—выше всякого упрека.

Заключая мою речь, относящуюся к подсудимому Успенскому, я не могу не остановиться на трех заключительных словах, которые были вчера произнесены представителем обвинительной власти.

Обращаясь к Суду, представитель обвинения выразил мысль, что подсудимые вообще не заслуживают снисхождения, что не нужда, не крайность привела их на скамью подсудимых. Как будто только одна физическая нужда, как будто только одно отсутствие средств к жизни может возбудить в человеке такие ощущения, которые, в самом источнике своем чистые и прекрасные, вследствие известных обстоятельств и под влиянием среды переходят в преступление; как будто бы прокурор в данном случае может отрицать, что у подсудимых была действительная любовь к родине не в смысле географического понятия, но к родине, как к той земле, на которой живет народ нам дорогой и близкий. Для уяснения этого обстоятельства я укажу на то, что это тайное общество возникло в Петровской Академии, практические занятия в которой летом дают возможность студентам сблизиться с народом и видеть его кровные нужды, особенно в голодные 1867 и 1868 гг. Одно это обстоятельство давало уже подсудимым возможность воспитать в себе теплое чувство любви к народу. Отрицать это чувство значит совершенно напрасно прибавлять излишнее пятно ко всем тем обвинениям, которые тяготеют над моим клиентом. Далее прокурор, естественно, отрицает с своей точки зрения попечение о благе и пользе народа и не видит следов этих попечений даже в том, что подсудимые говорят не в отвлеченных выражениях о страданиях народа, но чрезвычайно внимательно присматриваются к тем явлениям, в которых видят признаки этого страдания. Так, в Туле, указано было на безотрадное положение тамошних оружейников, или так называемых казюков, вследствие отдачи в аренду казенных заводов. Факт этот слишком известен, и если г. прокурор и сомневается в действительности этих об'яснений, то, тем не менее, я полагаю всем известно, что действительно несколько десятков тысяч рабочих, по местному названию—казюков, находили работу на казенных заводах, а вследствие отдачи их в аренду генералу Стандермельду остались без труда.

Следовательно, отрицать окончательно отношение подсудимых к нуждам народа представляется в данном случае совершенно излишнею несправедливостью. Представитель обвинительной власти, обращаясь к Судебной Палате, предостерегал ее от увлечений, которые могут, как он

выразился, повести ее весьма далеко, то есть куда же? Указывая на опасный путь снисхождения к подсудимым, представитель обвинительной власти указывал даже Суду его обязанность ограничиться теми мерами смягчения о наказании, которые перечислены в законе, как будто допуская, что существуют другие обстоятельства смягчающие вину. Наконец, он, призывая сам кары уголовных законов на главу подсудимых, видел в этом охранение общественной безопасности. Я с прискорбием слышал это обращение к тем человеческим стремлениям, которые и так слишком легко возникают при рассмотрении подобных дел. Я ни в каком случае не могу согласиться с мыслью, что представитель прокурорского надзора, ведомству которого судья вовсе не подчинен, указывал Суду те меры, которыми он обязан руководствоваться. Без всякого сомнения, та нравственная свобода совести, которая законом предоставляется Суду, делает его совершенно независимым и ставит слишком высоко для того, чтобы он подчинялся внушениям обвинительной власти. Обвинительная власть на Суде представляется такой же стороной, как и мы, и потому те внушения, которые он делал Суду, мы имеем право рассматривать. Я вполне уверен, гг. Судьи, что когда вы будете обсуждать в вашей комнате судьбу тех несчастных, которые привлечены к суду за преступления, в которых так много роковых и честных увлечений, вы вспомните, что вы сами были молоды, что вам приходится волей-неволей вырывать и подкашивать силы русской молодежи, вы не будете расточительно тратить этот живой капитал и не отнесетесь к ним слишком сурово, какие бы они ни были. Они наши русские люди, и нам их жаль. Вы пощадите силы наши и не будете к ним беспощадны, как желал того представитель обвинительной власти.

Защитник Спасович. Изложив план моей защиты, я по необходимости должен начать рассказ мой с человека, которым все дело полно, хотя его здесь нет, с Дмитрия Федоровича, с Кинявского, с Ивана Петровича или Ивана Павлова, с офицера путей сообщения Панина, одним словом, с того Протея, который под сотнею имен вдоль и поперек из'ездил землю, одним словом—с Нечаева.

В обвинительном акте проведена та мысль, что студенческие волнения, которые начались в 1868 и окончившись катастрофой в марте 1869 года, были главным образом произведены лицами, стоявшими вне университета и совершенно ему чуждыми, которые и мутили молодежь. В числе лиц этих упоминается и Нечаев. Хотя Нечаев—лицо весьма недавно здесь бывшее, однако, он походит на сказочное. Его называют сыном священника, но оказывается, что он сын мещанина—живописца; иные дают ему 19, иные 23 года; иные говорят, что он не получил никакого образования, что 16-ти лет едва знал грамоту, и затем в 3 года достиг такого совершенства, что читал по-немецки, по-французски и понимал философские книги. Я знаю только, что Нечаев был учителем в Сергиевском приходском училище в Петербурге и в качестве вольнослушателя посещал университет. Подсудимая Томилова, бывавшая в университете, видела вешалку, на которой висело его платье с надписью его

фамилии. Если он был вольнослушателем, то он должен был бы иметь гимназический аттестат. В университете, все те, которые посещают его, вольнослушатели и студенты, собственно говоря, находятся в одинаковом к университету отношении, они одинаково к университету близки и одинаково пользуются в нем правом гражданства. Как пользовался Нечаев этим правом гражданства—это другое дело. Ему и в то время было, повидимому, присуще то направление, те затеи, которые определили его дальнейшую деятельность. И тогда уже он старался возбуждать студентов, и тогда уже он проговаривался, что наука не нужна, что она мешает смотреть на вещи правильно, что она онанизм мысли в дни практического дела, что надо подталкивать людей, что наше общество состоит из холопов; и тогда уже он собирал подписку на петицию, которая должна была быть подана от имени всей учащейся молодежи, и в которой молодежь должна была протестовать, от лица всех учебных заведений, против условий своего умственного воспитания и развития.

Но как бы ни было определенно тогда уже то направление, которому и потом следовал Нечаев, мне кажется, ему многого еще не доставало. Его мало слушали, на него мало обращали внимания. Когда молодежь собирается на шумную сходку, то все толпятся, кричат, галдят; в этом крике трудно отличиться и заставить себя слушать. Нечаеву нужно было во что бы то ни стало взойти на пьедестал, стать на подмостки, выставить себя выше того, чем он был на самом деле. Он возъимел еще в январе 1869 г. мысль гениальную, он задумал (живой человек) создать самому для себя легенду, сделаться мучеником и прослыть таковым на всю землю русскую. Не знаю, вызывали-ли его за студенческие сходки к ответу к г. Колышкину или нет; может быть и призывали, но во всяком случае он арестован не был. Задумав исчезнуть из Петербурга, он озаботился препроводить к друзьям через Веру Засулич записку о вымышленном своем аресте. В этой записке он притворяется отправленным в крепость и просит друзей посетить и помочь. Явившись в Москву, он разнообразит эту тему более и более живописными вариациями. Его сажали в промерзлый каземат Петербургской крепости; он до того окоченевал в этих стенах, покрытых льдом, что ему ножем разнимали при допросе стиснутые зубы, чтобы впустить несколько капель спирта; он ушел, надев шинель какого-то генерала и очутился в Москве. Из Москвы отправился он в Одессу. Тут новая сказка: его арестуют и везут в кибитке—жандарм и чиновник; но он дал тумака одному и другому и явился опять в Москву.

Наконец Нечаев заправду нырнул и очутился за границей. Поездка эта была крайне необходима; она должна была поставить его в соприкосновение с некоторою частью русской эмиграции, от которой он и надеялся получить, так сказать, рукоположение, заручиться таким авторитетом, пред которым бы беспрекословно преклонять людей, на коих он намеревался действовать.

Г.г. судьи, я должен теперь коснуться предмета весьма тонкого и трудного, которого не следовало бы касаться, если бы его можно было

обойти—я разумею отношения Нечаева к русской эмиграции. Собственно следовало бы и не говорить об эмигрантах, так как их здесь нет, они не могут отвечать и защищаться, но я не могу обойти молчанием этого предмета и должен коснуться его хотя в нескольких словах, так как обвинение представляет вообще все дело организации выросшим целиком на русской почве, без всяких привходящих элементов из-за границы. Здесь оно, будто бы, задумано еще в марте месяце, постепенно осуществлялось и дошло до катастрофы. Мне кажется, что на исключительно русской почве дело это не могло бы сложиться, что для него необходим был привходящий элемент, что много заимствовано Нечаевым самого существенного, того, что помогло ему действовать на русскую молодежь, что он позаимствовал от эмиграции известный образ действий, известные идеи, известную даже организацию.

Об своих отношениях с эмигрантами Нечаев, по приезде своем в Россию во второй раз, рассказывал дивные вещи. Мы слышали от князя Черкесова, что Нечаев попал будто в Бельгию, где, поступив в рабочие, устроил стачку рабочих; затем этими рабочими он отправлен был делегатом в Женеву, где познакомился с Бакуниным, после чего сделался членом так называемого интернационального или международного общества рабочих. Подсудимому Успенскому Нечаев передавал о своем знакомстве с Герценом (умершим 1870 г. 7-го января). Герцен будто бы говорил про него: „что у вас, Сергей Геннадьевич, все резня на уме?“—Николаеву, который гораздо более прост и доверчив, Нечаев сообщил, что столь недоверчиво относился к нему Герцен только сначала, но что затем Нечаев под'ехал к нему поближе, употребив несколько недель на то, чтобы его обработать, достиг того, что Герцен сделался совершенно его сторонником, вполне сочувствующим всему тому, что выражено в „Народной расправе“.

Многое еще передавал Нечаев о Бакунине, Огареве, Герцене, о Герценской книге автографов; наконец он даже показывал стихотворение Огарева, игравшее не малую роль в волнении студентов, под заглавием: „К моему другу Нечаеву“. Нечаев особенно старался распространить эти стихи и даже приискивал к ним музыку, чтобы молодые люди пели их. Конечно, в этих рассказах есть бездна придуманного, лживого. Вообще, можно сказать, если Нечаев выкроен по типу одного из героев романа Гончарова „Обрыв“—Марка Волохова, то, кроме того, в нем еще много хлестаковского. Марк Волохов был правдив, а Нечаев не был правдив и врал немилосердно. Это вранье явилось в нем, по всей вероятности, потому, что в плане его действий была ложь, как средство для достижения известной цели; но известно, что такое средство весьма опасно действует на характер. Оно до такой степени входит в плоть и в кровь лжеца, что сей последний незаметно привыкает употреблять ее потом без всякой нужды, просто из любви к искусству. Я мог бы привести бездну примеров недостоверности или сомнительности рассказов Нечаева об эмиграции. Для доказательства возьму, хотя бы стихотворение „Студент“, тот маленький листок, отпечатанный

на одной стороне, который я просил бы приложить к числу вещественных доказательств. Этот листок носит подпись Н. Огарева. Хотя Огарев и не первостепенный поэт, но стихи эти до такой степени слабы и плохи, что трудно предполагать, чтобы даже и на старости лет они вышли из-под пера Огарева... Вдумаемся в смысл отношений, который они предполагают между Нечаевым и Огаревым. Если бы они были огаревские, то надлежало заключить, что Огарев вступил в заговор с Нечаевым с целью надуть русскую публику без всякой пользы для дела, в личную угоду, в личное одолжение одному только Нечаеву, мало того: даже во вред делу. Если бы Нечаев не имел намерения возвратиться в Россию, то можно бы подумать, что престарелый автор поддался следующим соображениям: „пускай у русского народа прибавится один лишний мученик и вместе с тем прибавится лишний счетец народу с Правительством". Но заметьте, что Нечаев ехал в Петербург и Москву, там его должны были знать, и с первого же разу он не мог не встретить знакомых, а если бы увидели, что Нечаев жив, то этого одного уже достаточно, чтобы обличать во лжи как его, так и Огарева. Мало того; в этой пьесе есть стихи, которые в устах Огарева звучат как самая адская насмешка: „но, весь век не лицемерен, он борьбе остался верен". Не верх-ли это лицемерия выдать себя за мученика, не быв таковым никогда. Наконец, есть одна фраза, которая положительно не могла выйти из-под пера Огарева: „Жизнь он кончил в этом мире . . . ." и т. д. Это совершенно противоречит совсем нерелигиозному, как известно образу мыслей Огарева. Таким образом я думаю, что нет никакого основания полагать, чтобы стихотворение „Студент" было писано Огаревым, чтобы оно вышло из Женевы; оно скорее суздальское изделие, отпечатанное подпольно ручным станком в Москве, в С.-Петербурге—или за-границей, где, по словам Нечаева, готовились кой-какие оттиски.

Я указал на то, как осторожно надо пользоваться данными, исходящими от Нечаева. Но, если Нечаев действительно многое сочинял, то нет никакого сомнения, однако, что он находится в тесной связи с некоторыми выходцами, например с Бакуниным. На Суде была прочитана записка, писанная рукою Бакунина, с № 2.771, в которой рекомендуется агент, долженствующий изображать собою этот нумер русской революции первым. Есть сведения, что в Москве по рукам ходит устав интернационального общества, с собственноручною припискою Бакунина, извлеченною из одной его прокламации. К Бакунину должен был посылаться, по словам Успенского, подсудимый Прыжов, для передачи отчета. Всего важнее, наконец, рассказ Успенского о событии, относящемся к периоду, предшествовавшему приезду Нечаева в Россию, именно к лету 1869 года. Летом 1869 года приезжал из заграницы некто Негрескул (ныне умерший), человек весьма замечательный, находившийся в весьма дурных отношениях с Нечаевым и с которым, вероятно, случилось бы в Петербурге то же самое, что с Ивановым, в Москве, если бы он стал противодействовать планам и намерениям Нечаева. Этот человек, нимало не сочувствовавший Нечаеву и ненавидевший его, рассказывал, что, быв в

Женеве, видел Бакунина и Нечаева вместе, и что Бакунин, трепля Нечаева по плечу, говорил: „вот какие у нас в России люди есть"!

Эти данные не оставляют сомнения, что с некоторыми из эмигрантов Нечаев имел сношения. Вероятно, явившись в Женеву, Нечаев наговорил три короба лжи о том, что делается в России, как революция близка, как она растет по дням, как волнуется вся молодежь и т. д. Подобные рассказы для людей, находящихся в положении эмигрантов, давно оторванных от России, не знающих, что в ней делается, но желающих на нее влиять, точно то же, что манна небесная. Они готовы верить всякой сказке, небылице, мало-мальски совпадающей с их пожеланиями; является человек энергический, смелый, который говорит самым решительным образом,—как же его не одобрить и как же его не благословить, если он говорит, что отправляется на место родины! Но благословить чем—деньгами, нет, не деньгами—по всей вероятности их немного у выходцев и свои деньги они вообще берегут. Притом Нечаев рассказывал, что у него есть связи, есть друзья, есть готовые средства, ставил себя в такое положение, что и просить денег было неловко, разве на то, чтобы добраться до границы. Но отчего же не благословить Нечаева тем, что так нетрудно, что так дешево, что стоит немного дороже молитвы, а именно прокламациями, несколькими брошюрками, несколькими печатными листками. И вот, с этим то легким багажем отправляется Нечаев в Россию. Кроме этих вещей с ним или за ним отправляется печатка с топором, да еще одна книжечка, писанная шифром, которую он берег весьма тщательно, которую он отдал потом на сохранение Успенскому и которой он никому не читал. Это так называемый катехизис революционера.

Да будет мне позволено сказать несколько слов об этой книжке, которая весьма замечательна; она самая характерная из всех имеющихся в деле документов. Некоторые из прокламаций, которые были привезены Нечаевым и доставлены потом по почте, очевидно, были назначены для того, чтобы только запугивать правительство, к таким прокламациям я причисляю без всякого колебания ту потешную прокламацию от Брюссельского революционного комитета, где говорится о том, что русское дворянство с потомком Рюрика во главе должно занять подобающее место на государственной арене, согнав чиновную мелюзгу и немецкую челядь. Очевидно, это воззвание должно быть предназначалось для рассылки его в Россию, только для того, чтобы лица, получившие это воззвание, отсылали его в полицию или в III отделение. Весьма лыбопытно было бы знать то впечатление, какое произведет на г. барона Вольфа, коего детей учил Нечаев, такая прокламация, где говорится об истреблении немецкой челяди. Очевидно, что эта прокламация была на то и назначена, чтобы ее сейчас же передали в полицию. Кроме того, были такие прокламации, которые имели целью действовать на молодежь известным образом, как например „Народная расправа", имеющая весьма эффектное место, где Нечаев сопоставляется с Бакуниным, и его прокламации „К учащимся" дается предпочтение пред бакунинской. Что ка-

сается до катехизиса, то он занимает особое место и выдаваем был за особый знак, отличающий комиссара или агента Международного Общества. Если бы этот катехизис употреблялся только как знак, то непонятно, отчего же брать именно этот знак, а не изобрести другой, например, печатку с изображением на ней вместо одного топора двух топоров, или чего нибудь подобного. Всякому знаку поверили бы люди русские. Если задаться вопросом, почему этот катехизис, столь старательно составленный, никому не читался, то надо притти к заключению, что не читался он потому, что если бы читался, то произвел бы самое гадкое впечатление. Даже молодежь, так не критически относящаяся к делу, не могла не задуматься, когда прочла одиннадцатый параграф, в котором говорится, что каждый член организации рассматривается как капитал, состоящий в распоряжении организации, и если попадется, то организация озаботится его освобождением только тогда, когда на это освобождение не потребуется особенно значительных затрат, в противном случае он предоставляется на произвол судьбы. Такое же впечатление произвел бы и тот параграф, в котором говорится, что надо искоренить в себе чувство дружбы, любви, благодарности и даже чувство мести. Отвратительное впечатление произвело бы то место катехизиса, в котором предписывается втираться во всякие общества, к людям, не делающим собственно никому никакого зла, но виновным только тем, что у них есть связи, положение или деньги; их предписывается опутать, завладеть их тайнами и потом выдать головою правительству. Весьма многие с негодованием отступили бы от дикой идеи, что единственный надежный революционер в России—это лихой разбойничий люд. Наконец, всякого мыслящего человека озадачило бы то, что в конце концов катехизис ни до чего не договаривается и совсем даже отрицает какую бы то ни было цель переворота, какое устройство будет дано обществу—неизвестно, совершенная темень. Сказано, что устройство будет безсословное, безпоповское, безгосударственное, но это признаки чисто отрицательные, за исключением их ничего и не остается. Я полагаю, что гораздо более смысла даже в программе революции, не знаю кому принадлежащей, найденной у г-жи Антоновой, в которой говорится, по крайней мере, что в данный момент с'едутся юристы и економисты революции, которые установят форму правления и устройство России; но в катехизисе ничего подобного нет. Я полагаю, что этот катехизис в своих коренных началах мало отходит от убеждений Нечаева и почти с ними совпадает, т. е., что Нечаев осуществлял на деле, по мере возможности, теории катехизиса.

Но между автором катехизиса и Нечаевым есть и громадная разница, а именно такая, какая существует между революционером дела и революционером мысли. Нечаев был прежде всего революционер дела. Если он и думал то, что написано в катехизисе, то никому бы, однако, не сообщил, что людей нужно надувать, потому что в таком случае кто же бы согласился, чтобы его заведомо надули; никто бы, конечно, при таких условиях и не поступил в организацию. Возясь с этими мыслями,

Нечаев, конечно, поступил бы, как король французский Людовик XI, который говаривал, что если бы шляпа его знала, что у него в голове, то он бы ее бросил в огонь. Между тем, в авторе катехизиса мы видим теоретика, который на досуге, вдали от дела, сочиняет революции, графит бумагу, разделяет людей на разряды по этим графам, одних обрекает на смерть, других полагает ограбить, третьих запугать и т. д. Эта чистейшая отвлеченная теория. Я вижу в содержании этого катехизиса большое сродство, так сказать химическое, с образом мыслей Нечаева. Нечаев многое оттуда позаимствовал. Вспомните, гг. судьи, слова, которые он сказал Кузнецову после убийства: „теперь ты обреченный человек". Это слово „обреченный" повторяется несколько раз в том же смысле в катехизисе. Вспомним то место, в котором говорится о разбойничьем люде, который надо вербовать. Эта мысль беспрерывно вертится на уме у Нечаева, когда он приехал в Москву; с этою целью знакомится он с Прыжовым, с этим добряком, простым как дитя, с этим фантазером, любящим толкаться между народом без всякой определенной цели. Вспомните, что Нечаев пытается создать кружок около Прыжова для вербования публичных женщин, жуликов и тому подобного люда.

Таким образом, я полагаю, что катехизис есть эмиграционное произведение, произведшее на Нечаева известное впечатление и принятое им во многих частях в руководство. Я не смею приписывать его Бакунину; но во всяком случае происхождение его эмиграционное.

С таким легким багажем, как я уже описал, этот человек поехал один в Россию, один, чтобы без денег, без средств совершить государственный переворот. Средств у него не было никаких—он должен был их создать, а создавать их и добывать доводилось ему только обманом и ложью. К этим способам Нечаев и прибегал ежеминутно. Как на пример бесцеремонности, я могу указать на взятие векселя на 6.000 рублей от г. Коловачевского, о чем узнал Скипский в Петербурге, и что он передал Кузнецову. Конечно, в то время, когда Нечаев ехал в Россию, у него не было еще готовых списанных на бланке правил организации, сети для отделения, прокламации от сплотившихся к разрозненным; все эти документы принадлежали к позднейшему времени, когда Нечаев был в Москве. Но, конечно, и тогда, летом 1869 г., в голове его был план организации, который в общих чертах представляется в следующем виде. Организация состояла из кружков. Сами по себе кружки не новость: это обыкновенный, неизбежный прием всякой революции, самая старая, но не выходящая никогда из употребления рутина. Если в древней Ниневии или Египте были какие нибудь тайные общества, то, несомненно, и они прибегали к устройству кружков. Разница могла быть только в мелочах, в числе членов и т. п. Я полагаю, что идею кружков Нечаев не заимствовал ни от каракозовского заговора, ни вообще откуда бы то ни было. Кружки эти явились естественным образом, сами собою. Но важны градации степеней и связь высших из этих степеней с заграницей. Организация должна была быть по идее создателя следующая. Внизу кружки первой степени; когда их образуется много, то заводится центральный

кружок, в который входят представители отдельных кружков первой степени. Затем, когда центральных кружков заведено много, то для целой страны, для целой местности, например для Петербурга, Москвы, учреждается отделение, с особым кружком отделения во главе, из представителей центральных кружков; отделение вмещающее кружки отделений, центральные кружки и кружки первой степени, образует особую единицу и получает особый нумер. Так, для Петербурга была цифра 9, для Москвы 3, для Молдо-Валахии 4 и так далее—одним словом делалось то, что делают издатели газет, которые, чтобы показать, что у них много подписчиков, выдают билеты с 2.000 и т. д. нумерами. Этот фиктивный нумер делается для того, чтобы показать, что много подписчиков. В целом отделении сверху до низу должно было быть проведено одно начало: все основано на личном доверии к тому, кто являлся представителем единицы высшего порядка. Члены организации разных кружков не должны были знать друг друга; в отдельные кружки должны были наезжать часто ревизоры; кружки постоянно должны находиться под впечатлением, что кто-нибудь явится записывать, что они делают и как работают. В таком кружке стоял Нечаев, окруженный товарищами. Этими товарищами он мог руководить своими словами, своим новым полным авторитетом; но этого было ему мало: он привык командовать и не мог терпеть рассуждений. И вот для достижения этой цели, для усиления своей власти, он созидал и ставил за своими плечами целый ряд новых призраков. Он измышляет, что есть особый комитет поблизости, в Москве, с которым он сносится, от которого получает распоряжения. За этим комитетом мистическая сеть, или русский отдел всемирного революционного общества, наконец, само всемирное революционное общество, отождествляемое Нечаевым с международным обществом рабочих. Для русского человека, мало знающего, что делается за границею, весьма легко смешать этот всемирный революционный союз с действительно существующим интернациональным обществом рабочих, имеющим свои определенные цели, свои задачи, но которого какое бы то ни было отношение к настоящему делу не усматривается, в деле нет на то никаких данных. Таковы были основные правила организации, в которых было, между прочим, сказано, что цель организации не убеждать, а готовое только сплачивать, что вступивший в отделение не спорит и не расспрашивает, но дает обязательство, что он будет подчиняться во всем тому, что потребует от него комитет.

Такова была основа организации. Этим основам соответствовали в уме организатора самые блистательные надежды, которые должны заключаться в следующем: общество растет, число отделений увеличивается, вслед за московским образуется петербургский, работа кипит, переносится в губернские города, затем в уездные, пропаганда обхватывает все селения, привлекаются крестьяне, образуются шайки воров и мошенников, наконец финал 19 февраля 1870 г.—это всеобщий кавардак, преставление света, всеобщее движение. Чем более приближалось это 19-е февраля, тем больше отдалялась вероятность достигнуть желаемого

именно 19-го февраля 1870 г.; но для людей, которые на этом пути останавливали Нечаева, он имел различные ответы, что, конечно, 19-е февраля 1870 г., будет только исходным пунктом движения, началом работы, но сама работа продолжится 3—4 года; она будет длиннее, но полезно, чтобы большинство, не относящееся критически к делу, верило, что все 19-м февраля и покончится. Вот его организация, его планы, его намерения. Его путь пролегал с юга, чрез Бессарабскую область, где он был в августе 1869 г. и ехал в Москву. Этот страшный, роковой человек всюду, где он ни останавливался, приносил заразу, смерть, аресты, уничтожение. Есть легенда, изображающая поветрие в виде женщины с кровавым платком. Где она появится, там люди мрут тысячами. Мне кажется, что Нечаев совершенно походит на это сказочное олицетворение мировой язвы. Читались показания студента Енишерлова, который дошел до того, что подозревал, не был ли Нечаев сыщиком. Я далек от этой мысли, но должен сказать, что если бы сыщик с известною целью задался планом как можно более изловить людей, готовых к революции, то он действительно не мог бы искуснее взяться за это дело, чем взялся Нечаев.

Наш век пережил два важные движения: одно, которое привело к великим реформам—к положению 19-го февраля, к новому судебному устройству, к земским учреждениям. Правительство предусмотрело, предупредило и направило это движение; оно провело реформы весьма сильной рукою, причем ему содействовали все ряды прогрессистов, начиная с самых умеренных и кончая самыми крайними. Когда реформы проведены, то бывает одновременно следующее: наступает известный момент остановки, чтобы сжиться с новым, привыкнуть к нему, ввести его в действие. Такая реакция необходима после каждого движения реформастического и революционного. Другое движение, испытанное потом обществом, но не предусмотренное, это движение известное под именем Польского мятежа, которому деланы сначала уступки, а потом живьем его укротили, что вызвало тоже реакцию. Во время этой двойной реакции пришлось пострадать довольно многим, быть оторванным от своих, потерять свое семейство, свое состояние. Было очень много недовольных, и это недовольство нельзя вменять им в вину, так как порядок вещей для них в самом деле был тяжел, если стать на их точку зрения. К таким людям легко было приступить Нечаеву, легко было сказать: вы недовольны—я вас избавлю от этого положения и введу в мир ваших мечтаний, дайте мне руку. С такими людьми он мог быть даже весьма откровенен, мог сообщить, что для пользы дела нужно кое-что измыслить, представить существующим комитет, когда он на самом деле и не существует, и тому подобное. Затем, другой разряд вербуемых—это учащиеся школяры. Тут прием вербовки был уже гораздо труднее; надо было измыслить что-нибудь другое, чтобы подействовать на это юношество, узнать, с какой стороны за него взяться. Я должен сказать, что прием, который употребил Нечаев, делает честь его уму и почти неотразимый при известных условиях воспитания и развития нашего общества. Остановимся на

этих юношах. У молодого человека нашего века, главное, первенствующее чувство, с которым он вступает в мир есть чувство прекрасное, преблагородное, это чувство любви к народу, чувство демократическое, желание итти в этот народ, сжиться с ним. Я сам на своем веку видел детей аристократов, которые надевали крестьянские сермяги и поселялись между крестьянами. У многих чувство это проходит потом, когда придет зрелость, или когда мечтания столкнутся с материальными интересами; но многие также до конца жизни остаются людьми этого закала. Но это неопределенное демократическое чувство должно чем либо выражаться. Способ его выражения в значительной степени зависит от национальности. Возьмем для примера двоих людей, молодого поляка и молодого русского. Поляк любит народ, т. е. свой народ, у этого народа есть богатое прошлое, есть в прошлом многое, от чего и доныне бьется сердце у современников. Это прошлое и возникает перед его глазами в пурпуре и злате, в дивном величии, и он кидается в это национальное прошлое с тем, чтобы осуществить посредством него свои демократические мечтания. Вот каким способом делается он революционером. Другое дело русский юноша. Прошлое его не богато, весьма не богато, что ни говори славянофильство, настоящее сухо, бедно, голо, как степь раскатистая, в которой можно разгуляться, но не на чем остановиться. Та размашистость русской натуры, о которой так много говорят, тот радикализм, который заметен в большинстве русских деятелей происходит именно от неимения прошлого, от отсутствия культуры, от того, что не на что опереться. Радикализм этот есть самая крупная, всего более выдающаяся черта в деятелях русских; почти всякий молодой человек делается радикалом, то есть по необходимости, по естественному ходу идет докапываться до корня вещей, до сути отношений, до самой сокровеннейшей подкладки; он пробивается разлагающим эти отношения умом сквозь государство, сословность, религию, науки, искусство, сквозь все эти оболочки, и останавливается на том, откуда дальше и пути никакого нет—на экономическом основании быта, на противоположностях и борьбе с одной стороны капитала и собственности, с другой стороны — труда. Когда он остановился на этой точке, то здесь встречает целую богатую литературу иностранную о рабочем вопросе на западе и по необходимости делается социалистом. Можно сказать, что почти все мы там были, в этой социалистической стране, и что эти наши путешествия не происходят от какого бы то ни было заговора, например, от Каракозовского, и даже не от того, так называемого, тайного общества, которое называют именем Петрашевского. Мысль русского молодого человека принимает этот склад самым естественным образом и порядком. Русский социализм не заключает сам в себе ничего вредного для государства. Само по себе благородное предприятие составить ассоциацию эксплуатируемых, выстроившихся фалангою, чтобы честным образом и дружными усилиями побороть эксплуататоров на почве законности, чтобы создать земледельческие образцовые фермы, рабочие артели, школы и т. п. Во всех этих благих предприятиях есть, однако, один коренной недостаток—

страшная несоразмерность между богатством ожидаемых в будущем благ с крайнею бедностью непосредственных результатов деятельности при самом усиленном труде. Собралась, положим, артель, состоящая из 5, 6, допустим из 20 человек, из двадцати белоручек, которые взялись по книжке землю пахать, или сыры варить. Конечно, они весь свой век ничего великого, обширного не сделают. С простым народом они не сойдутся. Русский мужичек имеет свою ассоциацию, свою общину, которая ему подчас очень тяжела—известно, что польза крестьянской общины есть еще вопрос спорный. Что касается рабочего фабричного люда, то его у нас мало и нет материала, на который можно было бы действовать с такими идеями, как напр. идеи Шульца-Делича или Лассаля. Кроме предместья Чулкова в Туле есть, может быть, две три местности, в которых бедствуют фабричные рабочие. Таким образом, выходит на практике, что ассоциация представляется толчением воды. Затем, малостью результатов вводится разлад между деятелями, они расходятся. Кто поступает в чиновники, кто в конторы, кто думает о том, как бы переселиться в другие страны, например, в Америку.

Такими идеалистическими социалистами являются если не все, то значительное большинство молодых людей, которые привлечены к делу не только по настоящей группе, но и по всем последующим.

(К истории ареста С. Г. Нечаева).

14 (2) августа 1872 г., после усиленной двухлетней погони, агентам III-го Отделения удалось, наконец задержать С. Г. Нечаева в Цюрихе. Адольф Стемпковский—польский эмигрант, один из немногих цюрихских знакомых Нечаева, назначил последнему свидание в тот день в ресторане, расположенном на окраине города. Здесь, в ресторане, совместно со Стемпковским поджидали Нечаева и переодетые чины швейцарской полиции. Придя в ресторан, Нечаев был тотчас же арестован, скован наручниками и отправлен в местную тюрьму, а немного спустя, и выдан, как „уголовный“ преступник, России.

Печальный эпилог этот, естественно, вызвал справедливое возмущение и негодование среди эмигрантов всех оттенков и направлений, и не только русских, но и среди членов местных швейцарских социалистических и анархических организаций. Шумная агитация, поднятая по этому поводу против республиканского федерального правительства, не привела к цели. С. Г. Нечаев не только не был освобожден, но самая передача его в руки российских жандармов была бесповоротно предрешена заблаговременно. Тайная и всесильная дипломатия победила, и протесты революционеров остались гласом вопиющего в пустыне. Попытка освободить Нечаева по пути из тюрьмы на цюрихский вокзал, предпринятая группой революционеров, равным образом не увенчалась успехом.

Предательское поведение Адольфа Стемпковского, члена, по свидетельству современника, „многих революционных и социалистических кружков, в том числе обоих цюрихских секций Интернационала (местной немецкой и славянской)“, а по уверению другого современника даже секретаря интернациональной марксистской секции [1])—возбудило в свою очередь толки. Предательская роль Стемпковского ясно определилась тотчас же по задержании Нечаева. Возмущение против него достигло таких пределов, что та самая группа, которая пыталась освободить Нечаева, в дороге, решила убить его, но Стемпковский избег такой участи, во время скрывшись.

Большая же часть лиц, заинтересованных в выяснении истинной роли Стемпковского (который проживал в Цюрихе, как польский эмигрант) и удаления его, как предателя, из своей среды, вступила на путь более умеренных действий. Был назначен товарищеский суд, который должен был пред'явить ему публичное обвинение в предательстве, выслушать его об'яснение, допросить свидетелей, в том числе очевидца ареста Нечаева—видного швейцарского социалиста Грейлиха, и, соответственно с достигнутыми об'ективным следствием результатами, вынести приговор. В состав суда входили по два человека от организаций, членом коих Стемпковский состоял.

Стемпковский, как и следовало ожидать, на суд не явился, а переехал в Бари.

Товарищеский суд, несмотря на неявку обвиняемого, приступил к заочному рассмотрению дела и после тщательного следствия вынес свой осуждающий приговор. Приговор этот, опубликованный в свое время в заграничной печати, до сих пор не перепечатан в России, почему и привожу его здесь в переводе из немецкой газеты.

Приговор суда чести.

„По делу Адольфа Стемпковского, живописца вывесок, проживающего здесь (по улице Реннвег, № 21), обвиняемого в том, что он служил русскому правительству в качестве доносчика и шпиона в деле политического эмигранта Нечаева, нижеподписавшиеся, назначенные от различных Союзов и национальностей члены Суда чести,—после того, как они предварительно пригласили обвиняемого Стемпковского, сообщили ему все сведения об организации Суда, и, в особенности, предоставили ему свободу отказаться от половины судей, привести защитника, свидетелей и всякие другие средства защиты, гарантируя ему также полную безопасность его личности, т. е. совершенно свободный пропуск; после того, как в повестке было ясно указано, что, в случае

[1]) „Былое“ 1906 г. кн. VII стр. 145 и 147.

отсутствия обвиняемого, Суд приступит к допросу свидетелей и вынесет свое постановление, в отсутствии обвиняемого, который прибегнул к помощи полиции против Суда, по выслушании десяти свидетелей со стороны обвинения и по прочтении различных письменных документов и после пятичасового совещания, единогласно вынесли следующий приговор:

Да, обвиняемый Адольф Стемпковский признается виновным в том, что действовал, как доносчик и шпион, в деле политического эмигранта Нечаева.

Этот приговор доводится настоящим до всеобщего сведения, Цюрих, 1 сентября 1872 года.

Члены Суда: Яков Франц, Лазарь Гольденберг, Вольдемар Гольштейн, Павел П. Иованович; Павел Ст. Иованович, Бронислав Рихтер, Валериян Смирнов, Петр Степиц, Эмиль Шиманский, Густав Теппер, Георгий Вильгельм Залевский.“ [1])

Арест С. Г. Нечаева в Цюрихе
(по личным воспоминаниям).

В конце лета 1872 года я жил в Цюрихе. Русских тогда там было сравнительно немного, и я, не думая возвращаться в Россию и мечтая переселиться навсегда в Америку, мало с кем из них был знаком, вращался же более среди местных социалистов, группировавшихся около цюрихской секции Интернационала, душою которых был рабочий-переплетчик Герман Грейлих [2]). В то же время в Цюрихе временно проживал и С. Г. Нечаев под вымышленным, теперь не помню каким, болгарским или сербским именем; это было довольно известно, но так как Нечаев жил очень замкнуто, то в лицо его знали очень немногие. Я лично его не знал. Среди немногих знакомых Нечаева был некто поляк Стемпковский.

Стемпковский был эмигрант, бежавший из России после польского восстания 1863 года, во время которого он был у повстанцев, так называемым „жандармом-вешателем“. Он был хороший мастер, помнится, кожевенных изделий и много зарабатывал. По русски Стемпковский говорил совершенно свободно, только с польским акцентом. В Цюрихе он жил сравнительно недавно, был членом многих революционных и социалистических кружков, в том числе обеих цюрихских секций Интернационала (местно-немецкой и славянской). Смутно ходили слухи, что Стемпковский не вполне надежен в смысле политическом, что у него есть связи с русской полицией, но все это приписывалось эмигрант-

---

[1]) Р. М. Кантор. В погоне за Нечаевым стр. 97—99.

[2]) Г. Грейлих, ныне уже глубокий старик, до настоящего времени стоит во главе швейцарских социалистов.

ским сплетням. Оказалось, что сплетни были не безосновательны: именно этого-то человека и выбрали агентом полиции [1]), приехавшие из России для ареста С. Г. Нечаева. Самый арест произошел при следующих обстоятельствах.

В одном из предместий Цюриха, Готтингене, вблизи квартиры упомянутого выше Грейлиха, был небольшой дешевый ресторанчик с садом. Однажды днем в этом ресторанчике Грейлих назначил своему приятелю и товарищу по Интернационалу, учителю Рэми (старику — немецкому эмигранту 1848 года), свидание. По приходе в ресторан они застали в нем Стемпковского в компании трех лиц, из которых один был одетый в штатское платье местный полицейский комиссар (вроде нашего частного пристава), остальные двое, очевидно, были иностранцы—поляки или русские,—так как Стемпковский говорил с ними по польски или по русски, но как именно—Грейлих и Рэми, не зная ни одного из этих языков, определить не могли. Компания ничего подозрительного не внушала, ибо полицейские чины во внеслужебное время в Швейцарии, обыкновенно ходят в штатском платье, иностранцев-же в Цюрихе было много, так что подобные встречи могли носить чисто случайный характер, тем более что Стемпковский, поздоровавшись с вошедшими Грейлихом и Рэми, сел за отдельный столик; одно удивило последних, что застали Стемпковского в ресторане днем в рабочее время, и как им показалось навеселе, чего за ним раньше не замечалось. Грейлих и Рэми, которым необходимо было между собою о чем-то переговорить, заняли тоже отдельный столик. Вскоре в ресторан вошел молодой человек, прямо подсел к Стемпковскому и заговорил с ним, как с хорошо знакомым. В это время переодетый полицейский вышел в дверь, выходящую на улицу, а двое иностранцев—в другую—в сад. Стемпковский с молодым человеком вскоре тоже вышли в сад, откуда затем послышался какой-то необычный шум; на последний вышли в сад и Грейлих с Рэми, где увидели, как молодого человека, бывшего вместе с Стемпковским, уже скованного в наручники, полицейские выводят из сада в сопровождении обоих иностранцев; Стемпковский-же куда-то исчез. Молодой человек (то был С. Г. Нечаев), увидев Грейлиха и Рэми, которых он, очевидно, знал в лицо, громко крикнул на ломанном немецком языке: „Скажите русским, что №№ (фамилия, под которой С. Г. Нечаев жил в Цюрихе) арестован". Не помню, что предпринял Рэми, но Грейлих сейчас же пришел ко мне и рассказал обо всем случившемся. Я немедленно пошел к кому-то из русских (кажется к В. Н. Смирнову) [2]); оказалось, там уже знали о случившемся, так как случайно встретили С. Г. Нечаева на улице, когда его скованного вели в тюрьму.

---

1) Кто были агенты русской полиции, приезжавшие в Цюрих с целью добиться от швейцарских властей ареста и выдачи С. Г. Нечаева, я не знаю; впоследствии в России я слыхал, что это был жандармский офицер Ремер, по другим сведениям—некто Николич, серб по происхождению, перешедший на службу в русскую жандармерию.

2) В. Н. Смирнов—один из видных русских эмигрантов того времени, впоследствии главный сотрудник П. Л. Лаврова по редакции „Вперед".

Арест С. Г. Нечаева взволновал весь Цюрих; поведение же в этом деле Стемпковского особенно поразило рабочих и колонию эмигрантов. Решено было произвести расследование; над Стемпковским был назначен товарищеский суд, в состав которого вошли представители тех обществ, членом которых Стемпковский состоял, по два человека от каждого; я попал в число судей по выбору местной секции Интернационала. Самого Стемпковского тоже пригласили на суд, предоставляя ему возможность оправдаться, если бы все оказалось делом случайности, при этом письменно было заявлено, что личность его останется неприкосновенною. Вместо того, чтобы явиться на суд товарищей, Стемпковский обратился к полиции с просьбой защиты, так как он не был убежден, что его не убьют. Суд собрался в составе 10—12 человек (из числа их помимо одного вышеупомянутого В. Н. Смирнова, от колонии русских эмигрантов); на нем был выслушан ряд свидетелей, среди которых кроме Грейлиха и Рэми, очевидцев ареста, главная роль выпала русскому эмигранту Турскому, жившему с С. Г. Нечаевым на одной квартире и хорошо его знавшему. По показанию Турского, С. Г. Нечаев сильно нуждался в средствах, Стемпковский вызвался что-то для него устроить и в день ареста назначил ему свидание в кабачке, так что Турский знал, куда идет С. Г. Остальное произошло так, как я рассказал выше. Суд об'явил Стемпковского шпионом и постановил исключить его из всех обществ, членом которых он состоял. Это решение суда было опубликовано в местном органе Интернационала и в одной весьма распространенной в Цюрихе и его окрестностях демократической газете.

Стемпковский после этого нигде более не показывался и вскоре совершенно исчез из Цюриха.

С. Г. Нечаев был арестован, как убийца студента Иванова; соглашалось же швейцарское правительство выдать его России по удостоверении, что убийство это не носило политического характера, и при условии, чтобы судили его в России только как простого убийцу, не касаясь политической, антиправительственной его деятельности. Агитация против выдачи, поднятая местной печатью и путем ряда собраний, не оказала помощи арестованному; решение же самого вопроса, согласно местным законам, подлежало правительственному совету Цюрихского кантона и только санкционировалось федеральным правительством республики. Из 7 членов Цюрихского кантонального совета, четверо подали голос за выдачу, в числе последних вотировал и некто Пфенингер—директор полиции. В Цюрихе ходили слухи, что этот швейцарский сановник был подкуплен русским правительством, и что только благодаря этому обстоятельству составилось и самое большинство в совете. Многие отрицали возможность подобного факта, и, считая Пфенингера неправым в этом частном случае, признавали его за человека честного и неспособного к подкупу. Подобное мнение мне, между прочим, пришлось слышать от некоего Форрера, тоже члена правительственного совета в Цюрихе, занимавшего в то время пост, соответствующий нашему министру юстиции. Сам Форрер подал голос против выдачи С. Г. Нечаева России, о

чем не раз заявлял публично в собраниях и в печати. Получил ли что либо Пфенингер от русского правительства или способствовал выдаче Нечаева по внутреннему убеждению, конечно, судить трудно; одно следует отметить, что впоследствии он оказался человеком, далеко не безупречным в нравственном отношении, и через несколько лет после описанного события в том же Цюрихе попался в какой то мошеннической проделке, был предан суду, но от последнего уклонился, бежавши в Америку, где окончательно и скрылся из виду.

Что же касается самого С. Г. Нечаева, то он, по окончании следствия, в октябре (ноябре) 1872 года был выдан русским властям. Слабая попытка нескольких молодых людей (русских, сербов и кажется поляков) насильственно освободить его во время перевозки из тюрьмы на вокзал железной дороги в самом Цюрихе, не увенчалась успехом, и он был увезен в Россию.[1])

Дело Нечаева.

1873 год.
Правительственный вестник.
(12 января № 10).

Заседание Московского Окружного суда, 8-го января 1873 г., по делу о мещанине города Шуи, носящем звание приходского учителя, Сергее Геннадиевиче Нечаеве, обвиняемом в убийстве.

Председательствовал председатель П. А. Дейер, при членах П. Д. Орлове и Б. В. Завьялове, при прокуроре К. Н. Жукове и секретаре Баумштейне; защитника подсудимый иметь не пожелал. Подсудимый введен в залу заседания в 12 часов 40 минут.

Председатель, Подсудимый, Вас зовут Сергей Геннадиев Нечаев?

Подсудимый. Прежде чем отвечать на ваш вопрос, я прошу . . .

Председатель. (останавливая подсудимого). Вы Сергей Геннадиев Нечаев?

Подсудимый. Прежде чем отвечать на ваш вопрос, я имею честь заявить, что права суда надо мною за русским судом не признаю, подсудимым себя не считаю. Если суду угодно знать причины, почему не считаю, то я сочту своим долгом об'яснить эти причины.

Председатель. Подождите об'яснять. Вы преданы Московскою Судебною Палатою, суду Московского Окружного Суда. Окружный Суд, на основании 549 ст. Уст. Угол. Судопроизводства, не имеет права входить в рассмотрение вопроса о подсудности этого дела и обязан исполнить Указ Московской Судебной Палаты. Если же вы считаете распоря-

---

[1]) Былое № 7 июль 1906 г. стр. 147—150.

жение Судебной Палаты о предании вас суду Окружного Суда неправильным, то можете обжаловать это распоряжение в кассационной жалобе Сенату. Затем я считаю этот вопрос решенным и предлагаю вам к нему не возвращаться.

Подсудимый. (сильно возвысив голос). Господин председатель, я эмигрант, подданным русского императора быть перестал, формальности вашего судопроизводства не имеют для меня никакого значения (подсудимого по приказанию председателя выводят; в это время он еще громче продолжает), я признавал бы позорным для себя допустить судить мое поведени... (на этом слове дверь за подсудимым была затворена). В публике происходит сильное волнение и общий крик: Вон его, Вон! вон!

Председатель (звонит). Никаких заявлений в суде не допускается—ни за, ни против подсудимого. Не у публики спрашивают суда! Если повторится подобное заявление, то я принужден буду удалить публику (в публике быстро волнение утихает. Председатель обращается к прокурору) Г. прокурор, считаете ли вы сомнительным обстоятельство, что человек, представший здесь на Суде есть именно тот Нечаев, который предан суду? Он на предложенный мною вопрос о его личности отказался дать ответ.

Прокурор. Я имею честь заявить, что суд может удостовериться в личности Нечаева теми протоколами, находящимися на листах 192 и 193, которые подписаны им самим, при чем он признал себя Сергеем Геннадиевым Нечаевым, тем самым подсудимым, который предан теперь суду.

Суд, принимая во внимание, что на основании 638 ст. Уст. Угол. Суд. судебное заседание открывается предложением подсудимому вопросов, касающихся его личности; что в данном случае, хотя подсудимый на эти вопросы не отвечал, но не отрицая своей личности, высказывал только убеждение о неподсудности настоящего дела Московскому Окружному Суду, и тем самым как бы подтверждает, что он тот самый Нечаев, о котором идет речь; что кроме того в протоколах предварительного следствия имеется достаточное удостоверение в его личности—признал возможным приступить к рассмотрению дела без формального удостоверения в том, что подсудимый, действительно Нечаев.

. . . .

Затем по распоряжению председателя ввели подсудимого.

Председатель (обращаясь к посудимому). Желаете ли вы воспользоваться правом отвода присяжных заседателей?

Подсудимый. Позвольте об'явить, г. председатель...

Председатель. Желаете ли Вы воспользоваться правом отвода?

Подсудимый (возвышенным голосом). Все формальности русского судопроизводства не имеют для меня никакого значения...

Подсудимого выводят, в дверях он кричит: „Рабом вашего деспота я быть перестал. Да здравствует земский собор"!

Прокурор просил занести последние слова подсудимого в протокол.

В состав присутствия присяжных заседателей вошли: 5 купцов, 2 чиновника, 1 цеховой, 1 почетный гражданин и 1 крестьянин.

По приводе присяжных заседателей к присяге, председатель обратился к ним с следующими словами:

„Г.г. присяжныс заседатели! Вы вероятно еще находитесь под тяжелым впечатлением того, что, к счастью еще в первый раз случилось на Суде. Еще ни разу безумец не дозволил себе на Суде высказывать то, что высказал этот человек. Но, г.г. присяжные заседатели, для соблюдения достоинства Суда нужно, чтобы Суд был спокоен. Нельзя произносить приговора о виновности человека под впечатлениями, подобными настоящему. Поэтому, так как вам предстоит постановить сознательный приговор, то я приглашаю вас выслушать со всем вниманием все то, что будет происходить на суде, и тогда только вы в состоянии будете сказать, что произнесли приговор справедливый. Отрешитесь насколько возможно от этого тяжелого впечатления, будьте совершенно спокойны и на все выходки подсудимого, которые могут быть еще впоследствии, отвечайте совершенным презрением, как будто бы их и не было. Так как вам приходится постановить приговор сознательный, то я еще раз повторяю, что вы должны с большим вниманием отнестись ко всему тому, что будет происходить на Суде, чтобы даже этот человек не мог сказать, что в России существует Суд, который судит не по обстоятельствам дела, а по впечатлению, на него произведенному. Закон дает вам полную возможность усвоить себе хорошо дело. Вы имеете право осматривать следы преступления, поличное, вещественные доказательства и предлагать через председателя Суда вопросы подсудимому и свидетелям. Подсудимый вероятно не будет отвечать на предложенные ему вопросы, но затем у вас остается еще широкое поле усвоить себе вполне дело через расспросы явившегося свидетеля и через внимательное выслушание тех показаний отсутствующих свидетелей, которые будут прочитаны пред вами. Если что нибудь в этих показаниях покажется вам неясным, то вы имеете право просить о вторичном прочтении их и о раз'яснении всего того, что в этих показаниях представится вам не совсем ясным.

Далее председатель об'яснил вообще все права и обязанности присяжных заседателей.

Затем прочитан обвинительный акт следующего содержания:

26-го ноября 1869 года, сельский староста деревни Петровских Выселок заявил приставу 21-го стана Московского уезда, что им вместе с другими крестьянами в верхней части пруда, принадлежащего Петровской Земледельческой Академии, усмотрен труп какого-то человека. По осмотрам, произведенным как приставом, так и судебным следователем, оказалось, что труп лежит под льдом в воде пруда, отстоящего от академических зда-

ний в трех четвертях версты. В 20 шагах от пруда находится полуразрушенный грот. По направлению от пруда к гроту найден кирпич с следами цемента, который был употреблен при постройке грота. Кирпич обвязан бичевкой и на нем видны следы крови. Далее по тому же направлению замечено несколько листьев со следами крови, башлык, обшитый темнокрасной тесьмой, на нем в четырех местах пятна крови, а несколько далее круглая черная барашковая шапка. Верх этой шапки весь окровавлен и к нему пристали древесные листья. У наружной стены грота найден другой кирпич, также обвязанный бичевкой, с значительным количеством кровяных пятен. На наружной стене грота замечено кровяное пятно и такие же пятна оказались на некоторых местах, покрывающих пол грота. Пятна эти находились только у входа в грот и на пространстве от входа до начала темного корридора, ведущего к противоположному выходу из грота. По осмотре того места, где лежал труп, оказалось, что лед над тем местом был уже проломан и снова замерз. Труп лежал в воде ногами к берегу. Труп одет был в обыкновенное платье, на ногах сапоги и калоши. Ноги трупа скрещены, выше щиколотки связаны бичевкой, к концу которой привязан кирпич, а несколько выше—башлыком, принадлежащим слушателю Петровской Академии Мухортову; такой же кирпич привязан к шарфу, затянутому на шее трупа. В левом кармане жилета найдены серебряные часы, а в правом—монета в 15 копеек, а в кармане брюк несколько счетов и билет из книжного магазина Черкесова на имя слушателя Петровской Академии Кузнецова. Часы остановились на 20-ти минутах шестого часа. На платье, в котором одет труп, видны пятна крови, а именно: на правом борте и рукаве сюртука и на вороте сорочки. Труп этот признан был слушателями Петровской Академии за труп сотоварища их, слушателя Петровской Академии, Ивана Иванова. Во время производства осмотра крестьянин Петр Кулачин представил черное, драповое пальто, найденное им случайно около стогов на лугу № 2. Пальто это оказалось принадлежащим покойному Иванову, и актом осмотра удостоверен, что оно было сильно испачкано кровью.

Медицинским осмотром трупа обнаружены следующие повреждения: во внутреннем углу левого глаза рана с запекшеюся кровью; такая же рана на затылке, глазные яблоки налиты кровью, полость носа наполнена запекшейся кровью, кончик языка ущемлен между зубами, вокруг шеи и наружной ее части внизу виден темно-багрового цвета круг с оттиском клетчатых полосок и на ощупь пергаментной твердости; ниже и выше этого круга заметна вздутость; детородный член напряжен и выделяет небольшое количество слизи. По вскрытии трупа оказалось, что две вышеописанные раны на затылке и в углу левого глаза произошли от выстрела пулей в голову и составляют одну сквозную рану: пуля вошла в затылок и вышла через глаз. По заключению, как врача, так и Медицинской конторы, смерть Иванова последовала от чрезмерного переполнения кровью легких, вследствие задушения при современной тому смертельной ране головы. При чем врач, производивший осмотр,

дополнил, что рана произведена огнестрельным оружием, пулею на вылет, и что Иванов лишен жизни часа через два или менее после принятия им пищи.

Произведенным судебным следователем по сему делу следствием обнаружены следующие данные: по показанию слушателя Петровской Академии Дмитрия Федорова Мухортова, жившего вместе с Ивановым, этот последний утром 20-го ноября уехал из Академии в Москву с бывшим слушателем той же Академии Алексеем Кузнецовым, и более домой не возвращался. Уезжая, Иванов, не найдя своего башлыка, взял башлык Мухортова. Этим самым башлыком и связаны ноги у трупа Иванова. То же самое показал слушатель Петровской Академии Василий Эрастов, дополнив, что на другой или на третий день от'езда Иванова в Москву приезжал какой то неизвестный ему господин, назвавшийся Петровым, спрашивал Иванова, входил в его комнату и, не дождавшись возвращения Иванова, уехал обратно в Москву.

Затем 21-го ноября в Москве видели Иванова в кухмистерской Молчанова, слушатель Петровской Академии Лау, бывший студент Московского Университета Кизо и студент того же университета Дроздов. Иванов, согласно показанию этих лиц, обедал в кухмистерской между 2 или 3 часами пополудни. После обеда Иванов вместе с Кизо, Дроздовым и Лау отправился на квартиру Лау пить послеобеденный чай. В то время, когда они пили чай, в квартиру Лау пришел какой-то неизвестный человек и вызвал Иванова. Иванов, сказав, что идет на урок, ушел с неизвестным человеком. Почти вслед за Ивановым ушли из дому Кизо и Дроздов. На Страстном бульваре они снова встретили Иванова с его спутником, и Иванов, спросив у них, где Большая Дмитровка, пошел с тем же неизвестным человеком по указанному ими направлению. По пред'явлении Мухортову, Эрастову, Кизо и Лау шапки, найденной на месте преступления, они об'яснили, что шапка эта Иванову не принадлежит. Башлык, найденный у грота на месте преступления, оказался принадлежащим слушателю Петровской Академии Иннокентию Климину. который показал, что башлык этот в конце октября или начале ноября месяца был отдан им слушателю Петровской Академии Алексею Кириллову Кузнецову.

Спрошенный, в силу таковых обстоятельств, в качестве обвиняемого, слушатель Петровской Академии Алексей Кириллов Кузнецов, сознаваясь в убийстве Иванова, показал следующее: убийство слушателя Иванова совершено 21-го ноября около 5 или 6 часов. В совершении убийства участвовали пять человек: Сергей Нечаев, известный Кузнецову под именем Ивана Петровича, мещанин Николай Николаев, бывший студент Петр Успенский, губернский секретарь Иван Прыжов и он, Кузнецов. Умысел совершить убийство явился у Нечаева и Успенского, затем принять участие заставили и Кузнецова. Нечаев предлагал сначала задушить или отравить Иванова, но затем решили завлечь Ианова под вымышленным предлогом в место за академическим прудом в грот и там убить. Предлогом заманить его в грот служило отыскание скрытых будто

бы в гроте типографских станков. Для этой цели 21-го ноября Николаев ходил на квартиру Иванова часу в 1-м или во 2-м дня, но не застал Иванова дома. Несколько позже Нечаев послал Николаева к студенту Лау, где думал застать Иванова, а Кузнецов был послан стеречь, когда Николаев и Иванов выйдут на улицу и затем предупредить о том остальных соучастников. Когда Кузнецов увидал, что Николаев и Иванов вышли из квартиры Лау на улицу, то он вернулся к себе на квартиру. Оттуда Кузнецов с Нечаевым и Успенским на легковом извозчике поехали в Петровскую Академию, оставив Прыжова на квартире задержать несколько Иванова и дать первым трем доехать до грота. Приехав к гроту, Нечаев стал пробивать лед в пруду, а Успенский навязывать на веревки кирпичи; Кузнецов же пошел навстречу Иванову. Когда Николаев, Прыжов и Иванов пришли к гроту, то Иванов вошел в грот. Нечаев громко закричал „кто тут“? и бросился на Иванова. Произошла свалка. Как происходила борьба—Кузнецов хорошо не помнит. Нечаев кричал на них, но вдруг раздался выстрел из револьвера и Иванов был убит. Кузнецов утверждает, что они все были ошеломлены. Нечаев снова стал их бранить и начал снимать с убитого Иванова пальто, осматривать его карманы, при чем взял сигары, записную книжку, портмоне и несколько серебрянных и медных денег. Все это он передал отчасти Кузнецову, Николаеву и Прыжову. После этого они стащили труп в пруд. Нечаев ушел с Успенским, взяв с собою пальто Иванова, а Кузнецов ушел к себе домой. Когда все участники преступления собрались в квартире Кузнецова, то они все мылись и уничтожили следы преступления. Револьвер, из которого был сделан выстрел Нечаевым в Иванова, принадлежал Николаеву. Книжка, портмоне и шапка Иванова, которую по ошибке захватил с места преступления Нечаев, забыв там свою, были сожжены в печке. Когда все приводили себя в порядок, Кузнецов видел, что у Нечаева руки были в больших ранах. Нечаев, неизвестно Кузнецову по какой причине, выстрелил после убийства в квартире Кузнецова из того же револьвера, и пуля оставила след на обоях его комнаты.

Кроме Кузнецова в совершении того же преступлении сознались Успенский, Николаев и Прыжов. Показания их, будучи вполне согласны с показанием Кузнецова, раз'ясняют еще более обстоятельства, сопровождавшие убийство Иванова.

Так, Успенский дополнил, что мысль убить Иванова принадлежала Нечаеву. Совещания о том, каким образом совершить убийство, происходили целую неделю. 21-го ноября утром Николаев был послан в Академию за Ивановым, но не застал его дома. Затем Иванов был заманен в грот, тем способом, как о том говорит Кузнецов. Когда Иванов вошел в грот, то начался шум и Успенский слышал, как Николаев кричал: „Не меня, не меня!“ Оказалось, что Нечаев в темноте стал душить Николаева, приняв его за Иванова. Иванов в это время бросился к выходу, но его снова повалили и Николаев с Нечаевым стали его душить. Затем раздался выстрел, и Иванов был убит. Нечаев говорил Успенскому, что он выстрелил Иванову в голову из револьвера Ни-

колаева. После убийства к трупу были привязаны камни, а самый труп опущен в пруд. На месте преступления остались шапка и башлык, бывшие на Нечаеве. Во время борьбы в гроте Иванов искусал Нечаеву руки,—это и было причиной тому, что когда Нечаев, вернувшись в квартиру Кузнецова, стал показывать Успенскому устройство револьвера, то не мог удержать курка и револьвер выстрелил. После убийства Иванова, Нечаев взял с собою пальто Иванова, не желая, чтобы оно даром пропадало. Дорогой Успенский заметил Нечаеву, что напрасно они взяли пальто, так как оно в крови; тогда Нечаев отнес пальто в сторону от дороги и бросил его у стогов с сеном.

Точно так же об'яснил совершение убийства и мещанин Николаев, добавив, что по приходе Иванова в грот первым кинулся на него Николаев, схватив его сзади за руки. Вслед за ним бросился и Нечаев, но в темноте стал душить не Иванова, а его, Николаева. Воспользовавшись этим, Иванов побежал к выходу из грота, но был сбит с ног Кузнецовым. Тогда Нечаев сел на грудь Иванова и стал душить Иванова. Иванов кричал сначала:“ За что меня бьете? что я вам сделал?“, затем только стонал. Нечаев, ругаясь за то, что ему никто не помогает, потребовал револьвер, и когда его Николаев подал, выстрелил Иванову в голову.

Вышеизложенные показания подтверждены также и обвиняемым Прыжовым. Таким образом, все обвиняемые согласно утверждают, что убийство Иванова совершено по мысли Нечаева и по предварительному на то уговору; причем Прыжов побудительную причину об'ясняет так: Нечаев, которого Прыжов знал под именем Павлова, чувствовал к Иванову личную ненависть. Иванов не желал подчиняться железному характеру Нечаева и ему постоянно противоречил. Нечаев сам говорил Прыжову, о том, и. Прыжов уговаривал Иванова подчиниться Нечаеву.

Затем обвиняемые Кузнецов, Прыжов и Николаев об'ясняют свое участие в этом преступлении тем, что их отказ неминуемо повлек бы за собою месть со стороны Нечаева, и они боялись сами быть убитыми.

Справедливость вышеизложенных показаний обвиняемых, кроме взаимного их между собою согласия, доказывается и тем, что они вполне согласны с обстоятельствами дела. Так, время убийства, по показанию обвиняемых, совпадает с тем часом, на котором остановились часы, бывшие на Иванове. Место убийства и способ его совершения, как расказали обвиняемые, вполне соответствуют актам осмотров местности и трупа.

После того судебный следователь пригласил обвиняемых: Успенского, Кузнецова и Прыжова на место совершения преступления, и они, отдельно друг от друга, совершенно согласно с актом осмотра указали, где происходило убийство. Показания обвиняемых о выстреле, сделанном Нечаевым в квартире Кузнецова после убийства Иванова, подтвердились при осмотре квартиры Кузнецова, на одной из стен которой обнаружен след пули. Приезд Николаева 21-го числа за Ивановым в Академию удостоверен показанием Эрастова, при чем Эрастов при-

знал в Николаеве именно то лицо, которое приезжало за Ивановым. По осмотре правой руки Нечаева, на ней оказались рубцы, происшедшие, по заключению врачей, от заживших ран; раны же эти могли быть нанесены укушением. Произведенным во Врачебном Отделении С.-Пет. Губ. Правления микроскопическим исследованием пятен на кирпичах, веревках, башлыке, шапке и пальто, оказалось, что пятна эти произошли от засохшей крови млекопитающегося.

Обвиняемый Сергей Геннадиев Нечаев, происходя из мещан города Шуи, по выдержании надлежащего экзамена, удостоен был в 1866 г. звания учителя приходского училища и до 30-го января 1869 г. занимал должность учителя в С. Петербургских приходских училищах, но в то время бежал за границу. Точно так же скрылся Нечаев и после убийства Иванова, но в октябре месяце прошлого года выдан Швейцарским Правительством, как лицо, обвиняемое в тяжком уголовном преступлении. Спрошенный по обстоятельствам настоящего дела, обвиняемый Нечаев заявил, что он не желает давать никаких показаний и не отвечал ни на один из предложенных ему вопросов.

На основании всего вышеизложенного, носящий звание приходского учителя, бывший мещанин города Шуи Сергей Геннадиев Нечаев, 25 лет, обвиняется в преступном деянии, предусмотренном ст. 1453 п. 3 Улож. о Наказ., почему и подлежит, согласно ст. 201 Уст. Угол. Судопр., суду Московского Окружного Суда с участием присяжных заседателей.

По прочтении акта подсудимый вновь был введен в залу заседания.

Председатель (обращаясь к подсудимому). Вас обвиняют в том, что вы 21-го ноября 1869 г. по предварительному уговору с другими четырьмя лицами, сосланными уже за это преступление в каторжные работы, из личной ненависти убили в гроте Петровской Академии слушателя этой Академии Иванова. Признаете ли вы себя виновным?

Подсуд. (тем же возвышенным голосом, как и прежде.) Убиение Иванова есть факт чисто политического характера; оно составляет часть дела о заговоре, которое разбиралось в Петербурге... (подсудимого по распоряжению председателя уводят.)

. . . .

После этого были прочитаны: 1) Судебно-медицинский осмотр трупа Ивана Иванова. (Следует подробное описание) 2) Заключение Медицинской конторы о причине смерти Иванова. Медицинская контора, рассмотрев судебно-врачебный осмотр трупа слушателя Петровской Академии Ивана Иванова, нашла, что смерть Иванова последовала от чрезмерного переполнения кровью легких, вследствие задушения при современной тому смертельной ране головы.

Затем были введены в залу заседания свидетель Мухортов и подсудимый Нечаев. На обычные вопросы председателя Мухортов об'яснил, что он студент Петровской Академии, подсудимого Нечаева не знает и никогда не видал. Прокурор заявил, что причин к отводу Мухортова от присяги не имеет. Пред. (обращаясь к

подсудимому). Студент Петровской Академии Мухортов вызван в качестве свидетеля по настоящему делу; допускаете ли вы его к присяге?

Подсуд. (более спокойно, чем прежде). Я имел честь об'явить, что за русским судом права судить меня не признаю.

Пред. Садитесь.

Подсудимый садится, обернувшись лицом к публике.

По принятии присяги, свидетель Мухортов дал следующее показание: Я знал Иванова и переехал к нему на квартиру за несколько дней до его убийства. Я прожил с ним вместе дня два, а на третий, если не ошибаюсь, день приехал к нам довольно рано, когда мы пили чай, Кузнецов и позвал Иванова в Москву по очень спешному делу. Иванов оделся и, не найдя своего башлыка, взял мой и уехал в Москву, обещаясь возвратиться в половине первого часа ночи. Но прошло 3—4 дня, а его все не было. На это обстоятельство я не обращал никакого внимания, потому что часто случается, что уедешь в Москву на день, а пробудешь неделю. Наконец, заметили какое-то тело под льдом в пруде Петровской Академии в самой отдаленной части парка. Дали знать становому, который в присутствии понятых приступил к вырубке тела. Когда его вырубили, то я узнал в нем труп Иванова, а в башлыке, которым были связаны ноги Иванова, узнал свой башлык. Больше мне об убийстве ничего не известно.

Предс. В отсутствии Иванова к нему не приезжал ли кто нибудь?

Свидет. Нет.

Предс. Подсудимый не желает предлагать вопросы свидетелю?

Подсуд. (сидя и обернувшись к публике). Я подсудимым себя не считаю!

Предс. В отсутствии подсудимого были прочитаны акт осмотра местности, где найден труп Иванова, врачебный осмотр этого трупа и заключение Медицинской конторы о причине смерти Иванова. Подсудимый, если желает, может представить об'яснения по поводу этих документов.

Подсуд. Я имел честь об'ясиить, что подсудимым себя не считаю.

. . . Затем, по распоряжению председателя и по заявлению прокурора, против которых подсудимый не возражал, прочитаны: 1) Показание почетного гражданина Василия Васильева Эрастова, данное 28-го ноября 1869 года: „Слушателя Иванова я хотя и давно знал, но в хороших отношениях с ним был с сентября месяца настоящего года; жил я с ним в разных квартирах, но по соседству. 20 ноября утром, часов в 10, Иванов вместе с другим слушателем Академии, Алексеем Кузнецовым, отправился в Москву, но когда я спросил Иванова, куда он едет, то Иванов сказал, что в почтамт, но зачем—не сказал, и с тех пор не возвращался; а в отсутствии Иванова, на дургой или третий день, приехал в пролетке на извозчике неизвестный мне человек, и войдя ко мне в квартиру, спросил ключ от квартиры Иванова, который

находился у меня; я отдал ему ключ, предполагая, что за ним идет и Иванов. Неизвестный, пробыв в квартире Иванова часов до 3-х вечера, вышел оттуда; когда же я предлагал ему, отпустив извозчика, дождаться Иванова, а потом отправиться на линейке, то он не согласился, говоря, между прочим, что ему необходимо свидание с Ивановым. Неизвестный, уезжая, говорил на мой вопрос, что фамилия его Петров, имя же и отчество назвал—Иван Андреев или Андрей Иванов—хорошенько не помню. Затем он сказал, что извозчика нанял от Серпуховских ворот за 1 р. 50 коп. Извозчика я не видал, лошадь же видел издали, она была темной масти. Неизвестному, повидимому, лет 25, роста среднего, темнорусый, небольшая борода и усы рыжеватые; одет он был в пальто драповое, довольно поношеное, темного цвета; брюки были надеты в сапоги, прочего платья не заметил, но в лицо признать могу. Кто убил Иванова и когда,—я не знаю. Сам не виноват и подозрения ни на кого не имею. Врагов Иванов не имел и характера был смирного. К кому он ездил в Москву—мне неизвестно. Кому принадлежат показываемые мне башлык, шапка, трубка и спичечница—не знаю.

На вопрос председателя: „Подсудимый ничего не имеет возразить?“ предложенный как после этого показания, так и после каждого из последующих свидетельских показаний, подсудимый отвечал молчанием.

2) Второе показание того же Эрастова, данное 12-го декабря 1869 года. Иванов 20-го ноября отправился вместе с Кузнецовым в Москву.

. . . .

Прокурор. Г. г. присяжные заседатели! 21 ноября 1869 г. в окрестностях Москвы, на земле, принадлежащей Петровской Академии, совершено было одно из тех преступлений, которое как в наших законах ,так и во всех законах мира считается одним из тяжких преступлений. Преступление это—убийство студента Иванова. На мне лежит обязанность представить вам доказательства виновности в этом убийстве того лица, которое предано в настоящее время вашему суду—бывшего мещанина г. Шуи, носящего звание учителя, Сергея Геннадиева Начаева Вы слышали из обвинительного акта, что остальные участники этого преступления уже понесли, на основании приговора суда, определенное им по закону наказание. Остался не приговоренным один только Нечаев, остался потому, что скрылся за-границу. Швейцарское правительство, рассмотрев настоящее дело, признало, что оно носит характер тяжкого уголовного преступления и выдало русскому правительству Нечаева, который предстоит теперь пред вами в качестве обвиняемого. Мне вряд ли придется много распространяться о доказательствах виновности его потому что они совершенно ясны, наглядны и убедительны. Прежде нежели я расскажу вам самые обстоятельства преступления и доказательства виновности в нем Нечаева, мне необходимо определить то преступление, в котором обвиняется Нечаев. Он обвиняется в совершении преступления, называемого убийством с заранее обдуманным намерением, причем жертва преступления была завлечена убийцами в

такое место, где им легче всего было совершить преступление; короче сказать—Нечаев обвиняется в убийстве в засаде. Текст закона, который определяет это преступление, гласит таким образом: „виновный в убийстве с обдуманным заранее намерением или умыслом, когда для учинения своего злодеяния убийца скрывался в какой-либо засаде или заманил убитого в такое место, где он удобнее мог посягнуть на жизнь его“. . . Следовательно, тяжесть этого преступления на основании закона заключается главным образом, во первых, в лишении кого-либо жизни и, во вторых, в том, что убийца под разными предлогами заманивает жертву свою в такое место, где она не может защищаться, в такое место, где жертве этой нет более спасения. Рассказ об обстоятельствах, сопровождавших убийство слушателя Петровской Академии Иванова, докажет вам, что преступление это вполне соответствует тому, о котором я имел честь сейчас говорить.

. . . .

Я мог бы ограничиться только этими доводами, г. г. присяжные заседатели, и не входить в дальнейший разбор дела; но мне не хотелось бы оставить в вас никакого сомнения, никакого колебания. Вы может быть спросите, с какой целью совершено это убийство. Я прочитал вам в начале речи ту статью закона, на основании которой предан суду Нечаев—3 п., 1, 453 ст. Ул. о Наказ. Вы изволили слышать, что в этой статье не определено никакой цели преступления, при которой подсудимый мог бы быть подвергнут наказанию по ней. По отношению к этой статье совершенно безразлична та цель, которою руководился подсудимый. Есть преступления, в условия которых входят известная цель, т. е. сам закон указывает известную цель того, чтобы деяние считалось таким-то преступлением; так например, убийство подводится под особую статью, когда оно совершено с целью ограбления. Но если человек убит в засаде, убит изменническим образом, заманенный в такое место, где он не может защищаться, тогда закон признает достаточною наличность только этого обстоятельства, чтобы полный состав преступления был на лицо, независимо от той цели, с которою совершено преступление. Но мы имеем возможность до некоторой степени определить цель, которою руководствовался Нечаев, совершая это преступление. Нечаев сказал здесь на суде, что убийство Иванова есть факт политического свойства. Я не понимаю, почему подсудимый настаивает на этом обстоятельстве, так как убийство с политической целью есть преступление еще более тяжкое, нежели то, в котором я обвиняю его. Безнаказанно производить смятение в обществе никто не может, а сопряженное с этим смятением убийство закон наказывает крайне строго. На вас подействовать с этой стороны невозможно. Вы представители общественной совести и вы никому не дозволите относиться к вам с такими доводами, с какими пожелал отнестись подсудимый. Притом заявление его и неверно; убийство Иванова не могло иметь политической цели, не могло быть вызвано каким либо политическими соображениями. Иванов, по показанию подсудимых, находился в

ссоре с Нечаевым. Если Нечаев действительно на что нибудь злоумышлял, то разве он стал бы открывать свои тайны человеку, с которым был в ссоре? Стало быть убийство Иванова с политической целью немыслимо. Затем, если убийство было совершено только для того, чтобы лишить Иванова возможности повредить тем замыслам, которые, может быть, имели подсудимые, то на это указали бы все они, так как замечено, что каждый преступник, в самых гнусных проявлениях злой воли отыскивает всегда что либо, что, по его мнению, могло бы сколько нибудь извинить ужасное преступление, совершенное им. Но ни один из подсудимых в настоящем случае не согласился на эту цель. Кроме того, эту цель имели в виду, ее проверяя; на нее было обращено внимание. Вы изволили слышать, что все это дело произведено местным судебным следователем, тогда как следствие по политическому делу было произведено сенатором Чемадуровым, Высочайше командированным для этого. Вы знаете, что один из актов настоящего дела был составлен сенатором Чемадуровым, и однако он не усмотрел никакой связи этого дела с политическим, хотя слышал изустные показания подсудимых, а мы только письменные. Мы можем думать, что на те или другие вопросы подсудимые могли бы дополнить свои показания, но лицо, имевшее возможность лично допрашивать их обо всем, все таки пришло к убеждению, что дело это не имеет никакой связи с политическим преступлением и потому производилось местным следователем. Наконец, Швейцарское правительство выдало Нечаева только тогда, когда убедилось, что преступление, в котором он обвиняется, не имеет никакого политического характера. Стало быть, об'яснение подсудимого с этой стороны несправедливо, ложно.

Мне, г. г. присяжные заседатели, в моей деятельности не приходилось иметь ни одного дела, до такой степени ясно определенного в смысле доказательства совершения убийства и виновности в нем подсудимого. Сомневаться здесь не в чем; но, может быть, у вас родится мысль о том, не заслуживает ли этот несчастный снисхождения? По рассмотрении предыдущего дела председатель раз'яснил вам, каким образом нужно относиться к этому вопросу. Г. председатель вероятно и по настоящему делу не откажется повторить пред вами, что вы имеете право дать подсудимому снисхождение только тогда, когда в самых обстоятельствах дела найдете достаточные к тому поводы. Нельзя дать снисхождения человеку только потому, чтобы вы желали так сделать; надобно иметь к этому основания. Закон говорит, что в случае дачи подсудимому снисхождения присяжные отвечают так: „заслуживает снисхождения по обстоятельствам дела". Стало быть, только обстоятельства дела могут подвинуть вас к тому, чтобы дать подсудимому снисхождение. Какие же обстоятельства настоящего дела могут побудить вас дать снисхождение Нечаеву? Я не буду касаться самой личности подсудимого; она слишком хорошо определилась пред вами теми выходками, которые позволил себе на суде Нечаев. Но само дело говорит за себя. Вспомните, господа, что Иванов шел с подсудимым, в числе которых был Кузнецов,

считавшийся его другом, что они заманили его в грот под дружеским предлогом, что они совершили преступление обдуманно, что они зверски распорядились с Ивановым, что они душили, стреляли, мучили и, наконец, ограбили его в последнюю минуту совершения преступления. Вот те обстоятельства, на которые может ссылаться подсудимый Нечаев; они только отягчают его вину, а никак не смягчают ее.

Предс. Подсудимый, вы ничего не имеете сказать в свое оправдание?

Подсуд. Я считаю унизительным для своего имени защищаться от клеветы, очевидной для всех. Вся Россия знает, что я преступник политический. Повторяю то, что сказал графу Левашеву: правительство может отнять у меня жизнь, но честь останется при мне.

Председатель заявил, что суд предполагает поставить на решение присяжных заседателей следующий вопрос: „Виновен ли подсудимый, носящий звание учителя городского приходского училища, Сергей Геннадиев Нечаев, родившийся 20-го сентября 1847 г., в том, что, возымев, из личной ненависти, намерение лишить жизни слушателя Петровской Академии Иванова, согласил других четырех лиц, сосланных уже за это преступление в каторжные работы, совершить это убийство, и затем 21-го ноября 1869 г. привел задуманное намерение в исполнение, заманив Иванова в пустынное по времени года место—грот Петровской Академии, и положив его там на месте собственноручным выстрелом из револьвера"?

Председ. Г.г. Присяжные заседатели. Об'яснение свое я начну с разбора возражений, представленных подсудимым. Первое из его возражений заключается в том, что он не обязан отвечать в настоящем заседании по обвинению, на нем тяготеющему, потому что это есть преступление политическое. Второе возражение его состояло в том, что он, как не признающий себя русским подданным, не подлежит суду русских судебных мест. Первое из этих возражений не заслуживает уважения потому, что, если он считал себя преступником политическим, то ничто не мешало ему в то время, когда совершилось это событие, остаться в России и таким образом судиться в том, в чем он, по его мнению, должен был быть судим. Но в настоящее время он лишил себя возможности быть судимым в качестве политического преступника, потому что, не возвратившись добровольно, он выдан русскому правительству швейцарским правительством с тем, чтобы он подлежал суду только за то тяжкое преступление, в котором его теперь обвиняют. Помимо этого, предварительное следствие об убийстве Иванова произведено совершенно отдельно от предварительного следствия по другим пунктам обвинений, тяготевших на Нечаеве и его единомышленниках. Из этого, г.г. присяжные заседатели, вы должны убедиться, что первое возражение подсудимого не имеет достаточного основания; я об'сняю вам это именно для того, чтобы вы убедились в ничтожности возражения подсудимого, потому что собственно ни я, ни прокурор не обязаны были давать вам об'яснения по сему предмету.

Второе возражение Нечаева не имеет уже ровно никакого основания. Мы не будем разбирать, русский ли он подданный или нет;

но всякое самостоятельное государство судит лиц, совершивших в нем известное преступление, если бы они даже были иностранцы. Предположим, что настоящее убийство совершено не пятью русскими, а пятью иностранцами; все эти пять иностранцев судились бы в России русским судом по русским законам.

Устранив поэтому оба возражения Нечаева, а равно и третье из его возражений, что дело это не подсудно Окружному Суду, потому что, как я об'яснял в начале заседания, он может жаловаться в кассационном порядке в Правительствующий Сенат на определение Судебной Палаты о подсудности настоящего дела, если считает это определение неправильным,—перехожу к определению того преступления, в котором обвиняется подсудимый. Нечаев обвиняется в том, что вместе с четырьмя другими лицами, которых он на преступление согласил 21-го ноября 1869 года, совершил убийство в засаде, именно в гроте Петровской Академии, заманив туда жертву преступления—слушателя Петровской Академии, Иванова. Об'яснять ли вам, г.г. присяжные заседатели, что такое убийство, разумеется, совершенно бесполезно. Всякий из вас понимает, что убийство есть лишение жизни другого человека. Но убийство может быть различное; может быть убийство, сделанное в запальчивости, в раздражении, а может быть и такое убийство, для совершения которого рассчитывают и время и способ совершения преступления. Настоящее убийство, если только вы даете веру тому следствию, которое происходило пред вами, совершено было с заранее обдуманным намерением потому, что не только определялось место, где должно быть совершено преступление, но выбирались и способы, как совершить его, т. е. задушить ли, застрелить ли, заманить ли человека в уединенное место и там распорядиться с ним,—словом, это преступление было зрело обдумано, и каждому из участников его была предоставлена известная доля деятельности. Затем это есть убийство, совершенное в засаде, потому что Иванов приведен был в такое место, где он не ожидал опасности, место по времени года отдаленное от всякого жилья. Следовательно, убийство это совершенно подходит под признаки того преступления, в котором обвиняется подсудимый Нечаев.

Каждое преступление может быть совершено или одним лицом, или несколькими лицами. Как вы видели, настоящее преступление совершено было несколькими лицами. Конечно, нельзя допустить, чтобы участники известного преступления принимали все одинаковое участие в нем: не могут все разом душить, не могут все разом стрелять в одного человека, иначе они рискуют попасть друг в друга. Поэтому нужно различать то участие, которое каждый из пяти подсудимых принимал в убийстве слушателя Петровской Академии Иванова. Четверо из подсудимых, как я уже об'яснил вам, судились за это преступление и были признаны участниками в совершении его, а не главными деятелями; вопрос о том, кем они были соглашены, кто подговорил их, остался открытым, так как Нечаев в то время скрылся. Из изложенного вам г. прокурором вы уже видели, что мысль убить Иванова зароди-

лась в голове Нечаева, что он остальных четырех подсудимых, понесших уже наказание, согласил совершить это преступление, и не только согласил, но назначил каждому из них ту роль, которая должна быть исполнена им, если не в самом совершении убийства, то в тех действиях, которые предшествовали совершению преступления. Наконец, в самом гроте, куда заманен был Иванов, Нечаев душил его и, выстрелив из револьвера в голову, лишил его жизни. Человек, игравший такую роль в совершении преступления, г.г. присяжные заседатели, признается по закону з а ч и н щ и к о м. Итак, вы видите, что преступление это совершено было Нечаевым и его соучастниками со зрело обдуманным замыслом, причем действия их были строго согласованы; люди, совершившие это преступление, были относительно люди известной степени образованности. Так предстоящий пред вами подсудимый—учитель приходского училища—при массе необразованного у нас народа естественно выделяется из общего уровня, как лицо, обладающее известной степенью образованности. Побуждение к совершению этого преступления было безнравственное и состояло в том, чтобы отделаться от человека, который являлся личным врагом Нечаева, потому что он, как человек другого образа мыслей, чем Нечаев, и, повидимому, более его развитой, мог иметь большее значение, чем Нечаев. К участию в этом преступлении привлечено было Нечаевым четыре человека, все уже сосланные в каторжные работы. Усилий, для устранения препятствия к достижению цели, употреблено было Нечаевым достаточно. Для того, что-бы Прыжов, на которого по его сомнительности нельзя было рассчитывать, не мог заявить о предстоящем совершении преступления, принудили этого человека, 42 лет, принять участие в убийстве. Л и ч н ы х о т н о ш е н и й нарушено было пропасть. Человек, подговоривший четырех других к совершению преступления, не остановился перед тем, что трое из них юноши, воспитывавшиеся еще в заведениях, и один из них несовершеннолетний. Нарушены были личные отношения и к месту, где совершено преступление. Воспитательное заведение есть святыня, нарушение которой представляется нарушением одной из тех личных обязанностей, важнее которой трудно придумать. Зло, причиненное настоящим преступлением, чрезвычайно велико в виду того, что человек был лишен жизни. Вот, г.г. присяжные заседатели, обстановка, при которой совершено убийство Иванова.

Останавливаться на обстоятельствах дела я не буду. Я остановлюсь только на тех д о к а з а т е л ь с т в а х, которые представлются по настоящему делу. Такими доказательствами, между прочим, служат: акты осмотра местности и трупа Иванова, свидетельствующие, что труп Иванова действительно был найден в пруду Петровской Академии и что Иванов умер не естественною смертью, а тою, о которой упоминается в обвинительном акте и во всех выслушанных вами показаниях. Акты эти совершены с соблюдением всех установленных правил и формальностей. Независимо от этого, г. г. присяжные заседатели, факт убийства Иванова достаточно удостоверен уже тем, что настоящее дело было

в рассмотрении Судебной Палаты, и на основании тех доказательств, о которых я упомянул сейчас, Палата признала несомненным, что Иванов действительно убит, убит тем способом, о котором упоминалось во время судебного следствия. Остальные доказательства, по настоящему делу представленные, суть свидетельские показания. из которых одни относятся до существа дела, т. е. до тех обстоятельств, без которых совершение преступления было невозможно, а другие—до обстоятельств побочных. Главными показаниями представляются показания тех четырех лиц, которые на основании оных признаны виновными в участии в убийстве и сосланы за это в каторжные работы. Предоставляю судить вашей совести о том, насколько показания эти представляются достоверными и заслуживают вероятия. Показания остальных свидетелей касаются побочных обстоятельств и, разумеется, должны быть признаны заслуживающими достоверности, если вы признаете, что показания главных четырех сосланных свидететелей безупречны.

В высочайшем манифесте, при котором распубликованы были Уставы 20-го ноября 1864 г., сказано между прочим: „Да царствует милость в судах“.

Подсудимый (перебивая). А меня бил гражданский офицер.

Председатель (не прерывая своей речи) Нужно, г. г. присяжные заседатели, условиться насчет смысла этого выражения. Это слово в Уставе Уголовного Судопроизводства не употребляется, но немыслимо, разумеется, чтобы Устав Уголовного Судопроизводства, появившийся одновременно с манифестом, в котором употреблено приведенное мною выражение, не был проникнут милостью. И действительно, Устав проникнут ею. Устав Уголовного Судопроизводства дает подсудимому право во время предварительного и судебного следствий представлять все допускаемые законом доказательства в подтверждение того, что он не совершил преступления, или, если совершил, то не настолько виновен, насколько его обвиняют. Устав Уголовного Судопроизводства дает подсудимому право самому выбрать защитника, а если он лишен возможности выбрать такового, то предоставляет ему право просить у Суда назначения защитника, т. е. человека опытного, который знает, на какие обстоятельства следует обратить более или менее внимание суда. Подсудимый судится присяжными заседателями, которые определяют вину или невиновность его по внутреннему своему убеждению, на основании выслушанных ими обстоятельств дела. Стало быть, нет прежней системы формальных доказательств, которая говорила, что, если есть против подсудимого два свидетельския показания, согласных между собой, то Суд должен обвинить подсудимого. Присяжные заседатели имеют право, признав подсудимого виновным, признать в то же время его заслуживающим снисхождения на основании тех же обстоятельств дела. Наконец, Суд, назначив подсудимому наказание, имеет право в исключительных случаях ходатайствовать перед государем императором о смягчении участи подсудимого. Большей милости нельзя ожидать, г. г. присяжные заседатели, от суда человеческого. Но только этою законною

милостью подсудимый и может воспользоваться. Никакой иной милости быть не может на суде, потому что это равносильно было бы произволу. Всякая иная милость будет милость незаконная, будет не правосудием и будет итти в разрез с другим, употребленным в том же манифесте, выражением: „Да царствует правда в Судах".

Г. г. присяжные заседатели! вы должны разрешить настоящее дело на основании выслушанных вами обстоятельств. Точно также вы можете признать подсудимого заслуживающим снисхождения только в виду каких нибудь обстоятельств дела. Вы не имеете права давать произвольно снисхождение. Подобное снисхождение будет тою незаконною милостью, о которой я упомянул, а закон обязывает вас, давая подсудимому снисхождение, упоминать, что вы даете это снисхождение по обстоятельствам дела. Это выражение связывает вашу совесть и напоминает вам о той присяге, которую вы приняли.

Решение присяжных постановляется по большинству голосов. Нет сомнения, что безусловное большинство имеет перевес, но может случится, что голоса ваши разделятся поровну, что шесть будет за обвинение, шесть—за оправдание, шесть за дарование подсудимому снисхождения, шесть—против дачи снисхождения. В таком случае закон дает предпочтение или тому мнению, которое оправдывает подсудимого, или тому, которое признает его заслуживающим снисхождения. В случае каких либо сомнений вы имеете право возвратиться в залу заседания и просить у меня раз'яснения. Отобрав от присяжных заседателей ответ, старшина подписывает его таким образом: „старшина присяжных такой-то".

Присяжные, пробыв в совещательной комнате 20 минут, вынесли на изложенный выше вопрос следующий ответ: „да, виновен".

Прокурор заявил, что в виду приговора присяжных заседателей и на основании 3 п. 1.453 ст. и 2 степ. 19 ст. Улож. о Наказ., подсудимого Нечаева следует лишить всех прав состояния, сослать в каторжные работы в рудниках на 20 лет.

Предс. Подсудимый не возражает?

Подсуд. Это Шемякин суд!

Суд, постановивши резолюцию, об'явил в том же заседании в окончательной форме следующий приговор: „1873 года, января 8-го дня, по указу его имп. вел., Московский Окружной Суд, по 1-му отделению, в публичном заседании, открытом под председательством председателя Суда П. А. Дрейера, в составе членов Суда: П. Д. Орлова, и В. В. Завьялова, при прокуроре Суда К. Н. Жукове и секретаре М. Я. Баумштейне, с участием присяжных заседателей, слушал дело о мещанине г. Шуи, носящем звание домашнего учителя, Сергее Геннадиеве Нечаеве, обвиняемом в убийстве слушателя Петровской Земледельческой Академии Иванова. Решением г. г. присяжных заседателей подсудимый Нечаев признан виновным в том, что возымев, из личной ненависти, намерение лишить жизни слушателя Петровской Академии Иванова, подговорил других четырех лиц, сосланных уже за это преступление в каторжные работы, совершить это убийство, а затем 21-го

ноября 1869 г. привел задуманное намерение в исполнение, заманив Иванова в пустынное по времени года место—грот Петровской Академии— и положив его там на месте собственноручным выстрелом из револьвера. Принимая во внимание: во 1-х, что деяние, в котором Нечаев признан виновным, по признакам своим соответствует преступлению, предусмотренному Улож. о Наказ. в ст. 1453 п. 3, при чем Нечаев, согласно сего же Уложения ст. 13 отд. 1 должен быть признан зачинщиком преступления; во 2-х, что виновные в убийстве при вышепоименованных обстоятельствах, на основании Улож. о Наказ. ст. 1453 и 1452, приговариваются к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжные работы в рудники на время от 15-ти до 20-ти лет; в 3-х, что поименованное наказание для Нечаева, как зачинщика преступления, совершенного при обстоятельствах, увеличивающих его вину, на основании Улож. о Наказ. ст. 118 и 129 пунктов 1,2,3,4,5,6,8,9, и 10 должно быть назначено в высшей мере—Московский Окружной Суд определил 1) носящего звание учителя городского приходского училища Сергея Геннадиева Нечаева 25-ти лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы в рудниках на двадцать лет, а затем на основании 25 ст. Улож. о Наказ., поселить в Сибири навсегда; 2) вещественные доказательства препроводить к прокурору для поступления с ними по 512 ст. Св. Зак. XIV Уст. о Прес. и Пресеч. Прест., по продолжению 1868 года“.

По об'явлении этого приговора и по об'яснении подсудимому прав его по предмету обжалования приговора в кассационном порядке, председатель сделал распоряжение об удалении подсудимого из залы заседания. При выходе из залы подсудимый закричал: „Да здравствует собор! „Долой деспотизм!“

Госуд. преступления в России в XIX в., ред. Базилевского, т. I., стр. 229—252.

С. Г. Нечаев в Петропавловской крепости.

I.

...В одном из своих заявлений, поданном Нечаевым министру юстиции (кажется Половцеву, — в именах у Нечаева могли, понятно, быть ошибки), он рассказывает об его выдаче из Швейцарии. Вот отрывок из этого заявления:

„Год спустя (т.-е. после суда над Нечаевцами), чтобы добиться от швейцарцев выдачи Нечаева, русский царь приказал своим юристам об'явить его обыкновенным уголовным преступником, убившим Иванова из личной, будто бы, ненависти. Эта гнусная ложь и для всех очевидная клевета не смутила юристов, Обер-прокурор промолчал, малодушные представители нашей адвокатуры позорно трусили и не протестовали, швейцарские олигархи, по требованию царя, выдали Нечаева не только без суда и без всякого следствия, но даже без соблюдения формальностей экстрадиции, без всякого предупреждения и об'яснения, при нарушении основных принципов публичного права. Нечаева схватили, избили и ограбили, продержали несколько недель в каземате и потом ночью, без всяких об'яснений, перевезли на баварскую границу и без условий выдали ждавшим там русским шпионам и германской полиции. Все бумаги политического содержания, захваченные при Нечаеве, были переданы в III-е Отделение . . . .

Правительство буржуазной республики, найдя выгодным выдать Нечаева таким образом, конечно, уж не могло иметь гарантии за правильный ход правосудия и беспристрастность русской юстиции в этом деле. Поэтому русское правительство не считало более нужным церемониться. К Нечаеву не допустили избранного им защитника. Ему не выдали даже копии с дела, не выполнили никаких формальностей судопроизводства. На суде не выслушали его об'яснений (как только он открывал рот — так его вытаскивали из залы заседания в корридор, где били его до потери сознания). На основании голословного обвинения прокурора и только тех отрывков из показаний соучастников Нечаева, в которых говорилось лишь о самом факте убийства (об'яснение мотивов, данное Успенским и другими, тщательно обойдено), Московский окружный суд приговорил Нечаева к двадцатилетней каторге, как обыкновенного уголовного преступника. При этом суд предоставил приговоренному право апелляции,—по истечении же срока для подачи жалобы, Нечаева вывезли на эшафот, а потом тайно ночью, окольными путями (из Москвы на Смоленск и Динабург) перевезли в Петербургскую Петропавловскую крепость и похоронили его заживо в Алексеевском равелине, знаменитой исторической тюрьме, стены которой были вековыми свидетелями ужасов тирании.

Как только привезли Нечаева из Швейцарии в крепость, к нему пришел в каземат граф Левашев с предложением составить записку для III-го Отделения о составе, численности и средствах революционной партии, о ее планах и связях.“ Нечаев отверг с негодованием „блестящие“ выгодные условия“ (выражение Левашева). „Тем хуже для вас“, сказал граф, уходя, „вас будут судить, как обыкновенного убийцу, а на суде председатель вам не даст говорить.

На третий год одиночного заключения в равелине с такими же гнусными предложениями приезжал к Нечаеву шеф жандармов, генерал Потапов. На этот раз ответом было выражение презрения к правительству в более резкой форме, а когда Потапов стал грозить Нечаеву телесным наказанием как каторжнику, тогда он, в ответ на эти угрозы, заклеймил Потапова пощечиной в присутствии коменданта генерала Корсакова, офицеров, жандармов и рядовых; от плюхи по лицу у Потапова потекла кровь из носу и изо рта. Нечаева схватили за горло, но на этот раз не били. Полгода спустя, в июле 75-го года, комендант просил Нечаева от имени правительства изложить свой образ мыслей и взгляд на положение русских дел вообще. Нечаев в ответ написал большое письмо царю Александру II, где, указав на главные язвы политического и социального строя России, назвал этот строй отжившим и разлагающимся; он указал неминуемую близость роволюции, разрушительный характер которой может быть ослаблен только немедленным введением либеральных конституционных учреждений и созванием представителей народа для пересмотра основных законов.

Прокурор Московского суда, явившись в первый раз к Нечаеву, пред'явил ему полученное им предписание от министра юстиции, в котором говорилось, что Александр II ручается швейцарскому правительству своим императорским словом за правильность и беспристрастность суда над Нечаевым. На основании этого, в начале 1876 года (в четвертый год одиночного заключения), когда здоровье Нечаева было сильно расстроено, он послал царю формальное прошение о пересмотре его дела, или по крайней мере, об изменении убийственных условий жизни в одиночном заключении. В ответ на это Нечаева лишили последнего, единственного занятия—письменных принадлежностей и книг, наложили на него тяжелые цепи и заковали в ножные и ручные кандалы, которые он и влачил в течение двух лет.

Нечаев, на основании вышеизложенных чудовищных противозаконных обстоятельств дела, обращается к новому министру юстиции Половцеву, как к бывшему обвинителю его соучастников, оффициально признавшему их политическими преступниками, и, во имя поруганного права, попранной справедливости внутренних основных форм судопроизводства, просит о пересмотре его дела порядком гласного суда, правильного и беспристрастного.

Говорят, что швейцарское правительство напечатало потом заявление по поводу экстрадиции, где упоминало о каких-то, будто бы данных мною об'яснениях, которые республиканские власти нашли неверными.

Это—подлая ложь, а если они опираются на документы, то они подделаны художниками полиции. Швейцарская полиция начала с того, что избила Нечаева и ограбила прежде всякого допроса, а потому Нечаев никаких об'яснений ни письменных, ни устных не давал и требовал судебного следствия и свидания с эмигрантами.“

„Былое“, 1906 г. кн. VII-я. стр. 151—153.

II.

...„В равелине служащие не сменяются несколько лет. Нечаев имел возможность присмотреться к каждому из них и, пользуясь этим, наметить много лиц, пригодных для его планов. Еще сидя на цепи, он умел лично повлиять на многих из своих сторожей. Он заговаривал со многими из них. Случалось, что, согласно приказу, тюремщик ничего не отвечал, но Нечаев не смущался. Со всей страстностью мученика он продолжал говорить о своих страданиях, о всей несправедливости судьбы и людей. „Молчишь... Тебе запрещено говорить. Да ты знаешь ли, друг, за что я сижу... Вот судьба — рассуждал он сам с собой, — вот будь честным человеком: за них же, за его же отцов и братьев погубишь свою жизнь, а заберут тебя, да на цепь посадят, и этого же дурака к тебе приставят. И стережет он тебя лучше собаки. Уж действительно, не люди вы, а скоты несмысленные“. Случалось, что солдат, задетый за живое, не выдерживал и бормотал что-нибудь о долге, о присяге. Но Нечаев только этого и ждал. Он начинал говорить о царе, о народе, о том, что такое долг и т. д.; он цитировал священное писание, основательно изученное им в равелине, и солдат уходил смущенный, растроганный, наполовину убежденный. Иногда Нечаев употреблял другой прием. Он вообще расспрашивал всех обо всем и, между прочим, узнавал иногда самые интимные случаи жизни даже о сторожах, его самого почти не знавших. Пользуясь этим, он иногда поражал их своею якобы прозорливостью, казавшейся им сверх'естественной. Пользуясь исключительностью своего положения, наводившею солдат на мысль, что перед ними находился какой-то очень важный человек, Нечаев намекал на своих товарищей, на свои связи, говорил о царе, намекал о дворе, на то, что наследник за него...

Когда с него сняли цепи, Нечаев умел это представить в виде результата хлопот высокопоставленных покровителей, начинающих брать силу при дворе. То же самое повторилось при истории с книгами и задним числом распространилось на потаповскую оплеуху. Конечно, Нечаев ничего не говорил прямо, но тем сильнее работало воображение солдат, ловко настроенное его таинственными намеками. Впоследстви, когда положение Нечаева улучшилось, и он стал получать книги и газеты, когда разговор с ним перестал быть преступлением, влияние его сделалось чрезвычайным. Его, действительно, не только считали важной особой, не только уважали и боялись, но нередко трогательно любили; некоторые из солдат, напр., старались доставить ему удовольствие, покупая ему газеты или что-нибудь из пищи на собственный счет; особенно привязанные прозвали его „орлом“, „нашим орлом“, так называли они его между собой.

Покушение Соловьева чрезвычайно подняло фонды Нечаева. Он давно говорил, что партия наследника (к которой сам будто бы принадлежал) сгонит с престола Алексадра II. Он предвидел дальнейшие покушения и говорил об этом своим сторожам. Он тут начал прямо доказывать некоторым из них, будто у него есть сношения с волей, будто другие сторожа уже перешли на сторону наследника и служат ему, Нечаеву. Когда люди, особенно его любившие, привыкли таким образом к мысли о возможности служить Нечаеву, он стал им это прямо предлагать, и первый, согласившийся на это, был вполне уверен, что он чуть не последний, и чуть что не вся крепость принадлежит уже Нечаеву. Но Нечаев строго придерживался конспирации, и его пособники почти никогда, особенно сначала, не имели никаких прямых указаний, один на другого.

В это время (в ноябре 1880 г.) был посажен в равелин С. Ширяев. Он очень понравился Нечаеву, который, присмотревшись к нему, решился открыть ему часть своей „организации“, как он выражался, и часть своих планов. Еще раньше был посажен в равелин Мирский, но Нечаев не открыл ему ничего. План же у него был очень широкий. Бегство из крепости казалось ему уже слишком недостаточным. Изучив тщательно крепость (он знал ее изумительно и все через перекрестные допросы „своих“ людей и через их разведки), состав ее войск, личности начальствующих и т. д. и, расчитывая, что с течением времени ему удастся спропагандировать достаточное число вполне преданных людей, он задумал такой план: в такой-то день года, когда вся царская фамилия должна присутствовать в Петропавловском соборе, Нечаев должен был овладеть крепостью и собором, заключить в тюрьму царя и провозгласить царем наследника. Этого фантастического плана не мог одобрить Ширяев, несмотря на то, что был очарован силой и энергией Нечаева. Но он нашел с своей стороны способ вступить в сношения с Исполнительным Комитетом.

С этого то времени и начинаются сношения, о которых гласит обвинительный акт. Они, впрочем, имели не совсем такой характер, как там указано. Нечаев и при сношениях строго установил свою обычную систему: вести параллельно несколько дел одного характера, но друг с другом не связанных. Этот параллелизм был его любимой системой, дававшей возможность проверять каждого из людей невидимыми путями, возбуждая во всех самую преувеличенную уверенность в каком то таинственном всеведении заправителей. Дубровин, школьный товарищ Ширяева, виноват только в том, что получил от него записку из крепости, да сделал для него две, три филантропические услуги. Главные же сношения вел Нечаев с Исполнительным Комитетом в лице Желябова.

Мы не имеем достаточных сведений, чтобы обрисовать весь ход этих сношений. Во всяком случае, Исполнительный Комитет признал, что план овладения крепостью и царской фамилией совершенно невозможен; гораздо осуществимее представлялось освобождение заключенных из равелина. Нечаев получил главное, чего ему до сих пор не доставало,— деньги, и мог поэтому гораздо успешнее подготовлять свое дело. К несчастью для него, новое покушение на жизнь царя сталкивалось с этим освобождением. Очевидно было, что освобождение, может быть

даже вооруженной рукой, из такого государственного тайника, как Алексеевский равелин, должно было возбудить в правительстве панику и сделать надолго невозможным нападение на царя. Нечаеву и Ширяеву было предоставлено самим решить, какое из двух предприятий ставить в первую очередь, и они подали свои голоса за 1-е марта, несмотря на то, что Желябов уже лично осмотрел равелин и признал побег, при хорошей помощи извне, не только осуществимым, но даже не особенно трудным. Отказываясь от свободы, Нечаев имел деликатность в своих письмах сохранить самый веселый тон и усиленно доказывал, что дело их, заключенных, ничего не проиграет от отсрочки, хотя сам Желябов был уверен в противном, и нет сомнения, что такой ловкий человек, как Нечаев, должен был прекрасно понимать всю справедливость опасений Желябова.

В это время Нечаев поддерживал оживленную переписку с Исполнительным Комитетом и вообще с разными народовольцами. Он вообще очень симпатизировал народовольчеству и был в большой радости, узнавши о существовании организации Исполнительного Комитета и ее средствах. Но в деятельности Исполнительного Комитета он находил очень много ошибок. Ошибки эти все сводились, по его мнению, к чрезмерной „добросовестности“ лиц, заправляющих делами партии. „Не принимайте этого за комплимент,— писал Нечаев,— не забудьте, что из-за этой буржуазной добросовестности задерживается успешная организация, а, стало быть, дается время окрепнуть врагам народа. Из-за этой добросовестности затрудняется борьба, и потом придется уничтожать не сотни, а сотни тысяч человек“. Дело в том, что, по мнению Нечаева, Комитет не умеет показывать товар лицом, не умеет ослепить и врагов и друзей блеском своей силы. Имея в руках такие победы, какие уже были у Комитета, ловкие люди на месте его могли бы раздуть себя во всероссийскую силу и давно заставить врага капитулировать без боя. А Комитет не только не умеет „раскричать“ себя, но не умеет даже хоть молчать. „Возможно ли, например,— говорит Нечаев,— печатать отчет о пожертвованиях, сумма которых в одном номере составляет всего каких-нибудь 5—8 тысяч рублей. И это, во-первых, неверно, потому что на самом деле в отчетах почти никогда не показывались именно крупные суммы, оглаской которых жертвователи боялись выдать себя знакомым и полиции. Есть ли смысл печатать такие отчеты. Да их нужно,— говорит Нечаев,— увеличивать уж по крайней мере двумя нулями. Или какой смысл обращаться к обществу и народу с воззванием о поддержке, даже указывая, что в противном случае организация может быть разбита. Комитет не должен допускать и мысли об этом; он должен только возбуждать общество или народ и обещать им свою поддержку, а не просить ее у них“ ... замечаний в этом роде Нечаев делал очень много и очень досадовал, что он, не будучи, в силу своего положения, членом организации, не может активно влиять на ход дела. Однажды он предложил Исполнительному Комитету целый план действий. Мы получили относящиеся к нему документы, но полагаем, что достаточно будет изложить дело вкратце.

Нечаев предложил выпустить сперва для местностей, где сильна вера в царя, подложный царский манифест, в котором царь будто бы об'являет своим верноподданным: „По совету любезнейшей супруги нашей государыни императрицы, а также по совету князей, графов и т. д. и по просьбе всего дворянского сословия, мы признали за благо“ — возвратить крестьян помещикам, увеличить срок солдатской службы, разорить все старообрядческие молельни и т. д. В то же время должен быть разослан священникам подложный же „Секретный Указ“ святейшего синода, где сказано, что „всемогущему богу угодно было послать России тяжелое испытание: новый император Александр III заболел недугом умопомешательства и впал в неразумение“, вследствие чего священники должны тайно воссылать с алтаря молитвы о даровании ему исцеления, никому не открывая сей важной государственной тайны“. Расчет был, конечно, на то, что священники именно разболтают всем скандальное известие. После этих подготовлений, нужно было распустить манифесты от якобы тайного „Великого Земского Собора всея Великия, Малыя и Белыя России“, во-первых, к крестьянам, во-вторых, к православному русскому воинству, гвардейским, гренадерским и армейским полкам, коннице и артиллерии, гарнизонным войскам и местным командам“. В первом об'явить, что царя больше нет, старый убит, а новый с ума сошел; что Собор решил произвести передел земли и освободить солдат от службы, и потом указать, чтобы „по получении сего манифеста не медля ни мало во всех селениях собирать мирские сходы и приступать к справедливому переделу всей земли... прежде же всего отрешить от должности всех прежних волостных старшин и писарей, а на место их для распоряжения делами выбирать добросовестных людей... приводя их к крестному целованию и т. д., которые сему манифесту воспротивятся, хватать и представлять в мирские сходы, а мир должен творить с ними строгую и короткую расправу... Всех исправников, становых и т. д. хватать, где кого пришлось, и немедленно предавать смерти“... В конце манифеста, довольно длинного, помечается, что составлен он „на великом Земском Соборе, по совету и приговору излюбленных русских людей, мирских выборных от всех крестьянских обществ“, и предписывается всюду развозить манифест и исполнять. В самом конце подписано „быть по сему“.

Манифест к войскам упоминает о предыдущем манифесте, об'являет, что выраженным там мерам воспротивились царица с генералами, и делает воззвание к военному бунту. Все подробности этих планов, передаваемых нами в сокращении, вообще обдуманы, очевидно, очень тщательно.

Все эти планы оставлены были, однако, Исполнительным Комитетом без всяких последствий; корреспонденты же Нечаева обыкновенно отвечали ему, что шарлатанство—дело очень опасное, и если бы еще могло быть допущено до известной степени в самый момент восстания, то уж никак не в период собирания сил, когда оно может быть только вредно. Нечаев никак не мог согласиться с этой точкой зрения; его глубокая вера в близость революционного взрыва и его необычайное

личное уменье группировать и направлять людей тянули его совсем в другую сторону.

Впрочем, делая вообще упреки Комитету, Нечаев все таки очень ценил его и нередко хвалил его агентов за ловкость в исполнении тех или других планов, иногда ему сообщаемых. Особенно высоко ценил он Желябова и, говоря однажды о необходимости учредить революционную диктатуру в среде организации, указывал на Желябова, как на человека, способного к этой роли. Одновременно с 1-м марта Исполнительный Комитет на всякий случай делал приготовления и к освобождению. Оказалось, однако, что, благодаря арестам, начать его было очень трудно, а самое главное, в крепости начались строгости. Убийство царя сразу поставило крепость на военную ногу, хотя, впрочем, сношения продолжались. Затем, при аресте Перовской у нее были найдены адреса некоторых женщин, любовниц крепостных солдат, и это заставило крепостное начальство усилить строгости. В равелине начались починки, поправки, заделывались все слабые места, усилились караулы и обходы, удвоился надзор. Нужно, впрочем, заметить, что захват адресов у Перовской все таки не имел того значения, какое ему усиливается придать обвинительный акт. Достаточно вспомнить, что Перовская взята в марте 1881 г., а сношения с равелином продолжались еще в марте 1882 г. Сверх того, кроме случая с Перовской, в крепости около того же времени произошел еще другой казус: в месте заключения подследственных (Невская куртина) был заподозрен в сношениях с заключенными сын смотрителя, Богородицкий, который и был по этому случаю арестован, а вслед за ним арестован был и сам смотритель, полковник Богородицкий, заподозренный в пособничестве сыну при этих сношениях. Все это наэлектризовало начальство и довело его бдительность до крайнего напряжения. Нечаевская конспирация была, однако, так крепко сшита, что долго никто не попадался, и сношения все таки продолжались, хотя мысль об освобождении заключенных стала совсем химеричной, и жить в равелине становилось все тяжелее“. „Былое“. 1906 г. № 7. Стр. 155—160.

III.

(Листовка „Нар. Воля“, № 1, 1883 г.).

...„Но даже эта безгласность была ничто в сравнении с той могильной, чисто петропавловской безгласностью, какая была применена к процессу 1-2 декабря 82 г., происходившему в здании Петропавловской крепости. Разбиралось дело о сношениях Нечаева, Ширяева и Мирского, сидевших в Алексеевском равелине, с рев. партией через посредство крепостных солдат. Арестована была целая команда нижних чинов, до 80 ч. Часть из них была немедленно освобождена, часть судилась в мае прошлого года и присуждена к арестантским ротам и административной ссылке; начальник же команды майор Филимонов и его помощник приговорены, по лишении прав, чинов и орденов, к ссылке—первый в Арханг. губернию, второй в Сибирь. 16 чел., из которых один умер, были

выделены из общей группы и судились 1-2 декабря прошлого же года за принадлежность к тайному сообществу: 15 человек солдат, два обер-фейерверкера Охтенского порохового завода, Филиппов и Иванов, и студент 5-го курса военно-медицинской академии, Евгений Дубровин. Последний был чернопеределец по убеждениям, но через него-то собственно и завелись сношения арестантов с народовольцами, его товарищами. Сношения длились с конца 1880 г. Они завязались так. Десятилетнее пребывание Нечаева в казематах Петропавловской крепости не сломило могучей энергии этого пионера русской революции. Он постоянно делал попытки к освобождению и, несмотря на вечные неудачи, никогда не разочаровывался и не падал духом. Однажды бывший начальник III отделения, ген. Потапов, явился к нему в камеру и стал чем то грозить и на чем-то настаивать; Нечаев, на глазах часового, дал ему пощечину. Весть об этом быстро облетела крепость, и солдаты ждали, что арестанту плохо придется. Но Нечаеву не сделали даже выговора,—и этот факт так поразил воображение часовых, что личность арестанта сразу окружилась в их глазах ореолом чего-то властного и таинственного. А Нечаев с большей, чем прежде, энергией стал заговаривать с ними, развивать перед ними социально-революционные идеи, уверяя, что подобный разговор не представляет никакой опасности, что часовые и раньше всегда разговаривали с ним; что он, Нечаев, не простой арестант, что он страдает за правду, за народ. Часовые поддались очарованию и мало по малу осмелились вступить в разговор. В конце концов влияние Нечаева достигло таких размеров, что записки его стали передавать Мирскому и затем Ширяеву (осужден по процессу 16-ти), сидевшему в камере рядом. Последнему удалось пойти дальше: он уговорил часового Орехова отнести записку к Дубровину, находившемуся на свободе (товарищу Ширяева по Саратовской гимназии, Исаева по академии). Таким образом, завязались сношения с внешним миром. После 1 марта они велись не менее энергично, но уже без посредства Дубровина: посылаемые арестантами солдаты встречались с революционерами в условных местах: на углах улиц, в трактирах и т. п. Есть основание думать, что в конце 81 г. настроение крепостных солдат было настолько революционно, что замышлялось освобождение арестантов. На суде подсудимые вели себя очень скромно; нижние чины оправдывались главным образом тем, что „он приказал, и ослушаться его не смели“... Так велико было обаяние Нечаева. Последнего на суде, конечно, не было и даже имени его не произносили, так как солдаты знали его под именем „арестанта № 5“. Говорят, что его перевезли в Шлиссельбургскую крепость: там, может быть, удобнее добить не добитого... Суд вынес следующую резолюцию: Евгению Дубровину 4, Филиппову 5 лет кат. работ, Иванову полгода тюремного заключения, нижним чинам исправительные роты с различными сроками.

Об этом процессе в „Прав. Вестн.“ ни слова не было напечатано...“

Литература партии Нар. Воли. Стр. 302—303.

ПРОЦЕСС 50-ТИ.

Процесс 50-ти.

1877 г.

Дело о разных лицах, обвиняемых в государственном преступлении по составлению противозаконного сообщества и распространению преступных сочинений.

Заседания особого присутствия Правительствующего Сената для рассмотрения дел о государственных преступлениях.

Председательствует первоприсутствующий, сенатор К. К. Петерс; присутствуют сенаторы: М. Н. Похвиснев, К. К. Ренненкампф, Д. Д. Неелов, Н. О. Тизенгаузен и Б. Н. Хвостов; сословные представители: предводители дворянства—черниговский губернский, отставной штабс-капитан Н. И. Неплюев и вышневолоцкий уездный, майор П. И. Сназин-Тормасов; псковский городской голова Сутгоф и стародеревенский волостной старшина П. Лукьянов, при исправляющем должность обер-секретаря В. В. Попове. Обвиняет исправляющий должность товарища обер-прокурора уголовного кассационного департамента К. Н. Жуков; защищают присяжные поверенные: Бардовский, Боровиковский, Борщов, Войцеховский, Герард, Гернгросс (помощник присяжного поверенного), Зубарев, Корш, Люстиг, Нечаев (помощник присяжного поверенного), Ольхин, Полетаев, Спасович, Халтулари и Шванебах.

Из обвинительного акта.

По исполнении обычных формальностей прочитан обвинительный акт следующего содержания:

28 марта 1875 г. в Московское Губернское Жандармское Управление явился рабочий ткацкой фабрики купца Шибаева в г. Москве, крестьянин Яков Яковлев, и, представляя две книги преступного содержания: „Емелька Пугачев“ и „История французского крестьянина“, заявил, что 25 и 27 марта он получил эти книги от крестьян Ивана Васильева Баринова и Василия Григорьева, по прозванию Ветрова. Допрошенный по поводу сделанного им заявления Яков Яковлев об'яснил, что ему неоднократно случалось бывать в трактирах вместе с Иваном Васильевым Бариновым и фабричным крестьянином Николаем Васильевым. При свиданиях Иван Баринов и Николай Васильев, об'ясняя ему, что собственность должна быть общею, что крестьян нужно сравнять во всем с другими сословиями,

и что все это должно быть скоро приведено в исполнение, советовали проводить подобные мысли в народ, устраивать с этою целью кружки, собирать возможно большее число последователей таковых мыслей и взглядов. При этом Баринов и Васильев говорили, что таких кружков в Москве и Петербурге очень много, и что в Москве, на фабрике Носовых, живут две образованные девушки в качестве простых работниц с единственною целью распространять вышеизложенные идеи между рабочими фабрики. 25 марта Николай Васильев, по совету Баринова, дал Яковлеву для чтения книгу „Емелька Пугачев" и советовал Яковлеву обращаться за книгами к фабричному Василию Григорьеву Ветрову. Вследствие совета Васильева, Яковлев обратился к Ветрову и получил от последнего „Историю французского крестьянина". По прочтении означенных книг, Яковлев, убедившись в преступном их содержании, решился заявить о получении книг начальству, что и исполнил. При последнем свидании с Яковом Яковлевым Николай Васильев приглашал Яковлева притти 29 марта в трактир у Покровского моста и обещал познакомить Яковлева с одним господином, который может подробно рассказать, каким образом предполагается осуществить весь план уравнения крестьян с другими сословиями. 29 марта, в указанном Яковлевым трактире были задержаны вместе с ним: крестьянин Московской губернии, Дмитровского уезда, дер. Высоковой Николай Васильев и крестьянин Боровского уезда, дер. Добриной Иван Васильев Баринов. При Николае Васильеве оказался узел грязного белья, по преимуществу женского, относительно которого он заявил, что таковое куплено им на рынке.

Подтверждая в общих чертах об'яснение Якова Яковлева, обвиняемый Иван Васильев Баринов показал, что он давно уже знаком с рабочим Николаем Васильевым. Этот последний свел его с другим рабочим Петром Алексеевым. Васильев и Алексеев убедили его, Баринова, пристать к их революционному кружку, имеющему целью сравнять все сословия, уничтожить правительство, дворян и произвести резню. Прочитав две переданные ему этими лицами книги: „Сказку о четырех братьях" и „Чтой-то, братцы", Баринов, усмотрев преступность их содержания, пожелал отстать от кружка, но Николай Васильев и Петр Алексеев об'явили ему, что теперь уже поздно, и в случае его, Баринова, отказа, он может погибнуть. Вследствие такой угрозы Баринов продолжал получать книги преступного содержания и познакомился через Николая Васильева с каким-то Михаилом Петровым, принадлежащим к тому же революционному кружку. Книга „Емелька Пугачев" передана Якову Яковлеву им, Бариновым, по совету Васильева.

Обвиняемый Николай Васильев отказался от всякого участия в революционной пропаганде, опровергал оговор Яковлева и не пожелал указать своего местожительства. Между тем, брат Баринова, Прокофий Баринов, с своей стороны, подтвердил, что оговоренные Бариновым лица и перед ним развивали те же преступные идеи о необходимости бунта и уничтожения правительства.

Через четыре дня после ареста Николая Васильева, в Жандармское Управление явилась крестьянка Дарья Иванова Скворцова и, об'явив себя любовницей Николая Васильева, заявила, что в виду ареста Васильева она желает указать тех лиц, которые его погубили. Скворцова указала при этом адрес общей квартиры этих лиц, добавив, что лица эти, собираясь переехать на новую квартиру, уложили уже все свои вещи.

Вследствие подобного заявления Скворцовой и по ее указанию 4 апреля был произведен в Москве, в доме Корсак, обыск. По обыску, в отдельном флигеле, были арестованы 7 человек мужчин и две женщины. Из женщин одна была одета в крестьянское платье, а другая в обыкновенное городское. Обе они отказались об'явить свое звание и назвались: первая буквой А, а вторая Софьей Илларионовной—с'емщицей квартиры. Из семи мужчин один, назвавшись сначала буквой Б, заявил затем, что он—дворянин Иван Джабадари; другой назвался буквой В, третий—крестьянином Василием Григорьевым; четвертый—мещанином Степаном Ивановым, пятый—мещанином Семеном Ивановым Агаповым, шестой и седьмой—крестьянами Петром Алексеевым и Пафнутием Николаевым. В печных душниках квартиры найдены были два паспорта: один на имя крестьянки Анны Степановой, а другой—на имя крестьянина Федора Михайлова.

По показанию Дарьи Скворцовой, она жила в Москве вместе с Николаем Васильевым до февраля месяца 1875 года на фабрике Турне. Перед праздником Рождества у Васильева стал бывать его знакомый Петр Алексеев. С появлением Петра Алексеева, Васильев начал ходить по трактирам, и у него пропала охота к работе. В феврале месяце 1875 г. Николай Васильев об'явил Скворцовой, что он больше жить на фабрике не будет, а наймет квартиру и примет к себе нахлебников-слесарей, вследствие чего Скворцова переехала с Васильевым в особую квартиру в Москве, в Сыромятниках, в доме Костомарова. У них на этой квартире поселились женщины под именами Аннушки, Маши и Наташи и мужчины: Михаил, Федор и Василий. Звания их ей, Скворцовой, неизвестны, но из разговоров она понимала, что лица эти живут под чужими именами и с чужими паспортами. Маша и Наташа поступили работницами на фабрику Носовых, а Аннушка—на фабрику Лазарева. Раз как-то Федор привез какие-то книги, которые Михаил через неделю куда-то увез. В праздничные дни к жильцам на квартиру приходили разные рабочие, и этим последним читались книги: „Сказка о четырех братьях“, „Хитрая механика“ и др. Из лиц одного с ними образа мыслей ходили в квартиру какой то Иван Иванович, крестьянин Петр Алексеев и Иван Баринов. Скворцовой известно, что к той же компании принадлежали еще две сестры: Наташа, Вера и женщины, которых называли хохлачкой Феклушей, Сашей и Дуняшей. Они все одно время жили у них на квартире. Все это общество вообще рассуждало часто о том, что они отвергают Бога, религию, брак, хотят уравнять бедных и богатых, устроить

бунт и резню, уничтожить правительство, чиновников и дворян, а для подготовки крестьян к восстанию раздавать им книжки и советовать больше читать их. В субботу, на масляной неделе, в отсутствии всех жильцов из квартиры, приходил какой-то господин—спрашивал Наташу. Заподозрев в этом господине сыщика, все жильцы немедленно переехали на другую квартиру, скрыв свой адрес от Скворцовой. Переехав в свою очередь с Васильевым на новую квартиру в Лефортово, Скворцова стала стирать и шить белье на эту же компанию. Белье приносил и относил Николай Васильев, а иногда и хохлачка Феклуша. Так как за белье деньги платили неаккуратно, то она вынуждена была отыскать квартиру этих лиц. В это время Николай Васильев был арестован, и она решилась для спасения его выдать правительству лиц, сбивших Васильева с пути. Все участники этой компании собирались после Пасхи раз'ехаться по разным губерниям для преступной пропаганды на фабриках и в народе, причем все они угрожали Скворцовой убить ее, если она их выдаст; белье, отобранное у Васильева в трактире, Скворцова признала за белье, принадлежащее лицам, арестованным в доме Корсак. Из числа лиц, арестованных в этом доме, Дарья Скворцова признала в Иване Джабадари—человека, называвшегося Михаилом, в Степане Иванове—Ивана Ивановича, в лице, назвавшемся буквой В,—Федора, женщине, назвавшейся буквой А,—Машу и в Софье Илларионовне—Аннушку. Затем, при дальнейшем производстве дознания, из числа арестованных в Москве, Иванове-Вознесенске, Туле и Киеве лиц, Скворцова признала: в княгине Цициановой (рожденной Хоржевской) хохлачку Феклушу, в дочерях коллежского асессора Вере и Ольге Любатович—Веру и Наташу, в дочери почетного гражданина Александровой—Сашу и в дворянке Лидии Фигнер—Дуняшу, при чем относительно последней Скворцова, не зная при дознании имени Фигнер, об'яснила, что Дуняшу иногда звали „Лидькой".

С своей стороны, в отмену первого своего показания, Николай Васильев вполне подтвердил со всеми вышеизложенными подробностями показание Скворцовой, добавив, что с Михаилом и Федором его познакомил крестьянин Петр Алексеев. В это время Михаил и Федор жили на одной квартире с Васильевым. Михаил уговорил его бросить фабрику и, нанявши отдельную квартиру с Скворцовой, взять их к себе в нахлебники, что Васильев и исполнил. Мебель и посуду для квартиры купил Михаил. Кроме лиц, названных выше, к той же компании принадлежит, по словам Васильева, крестьянин Филат Егоров, который бывал у него на квартире в Сыромятниках. При этом Николай Васильев подтвердил вполне как показание Якова Яковлева, так и оговор Ивана Баринова.

Задержанный при обыске в доме Корсак московский мещанин Семен Иванов Агапов показал, что он живет в одной квартире с слесарем Петром Степановым, назвавшимся при аресте Степаном Ивановым. Попал он к нему на квартиру будто бы совершенно случайно и с 24 марта

поселился у него. Лицо, назвавшееся Петром Степановым, внушало ему мысли о необходимости уравнения всех сословий и обещало ему, Агапову, познакомить его с своими товарищами, распространяющими среди рабочих те же идеи. С этою целью они вдвоем 31 марта ходили в дом Корсак, но там застали только одну Софью Илларионовну; придя же во второй раз 3 апреля, были арестованы вместе с другими лицами. На чердаке дома у Петра Степанова спрятано было много запрещенных книг, из числа которых одну—„Емелька Пугачев"—Петр Степанов читал ему вслух. К Степанову приходила какая-то Феклуша, и они вместе куда-то уходили. Крестьян Пафнутия Николаева и Петра Алексеева Агапов знает давно, и они говорили ему, что бежали с фабрик, где работали, боясь ответственности за распространение между рабочими книг преступного содержания. По указанию Агапова, в доме Федоровой, где проживал Агапов со Степановым, был произведен обыск, по которому на чердаке зарытыми в землю и спрятанными под крышу были найдены следующие, принадлежащие, по словам Агапова, Степанову книги: „История французского крестьянина", „Парижская Коммуна", „Хитрая Механика", 2 экземпляра „Сборник новых песен и стихов", „Сказка о четырех братьях", „Емелька Пугачев", о „Мученике Николае" и 2 экземпляра „Что-то, братцы". Кроме того, найден был клочек масляной бумаги, на котором оказались снятыми с паспорта Агапова подписи. Паспорты Агапова и лица, жившего с ним под именем Петра Степанова Мудрова, представлены хозяйкой дома Матреной Федоровой, причем как Федорова, так и дворник ее дома Иван Щедрин признали в Степане Иванове своего жильца, Петра Степанова Мудрова.

Иванов, назвавшийся при обыске в доме Корсак иркутским мещанином Степаном Ивановым, показал, что именами Петра Степанова и Ивана Иванова он никогда не назывался, что он австрийский подданный, бывший студент Технологического института Александр Осипов Лукашевич, и что в дом Корсак он попал случайно, будучи приглашен неизвестным господином, каким-то Павловым, притти к нему, Павлову, для получения столярной работы. С своей стороны крестьянин Василий Григорьев, утверждая, что таково его звание, об'яснил, что он, имея надобность в мебели, желал купить ее у Сухаревой башни, но там неизвестная ему женщина пригласила его за покупкой мебели к себе на квартиру, в д. Корсак, куда он пришел и где его арестовали. По указанию Василия Григорьева была разыскана его квартира, и у домовой хозяйки был отобран паспорт, по которому Василий Григорьев проживал. Паспорт этот оказался, по справкам, подложным. По показанию хозяина дома Кузьмина и его жены, Григорьев переехал к ним лишь 29 марта. К нему приходил какой-то человек, по имени Иван, и две хорошо одетые женщины. В квартире Григорьева найдено пальто, в кармане которого оказался паспорт, выданный тифлисским полицеймейстером на имя дворянина Михаила Мачевариани. По пред'явлении Кузьмину и его жене обвиняемого, назвавшегося буквою В., они признали в нем того Ивана, который ходил к Василию Григорьеву и два раза у него ночевал. В виду

таковых данных, Василий Григорьев изменил свое показание и об'яснил, что его зовут Василием Григорьевым Георгиевским, что он потомственный почетный гражданин, воспитывался в Технологическом институте и был в Медико-Хирургической Академии, но курса нигде не окончил. Паспорт, по которому он проживал, подложный и куплен им в Орле. Пальто и вид Мачевариани принадлежат неизвестному ему человеку, по имени Ивану. С Иваном он познакомился случайно, на улице, и не знает ни его звания, ни местожительства.

Затем, крестьяне Смоленской губернии, Сычевского уезда, деревни Новинской Петр Алексеев и Пафнутий Николаев, не признавая себя виновными в распространении книг преступного содержания, показали, однако, что они бежали — первый с фабрики Тимашева, а второй—с фабрики Соколова, боясь ответственности за распространение подобных книг. После побега с фабрик они проживали в Москве без определенных занятий и места жительства. При этом Петр Алексеев об'яснил нахождение свое в доме Корсак тем, что был приглашен ночевать неизвестной ему женщиной, а Пафнутий Николаев—тем, что в дом Корсак привел его Петр Алексеев, чего последний не подтвердил.

Дворянин Тифлисской губернии Иван Спиридонов Джабадари показал, что с Софьей Илларионовой, фамилию которой он не скажет, он познакомился в 1874 г. за границей, в Париже. Встретив случайно ее в Москве, приходил раз пять на ее квартиру, в доме Корсак, где и был в одно из таковых посещений задержан. Из числа арестованных лиц, кроме Илларионовой, знает только Николая Васильева, у которого бывал в Сыромятниках несколько раз. Из остальных арестованных с ним лиц никого не знает и в распространении революционных идей и книг преступного содержания виновным себя не признает.

Неизвестный мужчина, назвавшийся буквою В., до самого конца дознания отказывался как от об'яснения своего имени, так и от дачи каких бы то ни было показаний. Между тем, звание этого лица было обнаружено следующим образом: при дальнейшем производстве дознания в Москве, в квартире именовавшегося дворянином Зедгенидзе (кн. Цицианова), по обыску, в числе других бумаг была найдена копия письма одного арестанта. В письме этом арестант говорит, что он откроет свое звание на предварительном следствии, перечисляет некоторых своих товарищей, проживающих на Кавказе, и утверждает, что, действуя на этих товарищей именем автора письма и поработав над ними, можно сделать из них хороших пропагандистов. По пред'явлении фотографической карточки лица, назвавшегося буквою В, на Кавказе лицам, указанным в вышеприведенном письме, дворянин Трофим Бульбуг и помощник землемера Авазов признали в этой карточке: первый—своего знакомого, а второй—своего товарища по школе межевщиков, дворянина Михаила Чекоидзе, при чем дополнили, что Чекоидзе, не кончив курса в школе межевщиков, уехал в Петербург, а оттуда за границу. По получении этих сведений с Кавказа, обвиняемый Иван Джабадари признал также это лицо за Чекоидзе, показав, что он хорошо его знает и в 1874 г.

ездил вместе с ним за границу. Михаил Чекоидзе первоначально отрицал справедливость уличающих его показаний и только при заключении дознания признал свое настоящее звание, заявив, что по существу дела он никаких показаний давать не желает.

Арестованные в доме Корсак две женщины показали следующее: а) неизвестного звания женщина, назвавшаяся сначала буквою А., об'яснила, что ее зовут Бетя Абрамовна Каминская, что она дочь Мелитопольского купца. В 1874 г. она жила в Цюрихе, затем в Берне. За-границей она познакомилась с Софьей Илларионовой, с которой по возвращении из за-границы, и жила вместе в Петербурге. Здесь они условились изучать быт русского народа, с каковой целью, приехав в Москву, поселились вместе в доме Корсак, где и были арестованы. По показанию Каминской, обвиняемых Ивана Джабадари и букву В. Каминская также знала за-границей. б) Обвиняемая Софья Илларионова, первоначально отказавшаяся об'явить свое звание, а на последующем допросе об'яснившая, что она—дворянка Тамбовской губернии Бардина, показала, что приехала в Москву с своим знакомым, каким-то Павловым. Этот последний скоро уехал из Москвы, а она наняла себе квартиру в д. Корсак, куда к ней приехала жить ее подруга Каминская. В преступной пропаганде виновной Бардина себя не признала. Джабадари и букву В. она знает по заграничной жизни, но как звание последнего—она не скажет. Остальные лица, арестованные вместе с нею, ей неизвестны, и собрались у ней в квартире для покупки мебели, посуды и старья, которое она желала продать, переезжая на новую квартиру.

С своей стороны, обвиняемые сестры Любатович, княгиня Цицианова, Александрова и Фигнер отрицают показание Николая Васильева и Скворцовой, уличающих их в том, что они проживали у Васильева в Сыромятниках под вымышленными именами.

Между тем, преступная деятельность вышеисчисленных обвиняемых, кроме обстоятельств уже указанных, вполне доказывается следующими данными, обнаруженными дознанием:

1. По отношению к обвиняемым — Софье Бардиной, Бети Каминской, Ольге Любатович, Вере Любатович, княгини Цициановой и Варваре Александровой показания Дарьи Скворцовой и Николая Васильева нашли себе полное подтверждение в об'яснениях обвиняемого Семена Агапова, подтвердившего то обстоятельство, что лица эти проживали в квартире Васильева, в Сыромятниках, под теми именами, как о том показали Скворцова и Васильев, причем Агапов признал в княгине Цициановой ту саму Феклушу, которая приходила несколко раз и уводила с собой жившего с Агаповым Лукашевича. Кроме того, по пред'явлении Каминской и Бардиной мастеру фабрики Лазаревых в Москве, Ивану Юрсу и служащим на той же фабрике Григорию Петрову, Терентию Григорьеву и Павлу Игнатьеву, они признали в Бардиной работницу, жившую на фабрике под именем Анны Зайцевой,а а в Каминской—женщину, приходившую с Зайцевой наниматься на фабрику под видом простых работниц. При этом сви-

детели об'яснили, что Бардина, работая на фабрике, ходила по ночам в мужские спальни и читала рабочим книжки. Раз как-то ее застал в спальне Григорий Петров и выгнал с фабрики, причем на постели рабочих Бардиной забыты были: „Сборник новых песен и стихов“ и „Хитрая механика“. Книжки эти остались у рабочих, и первая из них представлена к делу, а вторая затерялась. Затем сторож фабрики Носовых Архип Барышников, конторщик той же фабрики Никита Муханов и рабочий Ефим Данилов признали в Каминской работницу их фабрики, солдатку Марию Краснову, а Никита Муханов, кроме того, признал в Ольге Любатович работницу Наталью Волкову. По показаниям этих лиц Каминская ходила к рабочим на мужскую половину, читала „Сказку о четырех братьях“ и „Что-то, братцы“, а Ефиму Данилову передала „Хитрую механику“, которую он с Барышниковым сжег, увидав, что книжка дурная. Проживали эти лица на фабриках по подложным паспортам. Дело по обвинению дочери купца Бети Каминской дальнейшим производством прекращено, так как она во время дознания впала в тяжкую душевную болезнь. Что касается до обвиняемой Лидии Фигнер, то Дарья Скворцова об'яснила, что Лидия Фигнер под именем Дуняши работала на какой-то фабрике на Девичьем поле, в Москве, где ее поймали при чтении запрещенных книг. Дуняша, бросив на фабрике свой сундук и паспорт, по которому жила, успела с фабрики скрыться. В подтверждение показания Скворцовой дознанием обнаружено, что на Девичьем поле, на фабрике Гюбнер, с 19-го марта до 5-го апреля 1875 года, проживала какая-то солдатка Авдотья Степанова, замеченная по своему особенному развитию, и что солдатка эта, оставив на фабрике свой сундук и паспорт, куда-то скрылась. По пред'явлении Лидии Фигнер рабочим фабрики Гюбнер, Григорию Васильеву, Прасковье Федоровой и Ольге Ивановой, эти свидетели показали, что Фигнер похожа на женщину, называвшуюся Авдотьей, но только последняя ходила не в городском, а в крестьянском платье (Фигнер была пред'явлена свидетелям в городском платье).

2. По отношению к обвиняемым Ивану Джабадари, Петру Алексееву, Пафнутию Николаеву и Филату Егорову дознанием выяснены следующие данные:

а) 24 марта 1875 г., вследствие заявления приказчика ткацкой фабрики братьев Тюляевых, было обнаружено распространение книг преступного содержания между рабочими этой фабрики. По произведенному обыску на чердаке фабрики найдены 6 экземпляров „Хитрой механики“, столько же экземпляров „Сказки о четырех братьях“, 5 экземпляров „Что-то, братцы“ и по одному экземпляру „Крестьянские выборы“ и „История французского крестьянина“. Книги эти, как оказалось, принесены на фабрику рабочим Афанасием Ермолаевым и получены им от его родного племянника крестьянина Филата Егорова, того самого, который по показанию Николая Васильева, посещал Джабадари в его квартире, в Сыромятниках. Получены были Ермолаевым эти книги при таких обстоятельствах: Филат Егоров, придя на фабрику Тюляевых

перед масленой неделей 1875 года, вызвал в трактир Ермолаева и Егора Платонова. В трактире они нашли Филата Егорова и с ним двух незнакомых им людей—слесаря Михаила и какого-то Федора. Лица эти угощали их водкой и чаем. Через несколько времени тот же Егоров снова позвал их обоих в трактир и с ними еще несколько рабочих. В этот раз в трактире был только Егоров с Михайлой, и последний угощал рабочих чаем, толковал им про какое-то братство. После этого Егоров приходил с крестьянином Акимом Трофимовым и, вызовя снова Ермолаева и Платонова в трактир, передал каждому из них по одному экземпляру „Хитрой механики", „Сказки о четырех братьях" и „Что-то, братцы". Кроме этих книг Филат Егоров передал Ермолаеву великим постом целый сверток книг, советуя читать их самому и давать читать другим рабочим, что Ермолаев и начал делать. Когда же рабочие, прочитав книги, стали говорить, что книги эти нехороши, он, Ермолаев, запрятал их на чердак и более читать никому не давал. То же самое подтвердили Платонов и Трофимов, добавив, что узнав о вредном направлении книг, они сожгли эти книги. Кроме того Ефрем Платонов заявил, что еще в начале 1875 г. в Москву приехал его односелец, крестьянин Петр Алексеев и, придя к нему с каким-то неизвестным ему человеком, вызвал его в трактир и передал „Сказку о четырех братьях", советуя ее прочесть. Через несколько времени Петр Алексеев снова вызвал его в трактир, где познакомил его с личностью, которую он называл приехавшим из Петербурга слесарем Михайлой. Этот последний дал ему „Хитрую механику" и „Сборник новых песен и стихов". Затем, по показанию рабочего Филиппа Иванова, тот же Петр Алексеев передал и ему, Иванову, „Хитрую механику" и „Емельку Пугачева". Не сознавая преступности содержания этих книг, Филипп Иванов читал их рабочим вслух. Обвиняемый Филат Егоров был разыскан и задержан в Москве Афанасием Ермолаевым и его женой, а Петр Алексеев в ночь производства обыска на фабрике Тимашева с фабрики скрылся, и был задержан только в ночь на 4-е апреля в числе прочих в доме Корсак. По пред'явлении обвиняемого Ивана Джабадари рабочим тюляевской фабрики, он был признан за того самого Михайлу, который угощал вместе с Филатом Егоровым рабочих в трактире чаем.

б) 28-го марта московской полиции с фабрики купца Емельянова и Рошфор дано было знать, что между рабочими фабрики появилась „Хитрая механика" и „Сказка о четырех братьях", вышедшие из рук рабочих Власа и Никифора Алексеевых. Хотя по обыску на фабрике не было найдено книг преступного содержания, но Влас и Никифор Алексеевы показали, что подобные книги у них были, и получили они их от своего родного брата Петра Алексеева. Книги эти они давали читать двум рабочим, но, узнав, что это дурные книги, немедленно сожгли их.

в) Независимо от распространения книг на тюляевской фабрике, крестьянин Филат Егоров уличается еще в передаче крестьянину Богородского уезда, деревни Тереньковой, Мирону Александрову Емельянову

трех книг преступного содержания, а именно: „Хитрой механики“, „Сборника новых песен и стихов“ и „Что-то, братцы“. Книги эти были привезены в деревню Тереньковуı, по показанию Мирона Александрова Емельянова, Филатом Егоровым, который хвалил их ему и советовал прочитать. Неоднократный приезд Филата Егорова в деревню Тереньковуı удостоверен показаниями крестьян означенной деревни и крестьянина Семена Григорьева Емельянова, с которым Филат Егоров в первый раз приезжал в деревню Тереньковуı.

г) 28 марта 1875 года, в Москве, на фабрике купца Соколова, у рабочих фабрики Осипа Павлова и Тимофея Васильева был отобран один экземпляр „Хитрой механики“. Спрошенный по этому поводу Осип Павлов показал, что 20 марта Тимофей Васильев принес ему книжку „ Чтой-то, братцы“ и просил ее посмотреть, какая она, но он, Павлов, за недосугом не успел прочесть книжку, и Васильев отдал ее назад рабочему той же фабрики Пафнутию Николаеву, от которого он ее и получил. Тимофей Васильев, вполне подтверждая показание Осипа Павлова, добавил, что и отобранную у него „Хитрую механику“ он получил от того же Пафнутия Николаева, который насильно навязал ему эти книги, ибо они, ему, Васильеву, как человеку совершенно неграмотному, не были нужны. Показание Павлова и Васильева о способе приобретения им книг преступного содержания нашло себе полное подтверждение в том обстоятельстве, что в самый день отобрания у Васильева „Хитрой механики“ Пафнутий Николаев бросил на фабрике свои вещи, неизвестно куда скрылся и был задержан в числе прочих в доме Корсак. Как ранее было сказано, обвиняемые Иван Джабадари, Петр Алексеев и Пафнутий Николаев не сознались в совершенных ими преступлениях, крестьянин же Филипп Егоров, хотя первоначально и отказывался от всякого участия в распространении книг преступного содержания, но затем, будучи уличен вышеизложенными обстоятельствами дела, об'яснил, что в трактире около фабрики Тюляевых, он познакомился с двумя слесарями—Михайлом, Василием и еще третьим, ему неизвестным. У этих лиц он бывал на квартире, иногда ночевал и встречал у них разных мущин и женщин. В этой квартире он видел принадлежащий Михайлову чемодан. Из чемодана Михайлов доставал книги и давал Филату Егорову, прося его раздавать их рабочим. В первый раз Михайлов дал ему 6 экземпляров „Хитрой механики“, „Сборник новых песен и стихов“ и „Чтой-то братцы“, а во второй раз, кроме тех же книг, еще „Историю французского крестьянина“, „Парижскую коммуну“ и „Емельку Пугачева“, часть этих книг он распродал, а часть у него растащили. Затем Филат Егоров признал, что рабочим тюляевской фабрики, а равно и Мирону Емельянову, книги преступного содержания были переданы им, Филатом Егоровым. По пред'явлении Егорову Ивана Джабадари, Егоров признал в нем того Михайлу, который снабжал его книгами.

Из обстоятельств дела, изложенных выше, видно, что из числа лиц, проживавших в г. Москве, сначала в квартире крестьянина Николая Васильева в Сыромятниках, а затем в д. Корсак в квартире Бардиной,

и занимавшихся преступной пропагандой на московских фабриках, от дознания успели скрыться пять женщин, а именно: Ольга и Вера Любатович (Наташа и Вера), Лидия Фигнер (Дуняша), Варвара Александрова (Саша) и княгиня Александра Цицианова, рожденная Хоржевская (хохлачка Феклуша).

Возникшим в августе, 1875 г., почти одновременно в Иваново-Вознесенске, Москве, Туле, Киеве и Одессе, дознанием обнаружено, что женщины эти и после арестов, произведенных по дознанию о дворянине Джабадари и других, не оставили свои преступные затеи и продолжали заниматься той же пропагандой, которой занимались и ранее. Соединившись снова с несколькими лицами одного с ними образа мыслей, они снова сплотились в организованное преступное сообщество, имевшее свой устав с достаточно определенными условиями совместной деятельности, целями, которых сообщество это стремилось достигнуть, с кассой и управлением преступного сообщества. Потерпев неудачу на московских фабриках в силу несочувствия фабричного населения к идеям, пропагандируемым обвиняемыми, а также вследствие возникшего о них дознания, лица, составившие преступное сообщество, организовавшие в Москве управление (администрацию), замыслили перенести свою деятельность в г. Иваново-Вознесенск, Одессу, Киев и Тулу, что вполне согласуется с показаниями Николая Васильева и Дарьи Скворцовой, утверждавших, что после пасхи 1875 г. пропагандисты, проживавшие в д. Корсак, хотели раз'ехаться по губернии для преступной пропаганды на провинциальных фабриках. В вышеуказанных городах члены сообщества, имея постоянное между собою сношение, старались поступать на фабрики и, где это удавалось, распространяли между рабочими уже исчисленные выше книги преступного содержания. Что деятельность членов сообщества, обнаруженная дознанием, возникшим в августе 1875 года, есть продолжение того же дела, которое задумано было лицами, арестованными в доме Корсак, это доказывается как характером самой деятельности, приемами пропаганды, взаимной переписки членов, сношениями с арестованнными лицами, а также и тем, что, с одной стороны, главными лицами и руководителями в организованном сообществе являются те пять женщин, которые скрылись из дома Корсак, а, с другой стороны, участием в ивановской общине двух лиц, освобожденных на поруки по дознанию о Джабадари и других. Дознанием доказано, что Лидия Фигнер и Варвара Александровна играли главную роль в обществе пропагандистов в Иваново-Вознесенске, Ольга Любатович в Москве, как член администрации сообщества, Агапов и Баринов были членами ивановской общины.

(Процесс 50-ти. Изд. Саблина. Стр. 1—8).

Устав и программа тайного общества.

(Из документов судебного следствия).

Документ этот представляет отчетливую характеристику образа действий пропагандистов и оснований, на которых учреждено было тайное общество с целью ниспровержения существующего порядка управления. Документ этот служит самой убедительной уликой к обвинению всех привлеченных по настоящему делу лиц, преступная деятельность, которых согласовалась с началами, положенными в основание этой программы, и таким образом, сама программа не представляется одним только проектом, но была осуществлена и применена на деле. Содержание означенного документа следующее:

I. Принципы, на которых основывается организация 1. Абсолютное равенство всех членов во всех делах организации. 2. Полная солидарность. 3. Полное доверие и откровенность в делах организации.

II. Способ учреждения общины. 1. Всякая новая община учреждается членами одной из существующих общин, на основании программы этой общины.

III. Условия приема в члены общины. 1. Только та личность, которая искренно и всецело посвятила себя революционной деятельности, может быть членом общины. 2. Любовь и дружба не должны служить помехою для революционной деятельности: всякий должен быть готов ради дела порвать все личные связи. 3. Самоотверженность и способность хранить тайну — необходимые качества члена организации. 4. Член должен быть в положении простого работника, об исключениях решает община. 5. Личность должна быть способна к исполнению, по крайней мере, одной из главных функций революционной деятельности. 6. Личность, прежде чем быть принятою в члены общины, должна быть испытана на деле. 7. Прием членов должен быть единогласный.

IV. Обязанности членов общины. 1. Все дела организации член должен хранить в тайне. 2. Каждый член должен давать отчет общине о своей революционной деятельности. 3. Все сведения, касающиеся какой-нибудь партии, кружка или лица, находящихся вне нашей организации, или в связи с ней, член обязан сообщать общине, за исключением тех сведений, которые в революционной практике называются секретами; но для прочности дела признается необходимым сообщать в подробностях нескольким лицам организации по выбору общины. 4. Член общины не в праве вступать в договоры в важных делах с лицами, кружками и партиями, состоящими вне нашей организации, без согласия общины, а в мелких делах обращается за советом к администрации. 5. Сведения, получаемые чрез общину о деятельности лица, партии, или кружка, не могут быт никому сообщены без согласия общины. 6. Член обязан вы-

полнять возложенные на него общиною поручения. 7. Член общины не имеет права отлучаться из места своего нахождения без согласия общины. 8. Член общины не в праве переходить из одной общины в другую без обоюдного согласия общины. 9. Член не может иметь личной собственности.

V. Права члена. 1. Все члены имеют право на равное участие в делах общины. 2. Каждый член имеет право требовать нужные сведения от управления. 3. Каждый член имеет право контроля. 4. Члену предоставляется право созывать исключительные собрания.

VI. Администрация. 1. Управление назначается для того, чтобы текущие дела не останавливались бы от того, что все члены общины находятся на работе. 2. Управление освобождается от работ на фабриках, заводах и мастерских. 3. Члены управления назначаются не по выбору, а по очереди и взаимному соглашению членов. 4. В управлении должны перебывать все члены общества. 5. В состав управления должны всегда входить члены как из интеллигенции, так и из рабочих. 6. Число членов управления определяется общиною сообразно ее нуждам (в настоящее время управление состоит из трех членов) 7. Каждая очередь управления продолжается месяц. 8. Управление должно вести постоянные сношения с другими общинами по части книжного дела, денег и вообще ведение переписки по делам общин. 9. Управление обязано заботиться о найме квартир и снабжении их всем нужным. 10. Управление хранит книги, деньги, в количестве, определенном общиною, адресы и т. д. 11. Управление должно предупреждать об опасности, угрожающей членам общины и вообще организации. 12. При аресте кого-либо из членов общины, управление должно уведомлять об этом всех членов как своей, так и других общин. 13. Управление поддерживает сношение с заключенными и сообщает общине о причинах ареста и о показаниях кого-либо из членов общин. 14. При выдаче сумм на какие-либо предприятия свыше определенной цифры, управление обязано предварительно снестись об этом с общиною.

15. Права управления: а) управление может входить в сношение с революционными кружками, стоящими вне общины; б) управление снабжает роволюционные кружки деньгами, книгами и всем нужным для революционной деятельности в размере, определенном общиной. 16. Действия администрации контролируются всей местной общиной. 17. Для удобства сношения одной местной общины с другой, последняя уведомляет о личном составе управления.

VII Способ действия во время пропаганды. 1. Члену общины предоставляется полнейшая самостоятельность в способе революционной деятельности, не вредя самой организации общины. 2. Член общины должен стараться поставить себя в денежном отношении к тем, среди которых он пропагандирует, так, чтобы они относились к нему, как к работнику, иначе говоря, он не должен допускать никаких денежных подарков. 3. Член общества действует при пропаганде только от своего имени, не подавая ни малейшего вида о суще-

ствовании у него организованного кружка или артели, до тех пор, пока некоторые из членов общины не признают его надежным, и пока вся община не признает нужным сообщить о своей организации 4. Член общины не имеет права приводить кого-либо на квартиру общины, не удостоверив хотя бы некоторых из членов в благонадежности его. 5. Пропагандирующий не должен довольствоваться лишь тем, что пропагандируемый согласен иметь тесную связь с ним, или с несколькими другими. а обязан выпытать у него, сочувственно ли он относится к идее общинной организации. 6. Член-пропагандист обязан, во имя идеи-организации, не пропускать ни одного революционного кружка, ни даже одной революционной силы. 7. Тайну организации общины каждый член доводит до такого максимума, что он отрекается от близкого знакомства даже перед революционерами, не входящими в организацию, если отречение такого рода не вредит общине.

VIII. Группа наиважнейших способов при пропаганде. 1. Способ простого разговора. 2. Способ чтения книжек, какие находит нужным пропагандист. 3. Способ возбуждения. 4. Способ простого сплачивания. 5. Способ создавания кружка, находящегося вне организации общины. 6. Община обязывает своих членов учреждать кассы, библиотеки среди организованных ими кружков. 7. Члены общины, живущие среди рабочих, должны еще стремиться к тому, чтобы на местах жительства устраивались сходки организованных ими кружков.

IX. Об агитации. А. Разница между пропагандой и агитацией состоит в том, что первая служит для выяснения взглядов на революционное дело, а агитация имеет целью возбудить личности или кружки прямо на активную революционную деятельность. В. Агитация идет рядом с пропагандой, она состоит: а) в побуждении других лиц и кружков к пропаганде, б) к образованию артелей, касс и библиотек и в) к образованию органов вне нашей организации. С. Чистая агитация. 1. В мирное время: а) она ведется посредством организованных шаек; б) шайки образуются или лицами нашей организации, или же лицами, стоящими вне нашей организации; в последнем случае необходимо, чтобы существующая шайка доверяла бы одному из членов общины; в) цель подобных шаек— наводить страх на правительство и на привилегированные классы, и, кроме того, отводить взоры правительства от революционных деятелей; г) поднимать дух народа и этим делать его более способным к принятию революционных идей; д) чрез них приобретать денежные средства для деятельности общины; е) употреблять их на помощь при освобождении заключенных; ж) направления шаек должно быть чисто социально-революционное. 2. Во время бунтов: а) при бунтах деятельность членов состоит в направлении бунтов; б) при бунтах выдвигаются личности, и члены общины должны давать им направление социально-революционное; в) относясь сочувственно к движению других общин, наша община помогает средствами и всем, чем может, и рядом с этим, если она находит возможным, призывает к движению в своем месте; г) участие членов общины в самом движении

допускается в таком размере, чтобы община не уничтожалась и тем не вредила всеобщей организации.

X. Денежная сторона организации. 1. Каждая община имеет свой самостоятельный фонд. 2. Средства для пополнения фонда должны быть такие, которые не вредили бы безопасности и кредиту организации. Вообще, каждый член обязан добывать средства из доступных ему источников по своему усмотрению. Никто из членов общины не может исключительно заниматься добыванием денежных средств, отдельные же случаи, когда необходимо участие известных лиц, решает община. 3. Хранение денег поручается управлению общины. Большие суммы не должны сохраняться в руках управления. Они будут храниться по частям в банках. 4. Сумма, необходимая на постоянные расходы управления и каждого члена, определяется общим собранием сообразно нуждам на месяц. 5. Кроме того, как управление, так и каждый член должны располагать деньгами на непредвиденные расходы не свыше количества, определенного общиною. 6. Заем у лиц, состоящих вне организации, заключается отдельными членами.

XI. Книжное дело. 1. Община высылает на время лиц, устраивающих сношения с издателями книг. 2. Эти же лица устраивают пути для перевозки книг через границу и затем передают управлению.

XII. О собраниях общины. 1. Община собирается раз в месяц для обсуждения текущих дел. 2. Время и место назначаются управлением. 3. Собрание считается действительным только тогда, когда все члены предупреждены, и отсутствующие заявят причину неявки.

XIII Условия межобщинного сношения. 1. Пользование взаимно деньгами из общего фонда. 2. Уведомление об общинном шифре. 3. Пользование общим словарем для телеграмм. 4. Необходимо давать знать о пароле путем телеграммы. 5. Извещение о кличках личного состава администрации. 6. Извещение о вводе нового члена. 7. Предупреждение общинами друг друга об опасности. 8. Уведомление о движении в своей местности, а также в местностях, где не имеется общины всероссийской организации. 9 Совещание об устройстве и содержании типографии и книжное дело за границей. 10. О периодических изданиях. 11. Уведомление о секретных адресах общины...

(Процесс 50-ти. Изд. Саблина. Стр. 23—25)

Преступное сообщество.

...Все вышеназванные лица, допрошенные в качестве обвиняемых, кроме показаний, в подлежащих местах настоящего обвинительного акта указанных, в большинстве случаев уклонялись давать какие либо показания, стараясь скрыть свои взаимные сношения, и упорно отказывались от всякого друг с другом знакомства. Между тем, их взаимная связь и принадлежность к одному и тому же преступному сообществу, кроме обстоятельств дела, подробно изложенных, доказывается общностью имущества, употреблением условных кличек и шифров. Кроме пользования каждым из обвиняемых денежными средствами из общественных сумм, показаниями самих подсудимых и их взаимною перепискою вполне доказано, что все необходимые вещи, белье, оружие получалось пропагандистами от администрации общества, все заработанные деньги вносились в общую кассу. Наглядным доказательством общности имущества служат осмотры белья, найденного у разных обвиняемых. Из этих осмотров видно, что все почти женщины носили белье, принадлежащее всем им вместе, а в квартире администрации находился склад белья с метками всех обвиняемых.

Затем, програма общества предписывает членам его употребление кличек. Из изложенного видно, что клички действительно употреблялись между обвиняемыми. Зданович носил кличку Рыжего, князь Цицианов—Санчо, Кардашов—Мавра, Вера Любатович—Волченка, Верки, Гамкрелидзе—Гамки, Надежда Субботина—Надьки, Лидия Фигнер—Лидьки, Кикодзе — Кики. Эти клички известны были всем обвиняемым, и они употребляли их в своих взаимных отношениях и переписках. Так, в письмах Рыжего (Здановича) и Любатович к ивановским пропагандистам употреблены одни только клички, чем доказывается знание этих кличек членами ивановской общины. Кардашов употреблял эти же клички в письме к Субботиным. Надежда и Евгения Субботины сами употребляют в письмах и телеграммах клички, и подобное обстоятельство не может не служить прямым доказательством принадлежности лиц, знающих клички, к преступному сообществу.

Еще более значения для обвинения вышеназванных лиц в принадлежности их к преступному сообществу служит употребление ими общих шифров для взаимной переписки. Единство шифров, употреблявшихся разными лицами, в разных местах, не может не служить прямым доказательством принадлежности как писавшего шифрованную записку, так равно и лица, которому она предназначалась, к одному и тому же сообществу, тем более, что употребление шифров осуществляет собою в действительности программу организации революционных общин, отобранную у Здановича, в которой есть подробное указание на значение шифров, как способа сношений между членами преступного сообщества. 1) Так, в бумагах Цвиленева в квартире администрации был найден

шифр: „Чаще держать экзамены“. Этим шифром была ведена переписка администрации с Василием Георгиевским во время нахождения последнего под стражей. Содержанием писем доказано, что письма эти написаны Георгиевским. Перевод одного из этих писем сделан обвиняемою Екатериною Гамкрелидзе, документы найдены в квартире администрации. 2) Наиболее употреблявшийся между пропагандистами шифр был найден и разобран по бумагам иваново-вознесенской общины. Шифром этим: „Эй, Фомич, кубышкою владей“, были написаны следующие адресы, письма и записки: а) адресы, найденные в Иваново-Вознесенске; б) письмо, найденное в Иваново-Вознесенске, за подписью „Твой Митрий“, в котором ивановские пропагандисты предупреждались о том, что к ним направился сыщик; в) письмо, найденное в квартире администрации и написанное Лидией Фигнер, в котором эта последняя просит о высылке копии с Волчанского паспорта; г) письмо от 3-го августа Михаила Чекоидзе, перевод которого, написанный Верою Любатович, найден в дорожной сумке в квартире администрации; д) два письма Кардашова одно в Орел—Субботиным, другое в Одессу—Рыжему; е) две записки, найденные в Иваново-Вознесенске—список книг и рецепт, как вытравлять чернила. 3) После ареста ивановской общины, когда шифр „Эй Фомич“ сделался уже известным, начали попадаться письма, писанные шифром: „Эй, подлец, негодная тварь“. Этим шифром написаны: а) письмо княгини Цициановой на имя Елены Медведевой; б) письмо, отобранное у Ольги Любатович в Туле; в) письмо, написанное Надеждой Субботиной в Киев на имя Гельфман, в котором требуется скорейший приезд Рыжего в Москву, так как в Москве все арестованы. 4) Шифром „Быстро решающие задачи“, написаны записки, писанные Чекоидзе и Верою Любатович к Рыжему, во время совместного содержания их под стражей в тюрьме, а также и записка, брошенная и затем изорванная Алексеем Пуромским. 5) Обвиняемая Надежда Георгиевская желала передать своему брату записку, написанную по шифру: „Неуместно беспощадно грубиянить“. 6) Шифр: „Южный цветущий лес“, употреблялся для сношения арестованных лиц с новой администрацией. Этим шифром написаны найденные в квартире Георгиевской и Введенской письма Гамкрелидзе и Здановича. 7) Посредством седьмого шифра: „Привычки завсегда делаются потребны“ переписывались, содержась под стражей, обвиняемые Батюшкова и Цвиленев. 8) Обвиняемый Нуромский покушался через дежурного мушкетера передать записку, написанную восьмым шифром: „Рубят цветущий южный лес“. 9) Шифр: „Бродяжник, греховодник“, найденный у Здановича, писан рукою кн. Цициановой. Кроме того, найдено было у разных лиц еще семь шифров, но документов, ими записанных, обнаружено не было. Следует обратить внимание, что способ употребления шифров и написания ими записок и писем был у всех обвиняемых один и тот же. Он состоял в том, что составлялась табличка, разделенная продольными и поперечными линиями на 9 или 10 клеток. В этих клетках расписывалась фраза, составляющая шифры, так что в каждую клетку приходилось по одной букве. Каждый, как и продольный, так и поперечный

ряд клеток обозначался цифрой, так что каждая клетка, а, следовательно каждая находившаяся в ней буква, соответствовала двум цифрам: одной продольного ряда клеток; а другой — поперечного ряда. Таким образом, из перечисленных шифров и документов, ими написанных, видно, что обвиняемые употребляли сами или им предназначались письма, писанные условными и при том однообразно употребляемыми шифрами, и это обстоятельство, как и было уже замечено выше, служит непосредственным доказательством принадлежности всех их к одному преступному сообществу.

Все вышеизложенное, доказывая существование преступного сообщества и нахождения администрации общин в Москве, указывает вместе с тем, что после ареста обвиняемых в Москве в доме Корсак преступная пропаганда перенесена была, главным образом, из Москвы в губернии...

Из переписки подсудимых.

В начале августа месяца 1875 г. служащий в г. Иваново-Вознесенске на фабрике Зубкова крестьянин Александр Трухин отобрал у рабочего фабрики Тимофея Бурова книгу под заглавием „Сказка о четырех братьях“. Убедившись в ее вредном направлении, Трухин передал книгу начальству фабрики, а это последнее заявило о том местной полиции. Спрошенный по поводу этой книжки, крестьянин Тимофей Буров об'яснил, что он получил книгу от рабочего фабрики Зубкова, Ивана Петрова, принадлежащего к компании московских ткачей, поселившихся в доме Кисина. Фабричные прозвали этих ткачей „неумелыми“, на том основании, что на вопросы: зачем они приехали в Иваново-Вознесенск из Москвы, когда в Москве своих фабрик много,— ткачи говорили, что они еще плохо работают, а в Москве берут на фабрики только умелых. Полицией, по указанию Тимофея Бурова, в д. Кисина произведен был обыск, при котором задержаны были три женщины: Топоркова, Елизавета и Екатерина и один мужчина—Семен Агапов. По заявлению Бурова, не оказалось на лицо еще одной женщины—Александры и двух мужчин: Ивана Петрова и Евтропия Николаева. Последний был задержан в то время, когда возвращался домой с фабрики и, увидав у дома полицию, хотел скрыться. Женщина Александра была арестована на фабрике Зубкова, где она работала. По заявлению всех арестованных лиц, Иван Петров за несколько дней до обыска уехал в Москву. Женщины Елизавета и Александра назвали себя буквами А и Б, а все остальные лица—теми именами, под которыми они жили и работали на фабриках.

По обыску в доме Кисина найдено 245 экземпляров книг и газет преступного содержания, копии с рукописи „Экспедиция Шефа Жандармов“, разные письма, документы и 253 р. сер. денег. Кроме того, у женщины, назвавшейся буквой А в кошельке оказалось два почтовых

листа и один полулист, исписанные шифром, и какое то письмо, которое А, скомкав и руке, хотела проглотить, но письмо было отобрано и положено на стол. В это время женщина, по имени Александра, схватила снова это письмо и сунула себе в рот; когда жандармы схватили Александру, желая отнять у нее письмо, то Евтропий Николаев бросился на одного из жандармов и стал его душить, — призывая остальных пропагандистов на помощь. Эти последние, в свою очередь, напали силой на жандармов, но при содействии всех лиц, присутствовавших при обыске, порядок был восстановлен и письмо у Александры отобрано. Кроме того, при обыске отобраны простонародные женские костюмы и разные вещества для вытравливания чернил. Затем, по обыску на фабрике Лопатина найдены книги преступного содержания („История одного французского крестьянина", „Сказка о четырех братьях" и „Чтой-то, братцы").

Из числа отобранных в доме Кисина писем, записок и бумаг особенного внимания заслуживают следующие:

1) Записки, писанные шифрами, по дешифрировании их, оказались адресами для сношения с разными местностями империи; одна из них—рецепт для вывода и уничтожения чернил и красок, а другая—заметка о количестве революционных книг и газет, отправленных в г. Иваново-Вознесенск, при чем показанное в этой заметке количество отправленных экземпляров соответствует, приблизительно, количеству книг и газет, найденных в д. Кисина.

2) Письмо от 19 июля 1875 г., адресованное из Москвы в Иваново-Вознесенск. В нем обращают на себя внимание следующие места: „...Новостей много, есть и хорошие, есть и скверные. Начнем с отцов; приехали отцы Михайла и Бетьки (под этими именами, как ранее сказано, известны Иван Джабадари и Каминская), ...отыскали тетку (т. е. Бардину), она сидит в городской части... Дело Федора (т. е. Чекоидзе) будто бы подвигалось и было готово, только прогнали служителя тюрьмы и сношения прекратились. С юга вообще неутешительные вести. И. А. и Соня наотрез отказались остаться в Одессе. С ними в Одессе имели наши разговор, и он вышел из нашей организации, разошелся с ними... Тульские ведут себя преступно. Огромное у них знакомство между рабочими—и еще ни одной революционной книги не читали. Мы думаем, что не мешало бы туда переселиться Ольге и Ванюше, так как им в Одессе нельзя оставаться... Надя ушла на работу... Если только почему нибудь Ольге нельзя будет уехать в Тулу, то придется отнять человека от вас в виду того, что там огромное знакомство и прелестная почва—нужно только подталкивание, и, во 2-х, этого Злобина может И. А. перетянуть, — тогда Тула ушла у нас из рук, а этого нельзя делать. Никаких вестей ни от Саратовца, ни от Егора, а о Туле подавно. Феклуша (т. е. княгиня Цицианова) вышла замуж за князя Мутрука. О Гамке (т. е. Гамкрелидзе) знаете. Кабарда обвенчалась с Россией" (свадьба его с Тумановой). Затем, в письме следует рассказ о нескольких местных беспорядках, происшедших, будто бы, в разных краях империи, частью вымышленных, частью преувеличенных; рассказ этот кончается словами:

„Вот оно как, а прочтите вдобавок циркуляр Палена... как трусит правительство наших революционеров, а ничего поделать не может... Платье получите с Катей... посылаем книги, посылаем револьверы с патронами. Убивайте, стреляйте, работайте, бунтуйте. Одесская община предложила принять в нашу организацию Санчо (кличка в общине князя Цицианова)... Московские члены организации согласны... вообще остановка за вами, а то все согласны“. Письмо это писано, по заключению экспертов, рукою обвиняемого Здановича. 3) В письме от 19 июля имеется приписка от 26 июля 1875 г. Автор приписки, об'ясняя, почему один из ивановских пропагандистов должен отправиться в Тулу, между прочим, говорит: „В письме Рыжий об'ясняет вам положение дел и почему это нужно... Везде недостаток людей, а больше всего скопилось в Иваново-Вознесенске... порешили выслать оттуда в Тулу одну из баб... Не все только приходится делать, что приятно, напр., Рыжему не хотелось ехать за границу, но между тем он поехал“. Ранее автор, говоря о сапогах (т. е. фальшивых паспортах и видах на жительство), которые трудно достаются, продолжает: „Теперь относительно меня вам известно, что я согласилась остаться в администрации только месяц, да и в программе сказано так, а сегодня 26 июля—как раз месяц, так что я предлагаю, что бы кто нибудь из вас заменил меня в этой должности. Работать я, вероятно, поеду в Киев. Вероятно, от вас не потребуется человека в Тулу. Ольга, должно быть, пойдет туда. Сношения с заключенными идут своим чередом. Завтра будет попытка к освобождению Федора (т. е. Чекоидзе)“. Приписка от 26 июля писана Верой Любатович. Именно это письмо женщины, арестованные в д. Кисина, желали во время обыска уничтожить.

4) Письмо к Анне—без числа, за подписью Евгении. Евгения, сообщая Анне о своем путешествии и о посещении ею какой-то социалистки, говорит, что везде, где она ни была, замечался сильный недостаток людей. Затем, предупреждая Анну о принятии мер к тому, чтобы не „ухнуть“, Евгения продолжает: „о ваших ивановских делах я слышала разговор вовсе не с радостным чувством. Вы идете скорыми шагами к погрому, который останется бесследным для Ив. и в то же время ужасным для общего хода дел. Вы ведете дело более неосторожно, чем оно велось в Москве. Что-ж, ухайте, господа, но помните, что один, два погрома—и мы остались на мели. Вера хочет уехать в Киев, надо, чтобы кто-нибудь приехал ее заместить. Рыжего нет, в Москве осталось народу из рабочих мало... Мой дружеский привет всем товарищам“. Письмо это, как оказалось, написано обвиняемой Евгенией Субботиной.

5) Письмо, начинающееся словами „Милая Анюта“ и подписанное „Твой Митрий“, заключает в себе излияние тоски по поводу разлуки с любимой женщиной. Между тем, при рассмотрении этого письма оказалось, что над некоторыми из букв проставлены цифры, совокупность же всех цифр составила письмо, шифрованное по отобранному в Иванове шифру „Эй Фомич“. В написанном таким способом письме пропагандисты предупреждались, что попытка к освобождению

Федора не удалась, что Катька уже давно уехала к ним от Гамки, и предупреждались быть осторожнее, ибо к ним направился сыщик с длинной бородой.

6) Черновое и перебеленное письмо, написанное Александровой и составляющее ответ на приписку от 26 июля.

7) Что касается до рукописи „Экспедиция шефа жандармов", то рукопись эта есть точная копия печатной записки, имеющей своим предметом общее изложение обстоятельств последних политических процессов и данных, добытых дознанием, производившимся генерал-летейнантом Слезкиным под наблюдением прокурора Саратовской Судебной Палаты Жихарева. В письме 19 июля упоминается о посылке этой рукописи, и рукопись называется циркуляром графа Палена, при чем сообщается, что циркуляр отправлен за-границу для напечатания его отдельной брошюрой с должными комментариями.

8) Отобранные у обвиняемых паспорты Евтропия Николаева, Александры Ивановой, Ольги Ивановой и Елизаветы Ушаковой оказались по справкам подложными и, очевидно, сфабрикованы самими обвиняемыми, что доказывается уже тем, что к двум паспортам, одному Тульской, а другому Тверской губернии приложена одна и та же печать Новоселовского волостного правления. Как оказалось впоследствии, паспорты эти писаны рукою обвиняемого Здановича.

Таким образом, путем одного обыска и содержанием отобранной при нем переписки, вполне раз'яснилась цель, с которой арестованные лица прибыли в Иваново-Вознесенск. Значительная для рабочих людей сумма денег, найденная по обыску, большое количество преступного содержания книг, по характеру и способу изложения предназначенных для распространения в народе, совместное жительство всех этих лиц и проживательство по фальшивым видам— достаточно доказывали, что арестованные лица принадлежат к числу пропагандистов. Кроме того, найденная у пропагандистов переписка приводит к несомненному убеждению, что лица, писавшие и получавшие письма, принадлежат к одному и тому же противозаконному сообществу, к составу которого следует также отнести и лиц, задержанных в д. Корсака в Москве; что в порядке действий пропагандистов, в основе и разделении их труда и деятельности лежит известная программа, устав, что к тому же сообществу принадлежат пропагандисты, живущие в Туле, Одессе и Киеве; что в Москве находится администрация этого сообщества, посылающая в провинцию пропагандистам белье, книги, газеты, оружие, фальшивые паспорта, распоряжающаяся рассылкой по губерниям и перемещением из губернии в губернию лиц этого сообщества, озабочивающаяся принятем в сообщество новых членов, поддерживающая общие между членами сношения, а равно и организующая сношения с арестованными лицами, содействуя их побегам.

Между тем, дознанием вполне доказано, что лица, арестованные в доме Кисина, поступив на фабрики, приступили уже на самом деле к распространению среди рабочих книг преступного содержа-

ния. Дознание обнаружило следующие факты: 23 мая 1875 г. в г. Иваново-Вознесенск прибыли из Москвы: цеховая Анна Топоркова, мещанин Семен Агапов и крестьянин несуществующего Ревякинского уезда Евтропий Николаев. Поселившись вместе в доме Бурылиной, лица эти стали себе приискивать места на фабриках. При содействии случайно познакомившегося с ними крестьянина Козьмы Семенова, Агапов вступил на фабрику Зубкова, а Евтропий Николаев на фабрику Лопатина. В конце июня на квартиру к означенным лицам приехал крестьянин Иван Васильев и поступил также на фабрику Зубкова, где назвался Иваном Петровым. Неделю спустя приехали еще две женщины, Александра Иванова и Елизавета Ушакова, поступившие на ту же фабрику Зубкова. Вслед за сим вся компания переселилась на новую квартиру в доме Кисина, куда за несколько дней до обыска приехала еще крестьянка Ольга Иванова. Все лица, поселившиеся в доме Кисина, старались не отличаться вообще от жизни фабричных. Они вместе спали, женщины ходили босиком, в простом платье, сами себе носили воду, принимали у себя рабочих и угощали их чаем. Плохо зная ткацкое ремесло, пропагандисты, под предлогом скорее ему выучиться, пригласили к себе ткача Михаила Широкова. Через Широкова они познакомились с фабричными Павлом Широковым, Тимофеем Александровым и другими. Агапов и Иван Петров, с своей стороны, приводили к себе фабричных, и когда, таким образом, около пропагандистов составился кружок знакомых рабочих, ими приступлено было к распространению между рабочими книг преступного содержания. Так, вышеназванные лица, а равно и рабочие Василий Лаврентьев и Егор Борисов читали: „Историю французского крестьянина", „Сказку о четырех братьях", „Бог-то бог", „Чтой-то, братцы" и газету „Вперед". Книги эти давались рабочим Евтропием Николаевым, Семеном Агаповым и Александрою Ивановою. По удостоверению свидетелей, подтвердивших все вышеизложенное, до приезда пропагандистов в Иваново-Вознесенк подобных книг между рабочими не было. Кроме того, задержанный в квартире пропагандистов мещанин Федор Жарковский, ныне уже сосланный, об'яснил, что он познакомился с пропагандистами через Семена Агапова, пригласившего его к себе. Все жившие вместе лица, как мужчины, так и женщины, уговаривали его поступить на полное содержание их с тем, чтобы ехать пропагандировать в Петербург или Тулу. В Туле, как говорили они, у них уже был пропагандист—какой-то слесарь. Во время этих посещений Анна Топоркова дала ему „Хитрую Механику", „Парижскую коммуну" и 3 номера газеты „Вперед". Книги и газеты были найдены в месте, указанном Жарковским. Затем обвиняемый мещанин Семен Иванов Агапов, тот самый, который ранее сего был задержан в доме Корсак в Москве, давая сначала уклончивые показания, об'яснил затем, что в Москве, после освобождения из-под ареста, он познакомился с Владимиром Александровым, арестованным в Иваново-Вознесенске под именем Евтропия Николаева. Этот последний предложил Агапову ехать на пропаганду в Киев, Одессу или Иваново-Вознесенск; Агапов выбрал последний город, куда вместе

с Александровым и Топорковой и отправился. Познакомившись с рабочими, они приглашали их к себе и здесь рабочим читались книги. Книги эти были привезены Лидией Фигнер и Варварою Александровой, приехавшими в Иваново под именами Елизаветы и Екатерины. Все его сотоварищи уговаривали Агапова быть как можно деятельнее на раздаче рабочим книг, при чем Александров говорил ему, Агапову, что от преследования полиции всегда легко скрыться у товарищей-пропагандистов в Москве, в доме Эйнбродт на Спиридоновке, в квартире, нанятой на имя Лидии Фигнер. Живя в Иваново-Вознесенске, он от своих товарищей знал, что в то же время указанные при дознании о Джабадари, Фекла (кн. Цицианова) и Ольга (Любатович) занимались преступной пропагандой, первая—в Киеве, а вторая—в Одессе. В Иванове хозяйством заведывала Топоркова, деньги же хранились у Лидии Фигнер, и каждый из пропагандистов обязан был вносить свои заработки в общую кассу.

Из остальных арестованных в доме Кисина лиц крестьянин Евтропий Николаев, буквы А. и Б., отказываясь сначала об'явить свое звание, показали затем: 1) буква А., что она уроженка Казанской губернии, дворянка Лидия Фигнер, приехала в Иваново-Вознесенск единственно с целью изучить быт фабричных и преступной пропагандой не занималась, хотя и признала, что отобранные при обыске книги принадлежат ей. В Москве, в доме Эйнбродт, она жила в квартире, переданной ей ее знакомой по жизни за границей Марьей Субботиной. 2) Буква Б.— что она дочь почетного гражданина Варвара Александрова и в Иваново-Вознесенск приехала с тою же целью, как и Фигнер, которой совсем не знает. 3) Евтропий Николаев,—что он сын статского советника Владимир Петров Александров, приехал в Иваново изучить быт народа, что Топоркову и Лидию Фигнер знал еще в Москве. Книги привезены были Фигнер и Александровой. Затем Александров, признавая себя, согласно со свидетельскими показаниями, виновным в том, что давал фабричным рабочим читать книги преступного содержания, от дальнейшего раз'яснения дела отказался. 4) Обвиняемая московская цеховая Анна Топоркова, утверждая также, что приезд ее в Иваново имел единственною целью знакомство с бытом рабочих фабричных, показала, что никого из арестованных лиц она не знает, и все они случайно поселились на ее квартире. 5) Далее, последняя из арестованных лиц первоначально назвала себя бродягой Екатериной Петровой, но затем, будучи уличена Владимиром Петровым Александровым и справками в С.-Петербурге, признала, что она жена дворянина Екатерина Гамкрелидзе, рожденная Туманова. По показанию Гамкрелидзе, она приехала в Иваново-Вознесенск только для того, чтобы проститься со своей знакомой Лидией Фигнер перед от'ездом с мужем на Кавказ. Наконец, в Москве был арестован и последний из ивановских пропагандистов, крестьянин Иван Васильев Баринов, тот самый, который ранее сего содержался под стражей по дознанию о дворянине Джабадари и др. По пред'явлении Баринова рабочим фабрики Зубкова, эти последние признали Баринова за рабочего Ивана Петрова, распространявшего между

ними книги преступного содержания. Обвиняемый Баринов отрицал всякое с своей стороны участие в распространении книг и в знакомстве, за исключением Агапова, с лицами, арестованными в доме Кисина, признал, однако, что он жил на фабрике Зубкова рабочим, об'ясняя это тем, что ему стыдно было жить в Москве после того, как он был арестован по политическому делу. (Процесс 50-ти. Изд. Саблина. Стр. 8—12).

...После перекрестного допроса экспертов были прочитаны следующие письма, найденные у подсудимых.

I. „Вы начинаете свое письмо словами „прежде всего“; начнем и мы таким же манером. Прежде всего мы должны поставить вам на вид, что вы имеете неимоверные претензии; будто не знаете условий здешних. Второе, напрасно силитесь вы доказать, что письмо ваше написано правильно: никакой черт его не поймет. Мы его храним как документ. Мы не крючкотворы и на этом покончим полемику с вами, хотя при желании можно было бы найти многое, за что вас выругать следует. Но, бог с вами, прощаем.—Новостей много, есть хорошие и скверные. Начнем с „отцов“. Приехали отцы Михаила и Бетьки. Прежде первый, затем и второй. Дело Михаила, как передавал отец, стоит очень хорошо: его, быть может, выпустят на поруки под залог. Посмотрим. Дело Бетьки неизвестно. Отец поехал хлопотать в Питер. Интересно, что не мы их отыскали и познакомили друг с другом, а сами снюхались и рассказали каждый про свое горе другому. Оказалось, что они имеют точки соприкосновения и соединились. Мы думаем, что скоро составится кружок „отцов“. Отыскали тетку, она сидит в городской части. Написали письмо; она почему то побледнела, разорвала его и бросила на пол. Не знаем об'яснения этой странности. Письмо писано рукой Веры. Дело Федора будто бы подвигалось и было готово, только прогнали служителя тюрьмы и сношения прекращены. Михаил просит уговорить Ивана Вас, отказаться от своего показания на него, что он познакомился с ним через Николая и знал, как Михаила Петрова. Жени нет, уехала домой. Я думаю скоро уехать по делу о пути. Путь пропал, перехватили ли Гинцбуряты, т. е. устроили таким образом, что и книги должны провозиться через наш путь. Нужно уничтожить подкопы. Вот каковы эти Гинцбуряты проклятые, а мы большие дураки: доверяем им, а они проводят нас. С юга вообще неутешительные вести. Ив. Ал. и Соня наотрез отказались остаться в Одессе и уехали в Киевскую губернию в деревню. С ним в Одессе наши имели разговор и он вышел из нашей организации, разошелся с нами. Мотивирует это тем, что он прежде ошибался, думая, что возможна какая нибудь организация. Сколько его не убеждали, „он остался непоколебим, как скала“. Поступил в какую то шайку, не признающую будто бы организации, но вместе с тем с такой сильной централизацией, что они не должны знать друг друга, разделяются на разряды и т. д., как обыкновенно бывает. Из Одессы пишут, что на счет этой кампании ходят неодобрительные слухи. Вообще, мы мало что понимаем в этой комедии. Это писали наши, а он сам ничего об этом нам не писал, только мотивирует свой от'езд из Одессы тем, что ему

там опасно оставаться, имея много знакомых. Ерунда, тысячу раз ерунда. Здесь что-то не ладно; узнаем, посмотрим. Была Вера в Туле. Тульские ведут себя преступно. Огромное у них знакомство между рабочими и еще ни одной революционной книги не читали им, „по осторожности", мол. Хороша осторожность. Почва очень хорошая, сделать возможно весьма многое, только нужно послать кого-либо более энергичного, чем эти рыбообразные деятели, осторожные пропагандисты, осколки Ив. Ал-ва. Мы думаем, что Ольге и Ванюше не мешало бы туда переселиться, так как им положительно нельзя в Одессе оставаться. Их ищут, на них был сделан донос негодяем Зигером. Вахтель по тому же доносу сидит, Надя нашла уже работу, Василью тоже обещали. Если только почему нибудь нельзя будет Ольге уехать в Тулу, то придется отнять человека от вас, так как необходимо, в виду, во-первых, того, что там огромное знакомство и прелестная почва, нужно только подталкивание, а во-вторых, этого Злобина может Ив. Ал. перетянуть. Тогда Тула ушла у нас из рук, а этого нельзя делать. Сапогов ни откуда нет. Никаких вестей ни от Саратовца, ни от Егора, а в Туле подавно: сменили писаря, есть новый, с которым Злобин обещался поговорить, но Аллах ведает, когда все это будет. Впрочем, Женя пишет, что „есть надежда", что Маня скоро получит. Надежды-то много, да толку мало. Феклуша вышла замуж за князя Мутрука. Свадьба сыграна, отец доволен, обещал деньги, но теперь не имеет на руках, и то хорошо. Знаете: Кабарда венчалась с Россией. К вопросу о Кабарде — приехал Мут сюда и рассказал много утешительного на счет Кабарды. Сильное возбуждение в местной молодежи, борьба партий (политиканов и социалистов). Социалисты берут верх. Вообще, страшная оживленность и жизнь. В Сванетии (местность на Кавказе, племя с особым языком, но большинство говорят по грузински, живут в неприступной котловине, в горах) бунт; вырезали гарнизон солдат, перебили начальников, засорили дороги. Все это произошло по поводу акциза—наложили акциз на водку: они не признают такого беззакония и вольные сванетинцы сговорились и взялись за свои всегда готовые оружия. Подробности еще неизвестны, но дело должно быть жаркое: от наместника послан Трубецкой усмирять бунт. В Кутаисе схвачены осетинцы, пригнавшие табун лошадей. Арест мотивируется тем, что будто бы были присланы от осетинцев к грузинам для „переговоров". Дай бог. Поговаривают, что взбунтуется Абхазия. Черкесы, прогнанные в Турцию, на стороже, готовые совершенно, и только ждут случая. Кавказ, словом, на военной ноге. Туда послали вдесятеро больше солдат, чем было до сих пор.

Это Кавказ, а вот поглядите и на Россию. 1) Посылаем кор. (другую) о Чичерине. 2) Был бунт рабочих в Серпухове, на фабрике Коншина. Бунтовало 4.000 человек, требовали отмены работы под праздник, т. е. ночь субботы. Отказались работать. Стачка продолжалась 14 дней. Их удовлетворили вполне. Приезжал туда губернатор и другие, обходились с народом очень вежливо, льстили рабочим до безобразия. Видно струхнули. Подробную кор. получите скоро.

3) Был бунт в Туле на казенном заводе. Мастера потеряли или прокутили машины; стали спрашивать с рабочих, которые отказались и стали бунтовать, когда на них наложили штраф в уплату растраченных машин. Подробностей не знаем. Злобин обещал корреспонденцию. 4) В Питере была стачка каменьщиков против частного хозяина. 5) На-днях в главном штабе крикнули: „да здравствует революция"; сейчас обыск, но ничего не нашли. Хотели прогнать писаря, крикнувшего такую „дерзкую фразу", но почему-то помилосердствовали. 6) В Питере читали недели 3 или 4 назад на Конной площади приговор одному „адьютанту", который, как говорят одни, найден за печатным станком во Владимирской губернии, в селе Павлове; другие говорят, что на фабрике. Так этот „адьютант" говорил революционную речь: „Это ничего ребята, что нас казнят, ссылают; не падайте духом, продолжайте свое дело. Долой все власти". Телеграфировали и прислали барабанщиков, которые заглушили „проклятого революционера". Вот оно как. А прочтите вдобавок циркуляр Палена, который пересылаем вам. Как трусит наше правительство революционеров и ничего поделать не может! Делает промахи, ряд непоследовательностей; для них гибель, нам на руку. Циркуляр послан для отпечатания за границу отдельною брошюрою, с должными комментариями. Он будет иметь успех громадный. Платье получите с Катей, с нею же книги дозволенного содержания. Так как здесь не особенно много имеется книг и денег, то пока посылаем 100 р. Посылаем книги, посылаем револьвер с патронами. Убивайте, стреляйте, работайте, бунтуйте. Горькая наша доля. Карабкаться приходится Вере и мне: мы думаем сбежать. Началось дело Дьякова. Мы будем посылать номера газет, где отчет о деле. Первый номер отсылаем теперь же. Кажется, не успели выслать интересного циркуляра. Пошлем с Катею. 19 июля 75 г. Москва Р. Не желаете ли получить по почте М-ель Гамку; хотя она и вышла замуж за Катю, но всетаки теряет право называться мадамшею. Одесская община предложила принять в нашу организацию Санчо, мотивируя тем, что кроме его качеств, как человека, еще и то, что он будет на Кавказе, а нам необходимо иметь там своего человека. Московские чл. организации согласны и поддерживают предложения одесских; вообще, остановка только за вами, а то все согласны".

II. „Отвечайте, вы или нет—С. К.....ли. Напрасно ты пускаешь в меня мокрыми ракетами; они меня не трогают, потому что, как тебе известно, я не из слюнявых. Пора бы тебе отучиться от сантиментальностей; ей богу, они тебе не к лицу; впрочем, мое такое мнение, что они ни к кому не идут. Об'ясни мне, пожалуйста, чем это мы обидели родного человека; тем, что дело требовало пребывания твоего (или кого-нибудь из Ив. для нас все равно, и мы прямо на тебя не указывали) в Туле? Рыжий выше об'ясняет положение дел в Туле и зачем это нужно. О, бедный родной человек, как действительно тебя обижают, я бы на твоем месте непременно расплакалась... Однако, разберем вполне серьезно, имели ли мы право предложить... Иван. переехать в Тулу?

Я думаю—да. А основания вот какие: как вам известно, везде недостаток людей, а больше всего скопилось народу у Ив., так что меньше всего будет ущерба для дела, если отнять одного человека у Ив. На этом основании мы было и порешили сделать предложение Ив., чтобы они выслали одну из баб в Тулу. Кажется, ничего здесь нет ужасного и никакого преступления против родного человека? Не все только то приходится делать, что приятно; например, Рыжему очень не хотелось ехать за границу, а между тем, он поехал, когда дело того требует; мне очень и очень не хотелось и не хочется сидеть здесь и исполнять ваши глупые капризы и прихоти, а я сижу. Напиши, пожалуйста, Сашка, послала ли ты денег саратовцам на сапоги или нет; от них до сих пор нет письма. Напиши, что делать, и как к ним можно обратиться. Ты, кажется, забыла, что родить сапогов нельзя; ты знаешь, с каким трудом они достаются, и потому мы не виноваты, что их нет. Равно—навсегда говорю вам, что прихотей ваших исполнять не буду, а приказаний или требований подавно. У меня не только свету в окошке, что вы. Наумовну переписывать не буду; если хотите, нанимайте писцов, а я отказываюсь быть писцом для Иванова. Посылаю вам Дьяковское дело; буду вам высылать только те номера, в которых есть что-нибудь интересное, а ежедневно высылать не буду; считаю это требование с вашей стороны прихотью. Теперь относительно меня. Вам известно, что я согласилась остаться в администрации только месяц, да и в программе сказано так, а сегодня 26 июля, как раз месяц, так что я предлагаю, чтобы кто-нибудь из вас заменил меня в этой должности. Долго занимать эту должность я не хочу; мне кажется, что неприятные должности должны падать равномерно на всех, а не на одного человека. Прошу мне на это скорее ответить. Дольше оставаться не хочу. Работать я, вероятно, поеду в Киев. Вероятно, от вас не потребуется человека в Тулу: Ольга должно быть поедет туда. Сношения с заключенными идут своим чередом. Завтра будет попытка к освобождению Федора. 26 июля 1875 года. Москва".

III. „Анна, давно, давно я тебе не писала, но теперь пользуюсь случаем, чтобы написать тебе несколько строк. Вчера только я возвратилась из путешествия, измыкалась страсть как; ездила и по железной, и на перекладных (200 верст отмахала), останавливалась не больше, как на один день. Приходилось быть в самых разнообразных условиях. Опять пришлось мне быть в положении социалистки. Ах, Анна, в этот раз это положение показалось мне еще ужаснее, может, от присоединения к другим неприятностям—целование ног, поклоны, с одной стороны, дранье кожи—с другой. Я смотрела, смотрела, вертелась, вертелась, но, наконец, терпение мое лопнуло, и я разразилась истерикой.

Была я еще у одной социалистки—условия для пропаганды прекрасные, народ отличный, особенно замечателен бабий элемент. Каких интересных личностей приходилось видеть—таких удальцов мало, описала бы, да места не хватит, т. е. главное времени. Условия же

жизни этой пропагандистки самые ужасные: без всякой связи, оторванная от всего мира, без книг, без средств, принужденная работать с утра до ночи, чтобы поддерживать свое существование. Хорошая, толковая она женщина, и хорошо бы дело у нее пошло, если бы были средства, а во-вторых, люди. Людей, людей давайте, слышится отовсюду. Но где же их взять, а недостаток чувствуется ощутительный. Грешно будет вам, господа, если вы не примете всех зависящих от вас мер, чтобы не ухнуть. О ваших ив. делах я слышала рассказ (Веры) вовсе не с радостным чувством. Вы идете скорыми шагами к погрому, который останется бесследным для Ив. и в то же время ужасным для общего хода дела. Вы ведете дело даже более неосторожно, чем оно велось прежде в Москве. Что же, ухайте, господа, но помните, что один, два погрома—и мы остались на мели. Вера хочет уезжать в Киев, надо, чтобы кто-нибудь приехал заместить ее: хорошо было бы, если бы приехала ты. Рыжего нет здесь; я еду сегодня для дел матери (в Питер) на несколько дней. В Москве осталось народу из рабочих мало—все раз'ехались на покос, но с августа опять все с'едутся, и наступит опять жаркое время. Несколько слов о себе лично. Я работаю положительно запоем, везде, где попадается, хорошая система страшно напряжена—боюсь, как бы струнка не лопнула, будет скандал! Что-то скверно чуется мне. Мне предстоит одна страшная неприятность, но писать тебе об ней не буду—потом, когда совершится. Однако, довольно—il ne faut pas... поговорила бы я с тобой. Твоя Евгения.

P. S. Маня скучает, ужасно больна, была у доктора, он прописал ей кумыс. Мой дружеский привет всем товарищам; скажи им, что я обязуюсь высылать вам газету, напиши только адрес, куда"...

(Процесс 50-ти. Изд. В. Саблина. Стр. 62—65).

Прочитан протокол осмотра бумаг Цвиленева,—в связке бумаг из чемодана Цвиленева оказалось: . . . .

15) Конверт с разными мелкими записочками, по рассмотрении коих оказалось следующее: записка, писанная карандашем на папиросной бумаге, в тексте встречаются зашифрованные слова; эта записка лежала в листе почтовой бумаги, исписанном со всех сторон, на котором написан перевод той записки, зашифрованной, как оказалось по проверке, по ключу „чаще держать экзамен".

Содержание записки следующее: „Если И. Л.... принят, то, значит, сделана половина дела и другая его половина такова: идя вдоль Рогожск. улицы и пройдя ворота части и самую часть, увидишь забор, за этим забором наше место гулянья. Минута — и за забором, ублаготворивши, разумеется, известным образом компаниона; остальное понятно из прежнего. Необходимо только припасти верхнее платье, фуражку, да наметить невдалеке цирульню, так как, вероятно, из части будет погоня, и нужно будет поскорей изменить образину. Помощник же, по усмотрению, будет ожидать в установленном месте или же скажет адрес притона. Затруднение в одном: нет возможности определить день гулянья. Очень может быть, что помощнику раза два или три понапрасно

нужно дожидаться погожих дней и в эти дни делать расчет по числу народа: если жданье возможно, то дать знать, кашлянув два раза посильнее; в таком случае я буду извещать о предлагаемом дне пальцами, начиная с воскресенья, след.—воскр. 1, понед. 2, субб. 7. Если в указанный день не придется гулять, и следующие дни будут погожие, то на 2-й или на 3-й день непременно буду гулять. В назначенный день помощник необходимо должен проехать во время благовеста к вечерне и подержать себя хоть за нос, потому что нужно быть уверенным, делая скачек. Время гулянья с 6 часов вечера. Удалось бы одному, а потом можно попытать и насчет остальных. Нечего в зубы-то смотреть: если так не придется, я все-таки попытаю каким-нибудь образом; при удаче выиграю, при неудаче мало потеряю. Важно знать, по моему ли делу Мерцалов арестован? Успели ли передать ему о взаимном незнании? Где находится? Можно сноситься? Если по моему делу, то мне обух по голове. Никак не ожидал этого, иначе не так бы повел дело. В этом случае меня и его зарежут по горло, а жаль его, трудно найти подобных людей для известного дела. Если успели передать—так мой девиз: знать не знаю и т. д., называть его мужиковым потом. Хозяйка признала Федора на очной ли ставке? Ведь имя неизвестно ей, а я сказал, что он называется Иваном. Не подумайте, что про него, это сказано про неизвестного человека, нанимавшего со мной квартиру.

„Ответить по возможности при вечернем разговоре, только не в самые сумерки, но при закате солнца: в сумерки глядеть иногда бывает подозрительно. Тебе ходить здесь не следует совсем. Внутренние сношения до сих пор невозможны. В случае крайности один из двух ловких парней должен разговаривать с часовым, а другой бросать в форточку, что нужно, или же через забор, при гулянье, хотя последнее сопряжено с большими затруднениями насчет дня“. Подлинная записка была сложена маленьким квадратом.

Письмо, писанное карандашем и чернилами, следующего содержания: „Когда нужно передать что-нибудь, то нужно приходить вскоре по окончании благовеста к обедне или к вечерне, или же за несколько минут до благовеста, а последний в солнечный день только. От звона ничего не слышно. Название дома нужно сказать на всякий случай. А относительно хозяев можно прямо сказать: признали—нет, согласен—нет. Дом квар. справа, послед. моей бежать можно тому, что ездит с одним унтером, а не с двумя; по моему единственно так: в день свидания нужно нанять лихача и ждать в условленном месте, если отсюда, то у народного театра; унтера можно сделать на несколько минут бездеятельным, нужно только припасти нюхательного табаку; но такая штука рискованная. Помни, если пойдет только на это, я желал бы, чтобы проделали эту штуку Федор или Жан, если есть сношения с ними и существуют те условия, о которых сказано, потому что срок моего наказания в самом худшем случае меньше и легче их—скорее явится возможность действовать. Справьтесь, между прочим, о мере наказания по букве закона за подделку и проживание и за то и другое вместе.

Если указать на тебя и Надю неудобно, то известить, а тоже о дне свидания. Страх за Тулу было одной из главных причин, заставивших назвать крестьян. Хотя по спокойном обсуждении опасность была не так велика, как представилась в критическую минуту. Между другими причинами играла очень важную роль пословица „риск святое дело“, хотя для меня он оказался грешным, а обстоят. рискнуть. Справьтесь у знающих, какой есть трактир в Орле, а то я совсем ничего не знаю, хотя работал на Курской дороге с масл. я пять недель и некому даже подтвердить о моем прибытии. Насчет унтера безуспешно, хотя билет разменен. Когда деньги будут пересылаться контраб., то мелкими бумажками. При настоящих условиях жить бы нешто, да на беду тюрьма возбуждает во мне энергию, а так как надлежащего исхода ей нет, она разрешается паскудным нравственным состоянием. Николай Васильев с женой отказ. от меня больше, кроме (огляев) свид. некому, если сочтете нужным, попробуйте привести в исполнение план насчет корреспонд. через кондукторов; на случай сделаю некоторые указания. На ряжско-вяземской дороге можно с Вас. Никифор., из Лескова, в Туле на Курск с Петнеоргским (это имя сверху зашифровано шифром „чаще держать экзамен“), в Скуратове, а через них и с другими и по мере надобности переводить в другое место. Их знают Паша и Ваня. Пусть Мишка сделает список хороших исторических сочинений и потребов. из них доставлять, как возможно достать. В настоящее время одно из сильных желаний моих устан. корреспонд. с... (имя замазано чернилами, но можно догадаться, что тут стояло Жибодари)—близок локоть, да не укусишь. Из девят. арест. двое выпущ. еще на страстной нед. Пафнут., а другой не знаю. Говор. громче“.

З а п и с к а на $^1/_8$ серой бумаги следующего содержания: „Г. Кремер и Сиротский, прошу вас, дорогие друзья, оказывать этому господину возможную помощь в случае, если ему понадобится—Зунд“.

В ней оказались завернутыми т р и б у м а ж к и с а д р е с а м и; первая, написанная шифром, не подходящим к имеющимся ключам. Бумажка эта была надорвана, а потому она наклеена на другой лист бумаги. На второй бумажке значатся адреса: „лозово-севастопольск. ж. д. ст. Славгород, в Варварскую экономич. контору такого-то“; на обороте „нем. ул. Мицкунскому, в суконном магаз. Пашкевича, Ржев; Конская пл. близ кузниц, дом Филатова, Ивану Матвеевичу Филатову“. Третий кусочек—„на Семеновской улице красильное заведение Григория Федоровича Тюльпина, спр. Александру Дав. На Косой улице, дом Трубникова Агафью Сем.“; внизу—„Никите Сергеев. Серг.“; на обороте „Зиновий Серов учит. школа или Виктора, под ним Конная пл. близ кузниц, д. Татьяны Емельяновны Шаровой, второй от угла“. Затем: „Швейковский (банк) у него Линд. То Вас. И. Покровский“. Далее на трех бумажках записаны следующие а д р е с ы: „Нестроевая рота Несвицкого полка рядовой Федор Лизунов (шорник); Арину Савельевну или Серебряника (брата ее). Близ Сивцева Вражка большой Власьевский пер. д. Львова, квар. Данилова; станция Пахомова—Данилову и в г. Кроле-

вец (Чернигов) село Ярославец, священнику Миронуенков, с передачей в село Зачирки Александру Федоровичу“. Все эти адресы и записки вложены в особый конверт под № 15 лит. а...

...Прочитано письмо, в котором, между прочим, говорится; „Твоя наука не поможет, когда меня не вызывают. Поэтому поговорим о чем нибудь другом. Я откроюсь, но на предварительном следствии. Георгиевский показывает хорошо. А вот что: поехал-ли кто-нибудь из наших в казачество, на Урал, в Казань, и т. д.? В Екатеринодаре рекомендую следующих землемеров: Иван Жуков, Григорий Рыболоченко, Николай Соколов. Во Владикавказе—Атабегова, Афанасьева и Вертепова. Они хорошие и пожалуй, пропагандисты, если над ними поработать малость. На них можете действовать от моего имени. Я могу писать в Тифлис—Трофим Бульбух, женская гимназия Авазова. Еще раз повторяю: напиши Петру о его петербургском деле и напиши адрес, куда я мог бы послать рядового унтера... Письмо выдайте... Я послал Зунду оффициальную записку; прошу денег; у меня в управлении—ни гроша, а я не могу тратить свои. Я вызвал прокурора — хочу выругать; обещался книг и надул. Пришли Петра с чернилами. Посылаю шифр. При нужде пригодится“...

Прочитан протокол осмотра бумаг, найденных у Кардашова, в том числе: ...письмо, на имя Николая Афонского, следующего содержания: „Многоуважаемый Николай Федорович. Передайте бога ради, как можно поскорее Марье или Евгении, что наши московские друзья больны ужасно, эпидемически, начиная с Волченка, Саши и Мавра и кончая уж чорт знает чем и кем; пусть известят, кому найдут нужным“...

(Процесс 50-ти. Стр. 84—87).

Прочитан отрывок письма неизвестного автора, найденный в бумагах Цвиленева и писанный, по его сознанию, его рукою и находящийся в числе вещественных доказательств под № 55-м. Отрывок этот следующего содержания: „Я об'ясняю это бесконтрольным подчинением одному своему преобладающему чувству, чувству чисто личному—удовлетворить своему стремлению действовать в известном направлении во что бы то ни стало, и недостатком критики или нежеланием критиковать. Надо же, наконец, оглянуться на прожитое. Нужно же, наконец, пользоваться уроками событий. Пора перестать колотить лбом в стену. Она не выносит этой деликатной обстановки, и хочется делать в обстановке „грубой“, „демократической“. Но она забывает, что, если она теперь вздумает осуществить свои порывы, то через месяц будет опять в тюрьме и уже не скоро освободится, а этим окончательно лишает себя невозможности когда-нибудь, что нибудь сделать. Далее, такие порывы в настоящее время, когда столько людей сидит в тюрьмах, есть (пусть простит мне) крайний эгоизм и подчиненность личному чувству. Все власти теперь встревожены и настороже. Нервная система и чувство мести в них возбуждены. Они боятся больше, чем есть основания. Всякая новая попытка в том же роде не только скоро обнаружится и бесполезно кончится гибелью тех, кто ее предпринял, но и будет

усиливать и поддерживать это возбуждение во властях, которые еще сильнее будут действовать против тех, кто в их руках, желая устрашить и прекратить всякие будущие попытки. Уж не говоря о том, что всякая новая попытка, а за ней аресты будут бесконечно отдалять решение участи тех, кто в руках властей, она будет утверждать последних в убеждении, что остались еще нити и корни, что нужно напрячь все силы для искоренения и примерно строгого наказания. В виду этого разве не крайне эгоистично следовать своему чувству, не обращая внимания на участь сотен, которая от того бесконечно ухудшится? Я ужасно злюсь в виду таких порывов, обнаруживающих стремление удовлетворить своему чувству и нежелание вдуматься в дело. Это, кроме того, принесет громадный вред самому народу, вызывая ряд стеснительных законодательных мер, которые вредно отразятся на народной жизни, затем окончательно погубит и тех 10—15 человек, которые, быть может, еще остались не тронутыми, так что не останется и на закваску, не говоря уже о традиции, которая у нас не могла никогда образоваться.

„Это одна, более наглядная сторона дела. Но есть другая, которая вынесет более возражений, так сказать, сторона принципиальая. Тут, впрочем, я распространяться не буду. Точно ли все вопросы решены и не допускают сомнений? Неужели опыты ничего не говорят? Что такое народ? На первые два вопроса ответ отрицательный. Вопросы не только не решены, но и поставлены неверно, опыт должен привести к сомнению. Дело в том, что русский радикализм есть только отвлеченное умозаключение, основанное на ненадежной подкладке чувства, незнании натуры и потребности русского человека и условий исторической жизни его и вообще человека. Пока эти практические по преимуществу и частью теоретические сведения не получатся, ни к какому заключению приходить нельзя, а тем менее можно что-нибудь предпринимать. Что русский радикализм не знает ни человека вообще, ни русского в особенности — это факт неоспоримый. Что он хочет навязать русскому человеку образ мыслей и идеалы, усвоить которые он неспособен, это известно из знакомства. Радикализм сулит ему журавля в небе, когда à priori и из общих показаний о человеческой природе можно заключить, что всякому невежественному и неразвитому человеку прежде всего дорога его собственная жизнь, а круг его потребностей ограничивается хлебом и женой, и все, что выше этих потребностей, для него недоступно до тех пор, пока они не будут удовлетворены и пока после того вы не разовьете в нем человеческого достоинства и мысли. В русском человеке, кроме этого, разные социальные невзгоды довели потребности до такого минимума, что, во-первых, нужно слишком большую нужду, чтобы он протестовал; во-вторых, слишком немного уступок нужно, чтобы заставить его замолчать и уступить. Если призрачное освобождение крестьян отдалило народное восстание на несколько десятков лет, то затем, при серьезных попытках к восстанию, достаточно будет уменьшить налог, подарить выкуп или увеличить десятину надела на душу, чтобы отдалить восстание еще на десятки лет, если Правительство из

благоразумия захочет пойти на уступки, а не захочет,—то, быть может, обойдется и войском. Небольшие уступки материальные заставят охотнее уступить и выдать своих вожаков и интеллигентных пропагандистов, а это будет до тех пор, пока в народе не создастся самостоятельная, народная мысль и более или менее человеческая культура, которую еще нужно создать не заграничными книгами, не возбуждением к восстанию, а медленным человеческим развитием и влиянием там, где этому не мешают окончательно неблагоприятные условия. Но последнее пришлось только к слову. Времена Пугачева прошли. Государственность успела подавить воинственные, кочевые инстинкты народа, одомашнить его, а с другой стороны, увеличить до огромных размеров свои силы. Потом, оставаясь в умственном отношении почти тем же, народ стал более миролюбив и вынослив, подняться ему трудно, и нет никакихя шансов на успех. Да и при успехе, при умственном состоянии народа, он решительно ничего не добьется и попадет в руки или диктатуре, или кулакам, или тем и другим вместе. Я не отрицаю возможности восстания, как результата целого ряда причин. Но уверен, что оно может быть только независимо от всяких искусственных влияний, чисто стихийно, силою вещей, и руководиться оно будет стихийными силами, и кто сумеет понять дух такого народного движения и воспользоваться им,—тот только и будет в выигрыше, и успех или неуспех его для народа будет зависеть от степени добросовестности тех, кто станет во главе его, ибо народная революция есть стихийная сила, а не принцип, не логический вывод, не математическая программа. Такой она и быть не может. Поэтому революционность возводить в принципы — по моему абсурд. Революционность может быть только в чувстве отдельного человека и в периодических порывах массы. Масса, как стихия, не обладает критикой, а в известные моменты действует по инстинкту. Но личность обязана руководствоваться критикой и не должна строить свои принципы на стихийных побуждениях массы, а, рассматривая последние, как историческую и культурную неизбежность, свою роль ограничивать следующим: внимательным изучением массы и отдельных единиц ее, прививать отдельным единицам сознание и критику—но ни в каком случае не тенденциозную и поджигательную, и вносить в массу (насколько это возможно) элементы человеческой культуры и затем все предоставить переработке самого народа и истории. Дальше этого роль интеллигентных единиц итти не может. И всякое отступление от этой, так сказать, естественной программы также пагубно и для интеллигентных единиц, и для народа, как всякое отступление от законов природы. Революционность, как принцип, есть аномалия, это перенесение инстинкта в область логики, т. е. неестественное совокупление. Она (революционность) мыслима, как неизбежный факт, но не как принцип. И вся деятельность мыслящих единиц должна быть направлена на внесение сознания в тенденцию, в возможную в народе революционность.

„Но все это, так сказать, общая теория, и наши условия усложняют дело. Людей нет совсем, и остающимся нужно щадить себя. Громадное большинство арестованных было на ложном пути; они погибли без всякой пользы. Оставшиеся должны, наконец, одуматься. Такая мизерная группа ничего не может сделать даже в том направлении, какое я считаю истинным. Поэтому она должна с'ежиться и составить ядро будущей сознательной радикальной партии, а пока вглядываться в среду, среди которой живет, изучить ее и народ, изучать условия ее жизни и культурный строй, вырабатывать фундамент программы, увеличивать по возможности число адептов только сознательных и мыслящих, а не детей, и ждать. Всякие революционные книжки нужно бросить в печь. Все это вздор и белиберда. Настанет, быть может, скоро время, когда понадобится сознательно-радикально-народная партия, истинная поборница народных интересов, не призрачная, в роде анархизма,—и тогда то ее не окажется. Ее то и нужно создать, а пока ждать и работать медленно, но прочно, в этом направлении. Пора отделаться от очарования „мужицкой“ обстановки и не заботиться о внешности, сохраняя сущность. Эти юные порывы без критики ни к чему не поведут, окромя вреда. Тут не знаю, ясно ли я высказал свою мысль.

„Прочти это, кому следует, непременно, и прибавь от меня, что я сильно боюсь, чтобы она не погубила себя совершенно без пользы своими порывами, т. е., что, если она последует им, то наверное погубит себя, преследуя цель, от которой через год — два откажется сама“...

(Процесс 50-ти. Стр. 112—114).

Из речи прокурора. (Резюме).

... Окончив изложение улик по отношению к каждому из обвиняемых, товарищ обер-прокурора сделал подробные выводы из всего дела. Он указал на то, что основание преступному сообществу положено кружком лиц, собравшихся в апреле месяце в Москве. Все эти лица, за исключением Георгиевского, Лукашевича, Петра Алексеева и местных рабочих, являются простыми эмиссарами из-за границы. Все они жили в Швейцарии и затем в Париже; все они возвратились одновременно в Россию, а частью и вместе, в одном поезде, в конце 1874 года, и, проехав через Петербург и захватив оттуда Георгиевского, Лукашевича и Петра Алексеева, основали кружок в Москве в первых же месяцах 1875 года, т. е. в январе и феврале, сначала за Москварекой, а после в доме Костомарова и Корсак. Кружок этот выделил из себя несколько членов, образовавших общины в Иванове, Киеве и Туле. Все эти общины управлялись администрациею, находившеюся в Москве,

и, таким образом, составляли одно целое преступное сообщество. По личному составу своему, действовавшее в Москве, Иванове, Киеве и Туле сообщество не принадлежало к местным жителям, а состояло из людей пришлых, ничего общего с местными рабочими не имевших. Самая незначительная часть членов сообщества принадлежала местным рабочим. Так, в Москве к сообществу примкнуло 5 человек, в Иванове—ни одного, в Туле и Киеве по 3 человека. Большая часть обвиняемых явилась для пропаганды или из Петербурга, или из-за границы. Таковых 29 человек; все они принадлежали когда-то к учащейся молодежи или к слушательницам женских курсов.

Образовавшееся преступное сообщество имело свою определенную программу—устав и располагало довольно значительными средствами. Цель сообщества ясно выражена в программе. Ею предписывается устная и путем распространения книг пропаганда среди народа анархических начал и действительная агитация к бунту и вооруженному восстанию. Идеи, проповедуемые членами сообщества, весьма ясно и отчетливо изложены в книгах, распространявшихся ими среди народа. Отрицание религии, семьи, частной собствености, уничтожение всех классов общества путем поголовного избиения всего, что выше простого, и при том бедного, крестьянина,—вот те идеи, которые положены в основание книжек, распространявшихся в народе. Почти все из них оканчиваются воззванием к вооруженному восстанию. Нет сомнения, что члены сообщества не имели в виду возбудить народ к бунту сейчас, немедленно, но точно также ясно, что они имели в виду путем подобной пропаганды подготовить народ к бунту и вызвать таковой в будущем.

Вот почему все обвиняемые, за исключением Беляевского, Трубецкого, Иванова и Сбромирского, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного 2-м отд. ст. 250, и состав этого преступления бесспорно по настоящему делу доказан. Указав на непосредственную связь учения, проповедываемого членами сообщества, с учениями интернационалов; указав на особенные, характеристические черты, свойственные только русской пропаганде,—обвинитель высказал несколько соображений об общем характере и значении этого дела для русского общества, а затем, в виду крайнего утомления после двухдневной речи, просил особое присутствие перейти к дальнейшим прениям...

(Процесс 50-ти. Изд. В. Саблина. Стр. 142).

Речи подсудимых.

... После окончания речей защитников подсудимых первоприсутствующий предоставил слово тем подсудимым, которые отказались иметь защитников. Некоторые из них заявили, что они ничего не имеют сказать, а другие представили об'яснения, которые заключали в себе не столько опровержение выставленных против них улик, сколько общие соображения и свои взгляды на значение настоящего дела и на те цели, которые они преследовали. При этом один из подсудимых, а именно крестьянин Алексеев, позволил себе в конце своей речи дерзкие выражения, за что и был остановлен первоприсутствующим. Подсудимый Овчинников не находился в зале суда по болезни и представил письменное заявление, что он отказывается как от своей защиты, так и от права последнего слова. Прокурор не пожелал представить возражений, а потому всем подсудимым было предоставлено право последнего слова, причем одни или повторяли доводы, высказанные уже защитою, или приводили общие соображения; некоторые же не имели ничего заявить...

(Процесс 50-ти, стр. 155).

Речь Бардиной.

Не отрицая факта пропаганды на фабрике Лазарева, я никак не могу согласиться с обвинением, причисляющим меня к организации: я не могла к ней принадлежать уже по одной той причине, что тогда (в апреле) этой организации, как видно, еще не существовало. Само обвинение колеблется назвать апрельскую группу подсудимых организованным тайным обществом и говорит только, что это было какое то ядро, какой то зародыш, из остатков коего впоследствии выросла организация. Я не знаю, под какую вообще статью подводятся зародыши будущих организаций, не знаю, составляли ли другие подсудимые такой зародыш или же организованное общество; знаю только хорошо, что я лично действовала совершенно самостоятельно, не сообразуясь с какой либо программой, выработанной каким либо тайным обществом. Обвинение опирается на факт моего знакомства с некоторыми подсудимыми, принадлежавшими впоследствии к этой организации, но здесь уже было прекрасно доказано многими, что факт знакомства не может служить признаком принадлежности к тайному обществу, так что мне ничего больше не остается говорить об этом. Обвинение напирает на совместное будто бы прожива-

тельство всех подсудимых апрельской группы, но из судебного следствия выяснилось, что все они или имели свои собственные квартиры, или проживали в то время на фабриках, а следовательно, не могли одновременно проживать у меня. В Сыромятниках вместе с другими я также не могла проживать по той простой причине, что в то самое время жила на фабрике Лазарева, и сама свидетельница Дарья Скворцова показала, если Особое Присутствие потрудится припомнить, что к ней раньше всех явились две женщины, Аннушка и Маша, которые в то время жили на машинах, т. е. на фабриках. Между тем с московских фабрик отпускают рабочих только по праздникам до 10 часов вечера, следовательно, я в крайнем случае могла приходить в Сыромятники по праздничным дням, но не жить там. Обвинение считает мою квартиру в д. Корсак одним из революционных притонов, но я напомню Особому Присутствию, что в такого рода местах обыкновенно встречается целый склад книг, шифрованная и нешифрованная переписка, адресы, химические реактивы и т. п.; у меня же не найдено ни одной революционной книги, не взято ни до, ни после ареста шифрованной переписки и даже абсолютно никакой переписки, ни одного документа, из которого можно бы было заключить о моей принадлежности к какому либо тайному обществу.

Обвинение весьма смело утверждает, что в письме от 26-го июля, найденном в Иваново-Вознесенске, упоминается моя фамилия но обвинение, вероятно, забыло: там моей фамилии не находится, а упоминается какая то кличка, которую обвинение, неизвестно почему, приписывает мне. Я еще во время судебного следствия имела удовольствие просить обвинительную власть указать мне те основания, опираясь на которые, она приписывает мне эту кличку, но обвинительная власть не сочла нужным этого сделать, и я остаюсь в прежнем недоумении относительно этого обстоятельства. В том письме говорится, что „тетка сидит в Городской“, и что „ей кто-то послал письмо, а она его изорвала“, но ведь в Городской сидела тогда не одна я—это раз, во-вторых, автор письма мог ошибиться: ему могли сказать, что искомая им личность сидит в Городской, тогда как ее могло там и не быть. Такого рода ошибки могли случиться. Наконец, предположим даже, что эта кличка принадлежит мне, что меня искали, обо мне справлялись, но ведь в программе лиц, которым принадлежит это письмо, не сказано, что следует заводить сношения только с арестованными членами своей организации, а вообще с заключенными—это раз; кличка же сама по себе ничего не доказывает, ибо опять в той же самой программе не говорится, чтобы следовало исключительно давать клички членам своей организации: они могли легко даваться и прочим знакомым. Что это так и было—доказывает следующий факт: в том же, кажется, письме от 26-го июля говорится: „Одесская община предлагает принять Санчо в нашу организацию“, следовательно, личность, известная под названием Санчо, носила эту, как говорит обвинение, кличку ранее, чем она стала членом организации—следовательно, как простой знакомый. Я думаю, что доказа-

тельнее этого факта трудно что-нибудь представить в данном случае. Подобные клички давались даже властям, так, напр., в одном письме было сказано, что четвероногие делали допрос о том-то. Таким образом, строя обвинение на кличках, приходится и лиц, производивших дознание, причислить к преступной организации... Я отказываюсь от чести принадлежать к этой организации не из страха наказания, ибо против меня существуют более веские обвинения, которых я и сама не отрицаю, но я защищаюсь теперь потому только, что это мне кажется пристрастным, если не нелогичным, пристрастным и несправедливым даже с юридической точки зрения.

Я с своей точки зрения ни в чем не считаю себя виновной и подлежащей наказанию, ибо никакого вреда обществу или народу принести не желала и не принесла, надеюсь; конечно, меня также, как и других подсудимых, обвиняют в стремлении разрушить священные основы собственности, семьи, религии, государства, в возбуждении к бунту и стремлении водворить анархию в обществе. Все это было бы весьма ужасно, если бы было справедливо. Но дело в том, что все эти обвинения основаны на одном только недоразумении, которое я постараюсь теперь об'яснить, если суд меня выслушает.

Собственности я никогда не отрицала. Напротив, я осмеливалась даже думать, что я защищаю собственность, ибо я признаю, что каждый человек имеет право на собственность, обеспеченную его личным производительным трудом, и что каждый человек должен быть полным хозяином своего труда и его продукта. И скажите после этого,— я ли, имея такие взгляды, подрываю основы собственности, или тот фабрикант, который, платя рабочему за одну треть его рабочего дня, две трети берет даром? Или тот спекулятор, который, играя на бирже, разоряет тысячи семейств, обогащаясь на их счет и сам не производя ничего? Коммунизма, как нечто обязательное, ни я, ни кто другой из пропагандистов также не проповедует. Мы только выставляем на первый план право рабочего на полный продукт его труда. Затем, как он распорядится с этим продуктом—обратит ли его в общую или частную собственность—это его уже дело. Мы этих вопросов предрешать теперь не беремся, и не можем предрешать, принимая во внимание, что такой строй может осуществиться в далеком будущем, и что подобные детали могут быть выработаны только практикой.

Относительно семьи я также не знаю: подрывает ли ее тот общественный строй, который заставляет женщину бросать семью и итти для скудного заработка на фабрику, где неминуемо развращаются и она, и ее дети; тот строй, который вынуждает женщину, вследствие нищеты, бросаться в проституцию и который даже санкционирует эту проституцию, как явление законное и необходимое во всяком благоустроенном государстве; или подрываем семью мы, которые стремимся искоренить эту нищету, служащую главнейшей причиной всех общественных бедствий, в том числе и разрушения семьи?

Относительно религии я могу сказать только, что я всегда оставалась верна ее духу и существенным ее принципам в том их чистом виде, в каком они проповедывались самим основателем христианства. Кроме того, должна заметить, что ни один свидетель и не говорил, что ему пропагандировали что-либо относительно религиозных вопросов, чтобы отрицали бога и т. п. Свидетельница Дарья Скворцова говорит, например: „бога то они на небесах признавали, только личность его не признавали“, т. е. относились безразлично к некоторым обрядам церкви, к почитанию икон и т. п. Поэтому о религии я ничего больше говорить не буду.

В подрывании государства я столь же мало виновата. Я вообще думаю, что усилия единичных личностей подорвать государства не могут. Если государства разрушаются, то это обыкновенно происходит от того, что они сами в себе носят зародыши разрушения. Так, например, древние государства исчезли с лица земли, ибо они были основаны на рабстве,— на таком базисе, который, как давно известно, не способствует развитию обществ. Конечно, если какое-нибудь данное государство держит свой народ в политическом, экономическом и умственном рабстве, если оно массой неоплатных податей, капиталистической эксплоатацией рабочего и другими ненормальными экономическими и политическими отношениями доводит его до нищеты, болезней, преступлений,—то, конечно, говорю я, такое государство само ведет себя к гибели, но в этом уж не виноваты единичные личности и группы, а, следовательно, не за что ожесточенно преследовать и наказывать их. В противном же случае, т. е. если государство находится в совершенно благонадежном состоянии, то усилия этих лиц не могут грозить ему ровно никакой опасностью; следовательно, наказывать их опять таки не представляется надобности. Вот почему для меня совершенно непонятна логика обвинительной власти, говорящей, что „конечно, опасности для государства тут никакой не может быть“, но что „опасность все таки-существует“... Мне кажется, что решение этой дилеммы может быть только одно.

Меня обвиняют в возбуждении к бунту. Но к непосредственному бунту я никогда не возбуждала народ и не могла возбуждать, ибо полагаю, что революция может быть результатом целого ряда исторических условий, а не подстрекательства единичных личностей. Резня сама по себе для меня, конечно, совсем не желательна. Я вовсе не имею тех кровожадных и свирепых наклонностей, которые всякое обвинение так охотно приписывает всем пропагандистам. Если бы тот идеальный общественный строй, о котором мы мечтаем, мог быть осуществлен без всякого насильственного переворота, то, конечно, мы все были бы рады этому от души. Я полагаю только, что насильственная революция при известных обстоятельствах есть неизбежное зло, которое должно исчезнуть рано или поздно, помимо даже всяких усилий отдельных лиц или групп...

Председатель сенатор Петерс. Эти рассуждения не идут к делу.

Бардина. Я желаю только изложить свой взгляд на революцию и пропаганду: думаю, что мои взгляды совпадают со взглядами многих других подсудимых, и что поэтому мое об'яснение будет не бесполезно, если выставить г.г. судьям пропагандистов в их настоящем свете. Я, господа, принадлежу к разряду тех людей, которые между молодежью известны под именем мирных пропагандистов. Задача их—внести в сознание народа идеалы лучшего, справедливейшего общественного строя, или же уяснить ему те идеалы, которые уже коренятся в нем бессознательно; указать ему недостатки настоящего строя, дабы в будущем не было тех же ошибок, но, когда наступит это будущее, мы не определяем и не можем определить, ибо конечное его осуществление от нас не зависит. Я полагаю, что от такого рода пропаганды до подстрекательства к бунту еще весьма далеко. Обвинение говорит, что мы желаем уничтожить классы и понимает это в таком смысле, что мы хотим вырезать поголовно всех помещиков, дворян, чиновников, купцов и всех богатых вообще. Но это опять таки недоразумение. Мы стремимся уничтожить привилегии, обусловливающие деление людей на классы—на имущих и неимущих, но не самые личности, составляющие эти классы. Я полагаю, что нет даже физической возможности вырезать такую массу людей, если бы у нас и оказались такие свирепые наклонности. Мы не хотим также основать какое-то царство рабочего сословия, как сословия, которое в свою очередь, стало бы угнетать другие сословия, как то предполагает обвинение. Мы стремимся ко всеобщему счастью и равенству постольку, поскольку оно не зависит, конечно, от личных особенностей, от особенностей темперамента, пола, возраста и т. п. Это может показаться утопичным, но, во всяком случае, уж кровожадного и безнравственного здесь ничего нету. На западе такого рода пропаганда ведется каждодневно и решительно никого не поражает своим радикализмом, не смущает умы и не волнует общество,—может быть, потому, что там давно привыкли обсуждать все подобные вопросы, главным образом публично...

Обвинение называет нас политическими революционерами, но если бы мы стремились произвести Coup d'état, то мы не так стали бы действовать, мы не пошли бы в народ, который еще нужно подготовлять да развивать, а стали бы искать и сплачивать недовольные элементы между образованными классами. Это было бы целесообразнее, но дело то именно в том, что мы к такому Coup d'état вовсе и не стремимся. Обвинение говорит еще, что мы хотим водворить анархию в обществе. Да, мы, действительно,стремимся к анархическому устройству общества, но дело в том, что это слово надо понимать в том смысле, в каком его понимает современная литература и я лично, т. е. что оно вовсе не означает беспорядка и произвола. Анархия, напротив, стремится водворить гармонию и порядок во всех общественных отношениях. Она не есть произвол личностей, ибо она признает, что свобода одного лица кончается там, где начинается свобода другого.

Она есть только отрицание той утесняющей власти, которая подавляет всякое свободное развитие общества.

Итак, разобрав все возводимые на меня преступления, я нахожу, что я в сущности ни в одном из них не виновата. Но как бы то ни было и какова бы ни была моя участь, я, господа судьи, не прошу у вас милосердия и не желаю его. Преследуйте нас, как хотите, но я глубоко убеждена, что такое широкое движение, продолжающееся уже несколько лет сряду и вызванное, очевидно, самим духом времени, не может быть остановлено никакими репрессивными мерами...

Председатель сенатор Петерс. Нам совсем не нужно знать, в чем вы так убеждены.

Бардина. Оно, может быть, подавлено на некоторое время, но тем с большей силой оно возродится снова, как это всегда бывает после всякой реакции подобного рода,—и так будет продолжаться до тех пор, пока наши идеи не восторжествуют. Я убеждена еще в том, что наступит день, когда даже и наше сонное и ленивое общество проснется, и стыдно ему станет, что оно так долго позволяло безнаказанно топтать себя ногами, вырывать у себя своих братьев, сестер и дочерей и губить их за одну только свободную исповедь своих убеждений. И тогда оно отомстит за нашу гибель.... Преследуйте нас—за вами пока материальная сила, господа; но за нами сила нравственная, сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи—увы, на штыки не улавливаются...

Речь Петра Алексеевича Алексеева.

Мы, миллионы людей рабочего населения, чуть только станем сами ступать на ноги, бываем брошены отцами и матерями на произвол судьбы, не получая никакого воспитания. за неимением школ и времени, от непосильного труда и скудного за это вознаграждения. Десяти лет—мальчишками нас стараются проводить с хлеба долой на заработки. Что же нас там ожидает? Понятно, продаемся капиталисту на сдельную работу из-за куска черного хлеба, поступаем под присмотр взрослых, которые розгами и пинками приучают нас к непосильному труду; питаемся кое чем, задыхаемся от пыли и испорченного зараженного разными нечистотами воздуха. Спим, где попало—на полу, без всякой постели и подушки в головах, завернутые в какое нибудь лохмотье и окруженные со всех сторон бесчисленным множеством разных паразитов... В таком положении некоторые навсегда затупляют свою умственную способность, и не развиваются нравственные понятия, усвоенные еще в детстве; остается все то, что может выразить одна грубо воспитанная, всеми забитая, от всякой цивилизации изолированная, мускульным трудом зарабатывающая хлеб рабочая среда. Вот, что

нам рабочим, приходится выстрадать под ярмом капиталиста в этот детский период. И какое мы можем усвоить понятие по отношению к капиталисту, кроме ненависти? Под влиянием таких жизненных условий с малолетства закаляется у нас решимость до поры терпеть, с затаенной ненавистью в сердце, весь давящий нас гнет капиталистов и без возражений переносить все причиняемые нам оскорбления.

Взрослому работнику заработную плату довели до минимума; из этого заработка все капиталисты без зазрения совести стараются, всевозможными способами отнимать у рабочих трудовую копейку и считают этот грабеж доходом. Самые лучшие для рабочих из московских фабрикантов,—и те, сверх скудного заработка, эксплоатируют и тиранят рабочих следующим образом. Рабочий отдается капиталисту на задельную работу, безпрекословно и с точностью исполнять все рабочие дни и работу, для которой поступил, не исключая и бесплатных хозяйских чередов. Рабочие склоняются перед капиталистом, когда им, по праву или не по праву, пишут штраф, боясь лишиться куска хлеба, который достается им 17-ти часовым дневным трудом. Впрочем, я не берусь описывать подробности всех злоупотреблений фабрикантов, потому что слова мои могут показаться неправдоподобными для тех, которые не хотят знать жизни работников и не видали московских рабочих, живущих у знаменитых русских фабрикантов: Бабкина, Гучкова, Бутикова, Морозова и др.

Председатель сенатор Петерс. Это все равно, вы можете этого не говорить.

Петр Алексеев. Да, действительно, все равно, везде одинаково рабочие доведены до самого жалкого состояния. 17-ти часовой дневной труд—и едва можно заработать 40 копеек. Это ужасно! При такой дороговизне с'естных припасов приходится выделять из этого скудного заработка на поддержку семейного существования и уплату казенных податей. Нет! При настоящих условиях жизни работников невозможно удовлетворять самым необходимейшим потребностям человека. Пусть пока они умирают голодной, медленной смертью, а мы, скрепя сердце, будем смотреть на них до тех пор, пока освободим из под ярма нашу усталую руку, и свободно можем тогда протянуть ее для помощи другим!

Отчасти все это странно, все это непонятно, темно и отчасти как-то прискорбно, а, в особенности, сидеть на скамье подсудимых человеку, который чуть ли не с самой колыбели всю свою жизнь зарабатывал 17-ти часовым трудом кусок черного хлеба. Я несколько знаком с рабочим вопросом наших собратьев-западников. Они во многом не походят на русских: там не преследуют, как у нас, тех рабочих, которые все свои свободные минуты и много бессонных ночей проводят за чтением книг; напротив, там этим гордятся, а об нас отзываются, как о народе рабском, полудиком. Да как иначе о нас отзываться? Разве у нас есть свободное время для каких-нибудь занятий? Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка? Разве у нас есть полез-

ные и доступные книги для работника? Где и чему они могут научиться. А взгляните на русскую народную литературу. Ничего не может быть разительнее того примера, что у нас издаются для народного чтения такие книги, как „Бова королевич", „Еруслан Лазаревич", „Ванька Каин", „Жених в чернилах и невеста во щах" и т. п. Оттого то в нашем рабочем народе и сложились такие понятия о чтении: одно—забавное, а другое—божественное. Я думаю, каждому известно, что у нас в России рабочие все еще не избавлены от преследований за чтение книг; а в особенности если у него увидят книгу, в которой говорится о его положении—тогда уж держись. Ему прямо говорят: „ты, брат, не похож на рабочего, ты читаешь книги"! И страннее всего то, что и иронии не заметно в этих словах, что в России походить на рабочего то же, что походить на животного. Господа, неужели кто полагает, что мы, работники, ко всему настолько глухи, слепы, немы и глупы, что не слышим, как нас ругают дураками, лентяями, пьяницами? Что уж как будто и на самом деле работники заслуживают слыть в таких пороках. Неужели мы не видим, как вокруг нас все богатеют и веселятся за нашей спиной? Неужели мы не можем сообразить и понять, почему это мы так дешево ценимся и куда девается наш невыносимый труд? Отчего это другие роскошествуют, не трудясь, и откуда берется ихнее богатство? Неужели мы, работники, не чувствуем, как тяжело повисла на нас так называемая всесословная воинская повинность. Неужели мы не знаем, как медленно и нехотя решался вопрос о введении сельских школ для образования крестьян, и не видим, как с'умели это поставить? Неужели нам не грустно и не больно было читать в газетах высказанное мнение о найме рабочего класса? Те люди, которые такого мнения о рабочем народе, что он не чувствителен и ничего не понимает, глубоко ошибаются. Рабочий же народ, хотя и остается в первобытном положении и до настоящего времени не получает никакого образования, смотрит на это, как на временное зло, как и на самую правительственную власть, временно захваченную силой, и только для одного разнообразия ворочающую все с лица да на изнанку.

Да больше и ждать от нее нечего! Мы, рабочие, желали и ждали от правительства, что оно не будет делать тягостных для нас нововведений, не станет поддерживать рутины и обеспечит материально крестьянина, выведет его из первобытного положения и пойдет скорыми шагами вперед. Но, увы! Если оглянемся назад, то получаем полное разочарование, и если при этом вспомним незабвенный, предполагаемый день для русского народа, день, в который он с распростертыми руками, полный чувства радости и надежды обеспечить свою будущую судьбу, благодарил царя и правительство. 19-го февраля... И что же?! И это для нас было одной мечтой и сном!... Эта крестьянская реформа 19-го февраля 61 года, реформа „дарованная", хотя и необходимая, но не вызванная самим народом, не обеспечивает самые необходимые потребности крестьянина. Мы по-прежнему остались без куска хлеба с клочками никуда негодной земли и перешли в зависимость к капиталисту.

Именно, если свидетель, приказчик фабрики Носовых, говорит, что у него за исключением праздничного дня все рабочие под строгим надзором, и не явившийся в назначенный срок на работу не остается безнаказанным, а окружающие ихнюю сотни подобных же фабрик набиты крестьянским народом, живущим при таких же условиях, значит— они все крепостные! Если мы, к сожалению, нередко бываем вынуждены просить повышение, пониженной самим капиталистом заработной платы, нас обвиняют в стачке и ссылают в Сибирь значит, мы крепостные! Если мы со стороны самого капиталиста вынуждены оставить фабрику и требовать расчета вследствие перемены доброты материала и притеснения от разных штрафов, нас обвиняют в составлении бунта и прикладом солдатского ружья приневоливают продолжать у него работу, а некоторых, как зачинщиков, ссылают в дальние края,—значит, мы крепостные! Если из нас каждый отдельно не может подавать жалобу на капиталиста, и первый же встречный квартальный бьет нас в зубы кулаком и пинками гонит вон,—значит, мы крепостные!

Из всего мною вышесказанного видно, что русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя и не от кого ожидать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной молодежи...

Председатель вскакивает и кричит: „Молчите! Замолчите"!.. Петр Алексеев (возвысив голос, продолжает): Она одна братски протянула к нам свою руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российской Империи. Она одна до глубины души прочувствовала, что значат и отчего это отовсюду слышны крестьянские стоны. Она одна не может холодно смотреть на этого изнуренного, стонущего под ярмом деспотизма, угнетенного крестьянина. Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская руки, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратьев, из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока (говорит подняв руку) подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда...

Председатель волнуется и, вскочив кричит: „молчать! молчать!"

Петр Алексеев (возвышая голос)... и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!..

Речь С. И. Агапова.

Г.г. судьи! Я не буду отрицать то, что я был пропагандистом, но я желаю высказать причины, которые привели меня на скамью подсудимых. Я—рабочий; я с малолетства жил на фабриках и на заводах, где был всегда честным старательным работником. Я не намерен утруждать внимание Особого Присутствия описанием тяжкого, безотрадного положения наших рабочих: оно более или менее известно всем и каждому. Очень понятно, что я искал какого-нибудь выхода из этого невыносимого положения.

Я много думал о средствах улучшить быт рабочих и, наконец, сделался пропагандистом. Цель моей пропаганды заключалась в том, чтобы подготовить рабочих к социальной революции, без которой им, по моему мнению, никогда не добиться существенного улучшения своего положения. Я не раскаиваюсь в своих поступках, я твердо убежден в том, что не сделал ничего дурного, а только исполнил свой долг, долг честного рабочего, искреннего, всей душой преданного интересам своих бедных замученных собратий! Больше сказать я ничего не имею.

Речь Георгия Феликсовича Здановича.

Вы выслушали, господа судьи, обвинение, выслушали защиту, выслушайте теперь одного из тех, к которым, по уверению обвинения, следует отнестись с порицанием, а по уверению защиты, по крайней мере, некоторых из защитников, — с сожалением. С сожалением! Я не знаю, нуждаемся ли мы, вообще все подсудимые, в чьем бы то ни было сожалении, но что касается до меня, я скорее соглашусь, чтобы ко мне относились с порицанием, чем с сожалением. Не надо сожаления—оно оскорбительно. Один древний философ, если не ошибаюсь, Демокрит говорил: „Смейтесь надо мной, но не жалейте меня".

Защита моя будет коротка, я не стану говорить много. Я совершенно отбрасываю фактическую сторону, хотя и мог бы сказать кое-что в свою пользу. Я мог-бы, например, обратить ваше внимание на то обстоятельство, что в Кишиневе ни в одной гостиннице меня не признали, не признали меня также весовщик и кассир на кишиневском вокзале, добавив, что они всегда узнают то лицо, которое отправляло книги. Но я все это опускаю, прохожу мимо. Мне, быть может, приходится говорить сегодня в последний раз в своей жизни, и это дает мне право надеяться, что мне будет позволено высказать несколько общих мыслей по поводу современного движения.

У нас очень распространено мнение, что Россия резко отличается от Западной Европы, что мы идем и должны итти по иному, своеобразному пути. В этом мнении много правды, но им слишком часто злоупотребляют. Не надо забывать, что наука не знает национальности, что цивилизация и человеческие идеи международны. Конечно, идеалы человечества перерабатываются сообразно условиям исторической жизни народов, так что, оставаясь по существу общими для всех народов, они, т.-е. идеалы, в подробностях приспособляются к условиям страны. Но изучение европейской цивилизации показало, что России вовсе не расчет выделять себя из семьи европейских народов, что, напротив, она обязана связать свою судьбу с судьбою Запада и вместе с ним работать для достижения лучших условий существования.

Экономические основы народной жизни везде одинаковы. Как там, на Западе, так и в России существуют, с одной стороны, маленькая группа, назовем ее хоть группою привилегированных, с другой— масса, большинство, обреченные на без'исходные страдания. Не мало великих умов, не мало благородных сердец работало над разрешением социального вопроса. Социализм стар, как сам мир. Только формы и средства разрешения вопроса в различные исторические периоды дела не одинаковы. В последнее время, когда так называемый естественный ход событий получил полное развитие, когда темные стороны современной цивилизации высказались ясно, ярко, социализм стал на практическую почву, создал свою самостоятельную партию. С каждым днем силы народной партии растут, чем дальше, тем страшнее становится пропасть, отделяющая сытое, праздное меньшинство от голодного, ограбленного большинства. Одна из характерных сторон современного европейского рабочего движения заключается в том, что народы сознали солидарность своих интересов, одинаковость своего положения и подали друг другу руку для общей борьбы, так что новейшая постановка социального вопроса делит человечество не по национальности, а на притесняемых и притесняющих; мерилом группировки человеческих обществ является не территория, не язык и племенные особенности, а экономическое начало, положенное в основу народной жизни. Экономический строй везде одинаков. Спрашиваю я вас, можно ли с этой точки зрения выделить Россию из рабочего движения? Нельзя ли требования европейских народов пред'явить здесь с таким же правом, как там? Едва ли кто решится утверждать, что в общем обстановка труда в России резко отлична от обстановки труда на Западе. Конечно, у каждой страны свои особенности, но главная жилка экономического вопроса абсолютно везде одинакова, и поэтому-то возможна общая постановка социального вопроса для всех народов, не исключая и России.

Вот почему мы видим, что развитие социализма, как идеи, шло в России почти параллельно развитию его на Западе. Достаточно указать на конец 40-х годов в Европе и у нас на 60-е годы, наконец, на современное положение вопроса здесь и там. При этом проч-

ности постановки социального вопроса в России помогали исторические судьбы русского народа. Я хочу сказать, что элементы народной жизни заключали в себе много сходного с теоретическим социализмом, поэтому он не был у нас чем-нибудь небывалым, несогласным с условиями русской жизни,—напротив, существовало, отчасти существует и теперь мнение, что социализм, революционный на Западе,—у нас консервативен. Если там вопрос должен решиться силой, то у нас он может быть решен мирным путем. И этого взгляда держались вначале не одни отсталые люди. Русская мододежь, выработав социалистические убеждения, естественно должна была проводить их в жизнь. Первые же ее шаги в этом направлении мирного решения вопроса были неудачны, все ее попытки встречались, если не прямо враждебно, то, по меньшей мере, недоверчиво. Недоверие это доходило до того, что деятели вдруг куда-то исчезали, предприятия лопались, дело приходило в упадок, молодежь призадумалась.

Что же делать? Итти к заветной цели мирным путем оказывается невозможным; сидеть, сложа руки, и ждать решения свыше—это не мирится с искренностью убеждений и с величием цели. Ужели согласиться с тем, что естественный ход решит вопрос, что наша обязанность наблюдать только, изучать народную жизнь, знакомиться с законами истории;—что лбом стены не прошибешь, и что поэтому наши стремления и требования не должны итти в разрез с настоящими, исторически выработанными условиями государственной жизни. Но, ведь это в переводе значит пожать руку доктору Панглосу, иными словами, значит признать, что все идет к лучшему в сем наилучшем из миров. Нет, подобная двусмысленная философия не могла нравиться русской молодежи. С одной стороны, прогресс социальных учений на Западе, с другой—домашние русские условия переработали социализм русской молодежи, социализм мирный, государственный, в революционный. Она, молодежь, решилась, несмотря на все опасности, итти к цели путем революционным, и современное движение, по преимуществу, социально-революционное. Оно не есть явление случайное, преходящее, оно охватило почти всю молодежь, все живые ее силы. Оно не могло не коснуться и меня. Я пошел по той же дороге, работал по мере сил и возможности для великой задачи народного освобождения, и работал бы до сих пор, если бы не был арестован.

Но что же такое народное возрождение, в чем оно заключается? Оно заключается в том, чтобы народный труд не эксплоатировался под каким бы то ни было видом, чтобы народное сознание не затемнялось предрассудками невежества, порождением безысходной нищеты, и чтобы нравственность народа не падала, что неизбежно при убийственной обстановке народной жизни. Достигнуть этого возможно при полнейшей самостоятельности автономии общин, владеющих землею и всеми орудиями производства сообща, при свободе труда и обязательности его для каждого индивидуума. Вот мои стремления. Средством для их осуществления, по моему, служит: внести в народ сознание солидарности своих интересов, осмыслить народное недовольство, соеденить разрознен-

ные силы и сообща добиваться более справедливых условий существования. Что положение народа невыносимо, что недовольство его велико,— это факт, не подлежащий сомнению. Но надо воспользоваться этим фактом не для бесплодных единичных вспышек и бунтов, а для более серьезного, прочного решения вопроса.

Таковы в общих чертах мои убеждения, и они-то заставляют меня сказать несколько слов по поводу программы, отобранной у меня. Признаюсь, после многочисленных как со стороны обвинения, так и со стороны защиты указаний на нее, я считаю более целесообразным не касаться этого вопроса, но не могу пройти молчанием одного факта. Прокурор, характеризуя настоящее движение, назвал его политическим движением, но не социалистическим, а нас политическими революционерами в противоположность социалистам. Он не испугался даже сравнить принципы современного движения с принципами Интернационала. Говоря откровенно, я не понимаю, зачем это ему понадобилось, но из этого сравнения для меня ясно одно: или прокурор недостаточно знаком с социальными и нравственными науками, или же он руководствовался какими-либо посторонними соображениями, к существу дела не относящимися. Но я не стану распространяться об этом предмете, ибо это ввело бы меня в подробности, быть может, неуместные здесь, на суде. Однако, я полагаю, что сама программа могла указать прокурору на ошибочность его взгляда, но он, повидимому, не захотел ее понять, как следует. Между прочим, он обратил особенное внимание на один отдел этой программы; я хочу говорить именно об этом отделе. Но прежде всего, я должен заявить, что программа эта принадлежит не моему перу, не я ее автор. Говорю я все это не для того, чтобы, так сказать, сбросить с своих плеч силу обвинения. Нет. Я заявляю свою солидарность с общим ее направлением, но мои убеждения не позволяют мне согласиться с некоторыми отделами. Таков, например, отдел так называемой чистой агитации. На этот же отдел указывал прокурор и пытался дать толкование, имеющее целью доказать, что шайки образуются для грабежей. Если не делал такого прямого вывода, то, по крайней мере, намекал на это. Целью этих шаек в программе ставится добывание средств, но не упоминается, каким путем шайки добывают эти средства, о грабеже нет и помину. Между тем в той же программе есть параграф, воспрещающий членам организации, пропагандистам, заниматься исключительно добыванием средств. Вот какой смысл имеет этот вопрос! Но, оставляя в стороне эту часть вопроса, самая возможность проекта о шайках вообще об'ясняется не характером постановки социального вопроса в России, а теми преследованиями и гонениями, которые воздвигнуты на русскую молодежь. Крайности всегда вызывают крайности противоположного свойства. Давлению отвечает отпор—это закон механики. Трудно, в самом деле, оставаться спокойным, когда единственным средством убеждения молодежи служит тюрьма, каторга, когда всякая честная попытка убивается грубой силой. Но как мало убедительны подобные средства, видно из горькой истории русской

молодежи. Почти каждый день теряет она по несколько друзей, товарищей, одних провожает в каторгу, других, не вынесших мучений,— в могилу, но она ни разу не изменила своим целям, своим убеждениям. Из пустого ребячества, г. г. судьи, из самолюбия, а тем паче из грязных побуждений редко люди жертвуют собой и идут на добровольные страдания. Только те убеждения двигают людей на рискованные дела, которые сделались потребностью натуры. В настоящее время молодая сила, не успевшая погрязнуть в тину практической жизни, абсолютно не понимает, как можно не работать в интересах народа, как можно сидеть, сложа руки, или опасаться последствий своих честных стремлений. Самоотверженность сделалась явлением обыкновенным, создалась, так сказать, социалистическая атмосфера, именно такие условия, которые предвещают успех современному движению.

Помимо причин, указанных выше, т. е. того, что в русском народе живет идея социализма, равенства, выразившаяся в общинном землевладении, помимо самопожертвования и преданности своим убеждениям русской молодежи, будущее настоящего движения обеспечено еще общими историческими условиями. История развития элементов русской жизни многим разнится от истории развития Западной Европы. Там мы видим сильно развитую политическую жизнь, множество партий разных оттенков, борьбу интересов различных общественных групп. Ничего подобного в России не существует, и на это есть своя историческая причина. Образование партий там было неизбежно: нарождались известные интересы, идеи, которые группировали людей в одну тесную, организованную партию. Борьба началась там с испокон веков, и борьба шла таким путем: сперва создавались интересы общественные, сословные, а потом они получали уже стройную систему, обращались в теорию. Каждая из европейских партий стояла в свое время впереди движения, представляла собою прогрессивную силу, была обладательницей передовой мысли. Ни одна партия не может иметь будущего, если она не способна жертвовать личностями для общих интересов, ни одна партия не может быть живою, сильною партиею, если члены ее не вложили всю душу в дело свое. Помимо этого, партия бывала сильна и представляла передовую мысль только до тех пор, пока не отделяла своих интересов от интересов народа. Между тем в России никакой жизни, никакой борьбы наблюдать нельзя. Начало русской истории, повидимому, заключало в себе элементы развития политической жизни. Но вот наступила татарщина, все заглохло. В этой тишине, во время этого сна работала, одна сила—монархическая. Со времени свержения татарского ига все интересы олицетворяются в государственной власти, все взоры обращены к ней. Дворянство теряет всякое самостоятельное значение, члены этого сословия—слуги и холопы царские. Буржуазии нет. Народная партия и народная свобода, уцелевшие от татарского погрома, были уничтожены государственной властью. Великий Новгород и Псков пали. Партий не могло быть: духовенство не представляло отдельной, независимой корпорации—

это был подчиненный орган государственной власти. Дворянство не жило своей жизнью, оно не имело даже личной собственности: все, и земля и люди, принадлежит царю, от его воли зависит одарить или лишить всего имущества. Нет интересов дворянства, нет дворянства, как самостоятельного, организованного сословия.

Председатель сенатор Петерс (останавливая Здановича). Это к делу не относится.

Зданович. Полагаю что именно относится. Я хотел этим указать на исторические факты, установить то положение, что в России немыслимо образование партий, так сказать, привилегированных, сословных. Они упустили удобную историческую минуту. Я хотел указать на всю законность социально-революционного движения и на то, в особенности, что одна народная партия имеет будущее как потому, что представляет интересы большинства, так и потому, что она одна стоит на высоте развития передовых идей нашего времени. Она сильна, сильна единством, чистотой своих принципов, самоотверженностью своих членов. Победа ее несомненна. Первые жертвы, гибель многих ее членов, еще более придают ей силы и нравственного достоинства. Я глубоко верю в победу народа, в торжество социальной революции.

Сборник. Речи и биографии Бардиной, Алексеева, Здановича, Агапова, Мышкина.

Рабочий Петр Алексеев.

(По восп. Пекарского).

„Рабочий Петр Алексеев“—под таким преимущественно названием известен в интеллигентной и рабочей среде пропагандист 70-х годов, судившийся по процессу 50-ти, ткач по профессии, Петр Алексеевич Алексеев, крестьянин Смоленской губ.

Свою огромную известность он получил после произнесения им, действительно, замечательной речи, своего „последнего“ слова, этого обвинительного акта против существовавшего строя. За это он и был приговорен к нескольким годам каторги. Это было в 1877 году, когда отпечатанные нелегальные оттиски речи Алексеева распространялись среди тогдашней молодежи и зачитывались в буквальном смысле слова до дыр. Впечатление было ошеломляющее, незабываемое до сих пор. Как удары молота, и теперь еще звучат в ушах сильнейшие места речи, облетевшей всю Россию и произведшей впечатление пушечного выстрела по существующему строю. Не даром Алексеева, против которого почти не было никаких улик, „закатали в каторгу“, запрятали в Харьковскую центральную тюрьму, вместе с другими „заживо погребенными“; только во время „диктатуры сердца“, в 1880 году, этих заживо погребенных выпустили из тюрьмы и решили отправить в Сибирь, на Кару. Речь

Алексеева проникла в самое сердце и душу тогдашней молодежи, которая страстно желала посвятить все свои силы для облегчения народны страданий.

Алексеев родился 14 января 1849 г. в бедной крестьянской семье, в деревне Новинской, Сычевского уезда, Смоленской губ. Грамоте он научился взрослым, пройдя всевозможные роды тяжелой крестьянской работы и по поступлении уже на ткацкую фабрику. В 16—17 лет он сам собою, без помощи настоящего учителя, выучился читать и писать. Позже, когда ему было уже за двадцать, он случайно столкнулся с революционерами. В 1873 году к осени, у фабрики Торнтона, за Невской заставой, жил для цели пропаганды чайковец Синегуб с женой. Число приходивших к нему рабочих вскоре так возросло, что он должен был пригласить к себе на помощь сначала двух товарищей из вспомогательного кружка, а затем перетащил к себе и Перовскую... На руки последней Синегуб передал пришедшего к нему какого-то Петра Алексеева с 4 товарищами. Петр Алексеев не был тогда затронут революционной пропагандой и желал просто учиться, „жаждал чистой науки", как говорил Синегуб. Особенно привлекала его почему-то геометрия.

Революционеры, молодые люди и девушки, большею частью принадлежавшие к „интеллигентному слою общества", не только обсуждали с Алексеевым общее положение дел, отвечали на вопросы, на которые он раньше нигде не мог найти ответа, но еще снабжали книгами, которые он жадно читал по ночам, после долгой дневной работы. Значительная часть этой литературы была подцензурная, но хорошо подобранная. То же, что было не договорено или искажено в подцензурных книжках, раз'яснялось и говорилось прямым языком в изданиях революционных. А народная революционная литература была тогда в расцвете... Таким образом Петруха получил возможность не только сам понять подкладку вещей, но еще и распространять истину среди своих товарищей.

Конечно, он схватился за эту возможность со всем пылом новичка, перед которым внезапно открылся свет, но в то же время и со всей практичностью мужика или фабричного, знавшего, с которой стороны подойти к человеку своей среды и как с ним говорить. Он поступал на известную фабрику, работал на ней некоторое время, и, когда убеждался, что колесо пропаганды пошло в ход, переходил на другую. Подчас ему приходилось скрываться внезапно, когда книжки попадались, и ему грозила опасность немедленного ареста, но это бывало редко. Хотя в обвинительном акте по процессу 50-ти упоминается, в связи с именем Алексеева, всего две фабрики, но товарищи впоследствии говорили Ф. Волховскому о пропагандистской деятельности Алексеева, как об очень ценной и успешной.

4 апреля 1875 г. Алексеев был арестован в Москве вместе с 8 товарищами, из которых двое были женщины. Они были взяты на их общей квартире, в доме Корсак. Хотя все они (кроме одной девушки) были одеты по крестьянски, на самом деле лишь трое—сам Алексеев, Панфутий Николаев и Семен Агапов,—были рабочие: остальные были быв-

шие студенты и студентки, жившие по крестьянским и мещанским паспортам, занимавшиеся пропагандой. (Джабадари, Ал. Лукашевич, В. Георгиевский, Чикоидзе, Бардина и Каминская).

Тюрьма начала совершенно новый период жизни Алексеева...

Запертому в четырех стенах, ему нечего было больше делать, как читать (когда давали книги), размышлять, да урывками разговаривать или переписываться с товарищами, стоявшими выше его по образованию. Два года тюрьмы несомненно прояснили много в его уме и укрепили те чувства, те взгляды, из-за которых он туда попал... Он отказался выбрать себе защитника, говоря: „Что мне защищаться? Какой смысл имеет защита, когда всякому известно, что в подобных процессах приговор суда бывает составлен заранее, так что весь этот суд есть не более как комедия: защищайся не защищайся—все равно! Я отказываюсь от защиты".

„Последнее слово" Алексеева было в действительности обвинительной речью по адресу тогдашнего государственного строя. За свою речь Алексеев получил десять лет каторжных работ в рудниках.

Насколько власть опасалась влияния речи Алексеева на грамотную Русь, доказательством служат те преследования, которым правительство подвергало издания: „Две речи" и Ф. Велховский. „Ткач Петр Алексеев".

Речь Алексеева производила неотразимое впечатление на молодежь именно потому, что она принадлежала крестьянину рабочему, представителю того самого элемента, приобщения которого к революции так страстно жаждала тогдашняя революционная интеллигенция...

...Находились лица, которые, в силу какого-то недоразумения, отрицали за Алексеевым даже заслугу составления его знаменитой речи. Я был свидетелем эпизода, когда один из тогдашиих административно-ссыльных, Сергей Михайлович Терещенко, так-таки прямо и бацнул: „А я слышал, что не вы сами сочинили сказанную вами речь, а что она была составлена для вас товарищами". Надо было видеть впечатление, произведенное на Алексеева этими словами. Задыхаясь от волнения, Алексеев только сказал:—„Нет, этой чести я никому не уступлю!".

(„Былое" 1922 г. № 19, стр. 89—99).

Из воспоминаний Степняка Кравчинского о деле 50-ти.

„До этого процесса социалистов знала только молодежь. Что же касается до общества в массе, то оно совсем не знало, да и не интересовалось знать ни что это за люди, ни каковы их цели и стремления. Оно смутно слышало о том, что этих людей хватают, держат, ссылают. Иногда оно, пожалуй, даже старчески-дрябло сочувствовало им, когда до него доходила весть либо о чьей нибудь смерти или сумасшествии, либо о каком-нибудь из ряда вон выходящем зверстве, совершенном над одним из сидящих. Дальше не шли ни сведения, ни сочувствие к этим людям—в массе...

И вот разряжается „процесс пятидесяти“. Перед изумленной публикой—лучезарные фигуры девушек, которые с спокойным взором и с детски-безмятежной улыбкой на устах идут туда, откуда нет возврата, где нет места надежде,—идут в центральные тюрьмы, на многолетнюю каторгу. Она слышит чудную, точно благоухающую верой и любовью речь Бардиной. Слышит строго стройную речь Здановича, в которой из под холодной и строгой оболочки мыслителя точно рвется наружу непоколебимое, страстное убеждение фанатика. Наконец, когда эта публика, пораженная, смущенная, не знает, что сказать, что подумать, над ней раздается могучее, громовое слово П. Алексеева—крестьянина, представителя самого народа, и слышится в нем точно голос той многоголовой, многоязычной, массы, которая в недрах своих носит будущее,—неведомое, грозное, быть может, кровавое...

„Времена апостольские возвращаются“ в глубоком душевном умилении говорили одни, выходя из залы заседаний. „Новая сила народилась“, говорили другие...

(Процесс 50. Ред. Каллаша. Изд. Саблина. Стр. V—VI).

«Узница» — стихотворение Полонского.

1877 год.

Что мне она?—не жена, не любовница
И не родная мне дочь,
Так отчего ж ее доля проклятая
Ходит за мной день и ночь?
Словно зовет меня, в зле неповинного,
В суд отвечать за нее —
Словно страданьем ее заколдовано
Бедное сердце мое.
Вот и теперь, мне как будто мерещится
Жесткая койка тюрьмы,
Двери с засовами, окна под сводами,
Мертвая тишь полутьмы,
Из полутьмы этой смотрят два знойные
Глаза без мысли и слез,
Не шевелятся ни губы, ни смятые
Космы тяжелых волос,
Не шевелится ни локоть, ни тощие
Руки на тощей груди,
Слабо прижатые к сердцу без трепета
И без надежд впереди.—
Сколько же лет ей? Семнадцать неужели?
Правда ли,—мне говорят,—
Что эта девушка, в счастьи не жившая,
Что ей не верят и мстят,—
Мстят ей за бедность ее без смирения,
Мстят за свободу речей,
Мстят ей за страстный порыв нетерпения
Мстят за любовь без цепей.
Может ли быть? Мне как будто не верится,
Что так тяжел приговор
Света, в котором кишат лицемерные
Плуты—развратник иль вор.
Скоро ли ж будет бедняжка оправдана
Снова любить и желать?
Или уж скоро ли в саване вынесут
Тело ее отпевать?
О, что нибудь! или жизни придавленной
Дайте вздохнуть и расцвесть,
Иль до суда поспешите добить ее,
Чтоб утолить вашу месть.

„Былое“ 1906 г., № 1. Стр. 94—95.

«Порог» Тургенева.

Я вижу громадное здание. В передней стене узкая дверь раскрыта настежь. За дверью—угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка, русская девушка. Морозом дышит та непроглядная тьма и, вместе с леденящей струей, выносится из глубины здания медлительный голос:

— О ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает?

— Знаю, отвечает девушка.

— Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь, самая смерть.

— Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

— Не только от врагов, но и от родных, друзей...

— Да, и от них.

— Хорошо, ты готова на жертву. Ты погибнешь, и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить.

— Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени.

— Готова ли ты на преступление?..

Девушка потупила голову...

— И на преступление готова...

Голос не тотчас возобновил свои вопросы:

— Знаешь ли ты,—заговорил он, наконец,—что ты можешь разубедиться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?

— Знаю и это.

— Войди!

Девушка перешагнула порог, и тяжелая завеса упала за нею.

— Дура!—проскрежетал кто то.

— Святая—пронеслось откуда то в ответ... (Процесс 50. Ред. Каллаша. Изд. Саблина).

Из Некрасова (к делу 50).

Смолкли честные, доблестно павшие;
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие...
Но разнузданы страсти жестокие.
Вихорь злобы и бешенства носится
Над тобою, страна безответная.
Все живое, все честное косится...
Слышно только, о ночь безрассветная,
Среди мрака тобою разлитого,
Как враги, торжествуя, скликаются...
Так на труп великана убитого
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются... (Стих Некрасова. Стр. 439).

Петру Алексееву.

Сборник Перовой (Бонч-Бруевич).

Барству да маклачеству
Неужель потворствовать...
Не хотелось молодцу
Кланяться, холопствовать.
Не взлюбило пылкое
Сердце непокорное
Путь—дорожку битую,
Путь—дорожку торную.
Правду не подкопную,
Божий свет увидела
Голова удалая
И возненавидела
Долю подневольную,,,
Волюшку забитую,
Злобу окаянную,
Злобу ядовитую;
Вызвать в бой осмелилась
Гордо, без смущения,
Царскую опричнину,
Силу угнетения.
Эй же, и озлобились
Подлостью богатые,
Палачи народные
Палачи проклятые.
Каменное, жесткое,
Сердце их гранитное
Ядом переполнилось,
Местью ненавистною.
Говорят удалому
Речи ненавистные;
„За свободомыслие
Чувства бескорыстные
Да за жизнь рабочую,
Трудную, да серую
Получи наградушку
Нашу полной мерою:
Ты слюбился с волюшкой,
Что с душой девицею;
Так спознайся, молодец
С душною темницею.
Не взлюбил ты горюшко,
Жизнь раба бездольную—
Так уж выпей, молодец,
Горя чашу полную.
Чтобы гребню частому
Не было работушки,
Этой непоклончивой
Сбреем полголовушки;
В звании кандальника,
Битого, голодного,
Ройся в адском темени
Рудника холодного;
Знай, землицу матушку
Заступом покапывай,
Песни пой о волюшке,
Да цепьми побрякивай.
Думал ты, для родины
Цепи рабства пагубны,—
Так добудь железца нам,
Нам на цепи надобно.
А уж цепи выкуем,
Так на славу, тонкие,
Хоть тяжеловатые,
Да, как гусли, звонкие“.
Голова удалая
Все ж не поклонилася,
Сердце молодецкое
Все ж не покорилося:
„Что ж закуйте в цепь меня
И обрейте голову,
Но не сброшу с плеч своих
Я креста тяжелого;
На бегу страдания,—
Сила в нем великая,—
Перед ним рассеется
Ваша злоба дикая;
На него помолится
Весь народ задавленный,
Славой увенчается
Вами обесславленный“.

Вербовчанин.

ПРОЦЕСС 193-х

Процесс 193-х.

1877 г.

Из обвинительного акта.

В половине мая 1874 г. финляндским уроженцем Иоганом Пельконен была открыта в г. Саратове, на Царицынской улице в доме Превратухиной, башмачная мастерская, в скором времени обратившая на себя внимание полиции странным и подозрительным поведением проживавших в ней лиц, вследствие чего 31-го мая в означенной мастерской был сделан обыск. Результаты обыска, а равно как и произведенного вслед за сим дознания, привели к несомненному убеждению, что мастерская Пельконен служила притоном для лиц, принадлежащих к революционному сообществу, имевшему разветвления в разных местностях империи, в виду чего было признано необходимым сосредоточить в одних руках повсеместное расследование преступной деятельности обнаруженного сообщества, каковое расследование, по высочайшему повелению, и было возложено на начальника московского губернского жандармского управления генерал-лейтенанта Слезкина. Произведенное последним под наблюдением прокурора саратовской судебной палаты, действительного статского советника Жихарева, дознание вполне подтвердило действительное существование в России, в период времени 1873—1874 года, обширного преступного общества, стремившегося к ниспровержению существующего государственного порядка; раскрыло деятельность лиц, принадлежащих к этому сообществу, и наглядно восстановило историю его возникновения и дальнейшего развития. Собранные дознанием данные, не поколебленные и предварительным следствием, не оставляют никакого сомнения в том, что преступное сообщество, существование которого было обнаружено в Саратове, возникло в Петербурге в 1873 г., и что оно находилось в прямой преемственной связи с прежними сообществами Долгушина, Натансона и др.

Принадлежавшие к этим сообществам лица, избежавшие преследования или наказания и проживавшие большей частью в Петербурге, продолжая, в течение 1872 г., свою преступную деятельность, старались сближаться с рабочими преимущественно фабричными, и, под предлогом обучения их, распространяли между ними революционные идеи, как путем устной пропаганды, так и посредством возмутительного содержания книг, привозимых из-за границы и издаваемых русскими эмигрантами. До 1873 года деятельность пропагандистов имела характер индивидуальный, в начале же сего года, некто Николай Васильевич Чайковский, окончивший курс наук в С.-Петербургском университете и принадлежавший к кружку Натансона, задался мыслью сплотить разрозненные силы аги-

таторов в одно целое, к чему и приложил все свои старания, вскоре затем увенчавшиеся некоторым успехом. Таким образом, возник первый революционный кружок, носивший, по фамилии своего основателя, название „кружка чайковцев“, по примеру и под влиянием которого, в течение того же года, образовалось несколько других кружков. Кружок „чайковцев“, а также и некоторые другие, поддерживали постоянную связь с русскими эмигрантами, поселившимися преимущественно в Цюрихе и других городах Швейцарии. Личные сношения членов кружков с эмигрантами, издаваемые последними книги, в значительном количестве ввозимые тайными путями в Россию, и поступление в ряды пропагандистов, возвращавшихся из-за границы так называемых „цюрихских студентов“, к развращению которых эмигранты прилагали особенное старание,—все это, взятое в совокупности, имело решительное влияние на направление „петербургских кружков“. Означенные кружки вполне прониклись учениями эмигрантов, каковые учения и легли в основание всей дальнейшей деятельности кружков.

В 1873 году русская эмиграция, считавшая до того времени „международную ассоциацию рабочих“ единственным орудием водворения всеобщего счастья на земле, стала группироваться около новой формулы обновления человеческого рода—федерализма, основанного на коллективизме и мутуализме. Такое изменение направления русской эмиграции явилось последствием пятого конгресса международной ассоциации рабочих, происходившего в 1872 г., в гор. Гааге. Исключенный постановлением сего конгресса из числа членов ассоциации за образование в ее среде тайного общества, эмигрант Бакунин, усердно проповедывавший идею федерализма в швейцарских секциях ассоциации, образовал „Цюрихскую славянскую секцию“, которая и слилась с секциями Юрской федерации, не признавшими постановлений гаагского конгресса и избравшими своим дивизом „федерализм“. По формуле федерализма, задача социально-революционной партии состояла в разрушении всех государств, уничтожении всякого государственного строя и буржуазной цивилизации, и создании нового строя путем вольной федерации снизу вверх независимых производительных общин.

Поставив своею задачею разрушение государства, славянская секция должна была, само собою разумеется, вступить прежде всего в борьбу с теми высокими началами, коими обусловливается государственная жизнь народов, и, действительно, в своей программе секция об’явила, что будет бороться против религии, собственности и семьи. Пропагандируя в своих сочинениях теорию федерализма, известную также под именем „анархии“, ибо основное положение ее заключается в отрицании всякой власти, Бакунин, вместе с тем, проводил мысль о необходимости поголовного восстания русского народа против верховной власти и доказывал неизбежность такого восстания. Такое мнение Бакунина, разделяемое большинством эмигрантов, нашло себе поддержку и в появившемся в половине 1873 г. журнале „Вперед“ Лаврова, который разошелся с партиею Бакунина лишь по вопросу о способе ведения революционного дела

в России. Приверженцы Бакунина полагали, что пропагандисты должны немедленно „идти в народ“, организовать его для революции и внушать ему революционные идеи с целью вызвать восстание; Лавров же признавал, что навязывать народу революцию не следует и что восстанию должно предшествовать сознание народом своих потребностей, раз'яснение которых народу и составляет прямую задачу пропагандиста. Теория Лаврова, требовавшая от агитатора известной научной подготовки, крайне не понравилась русским эмигрантам, и Лавров остался в меньшинстве; но возникший между ним и его противниками спор породил учение, весьма категорически выраженное бежавшим за границу из места ссылки государственным преступником Ткачевым в изданной им в апреле 1874 г. брошюре под заглавием „Задачи революционной пропаганды в России“. В означенной брошюре, полемизируя с Лавровым, Ткачев заявил, что „революционная партия ставит своею главною первостепенною задачею не подготовление революции вообще, а осуществление ее в возможно ближайшем настоящем“, что „не следует придавать слишком большого значения вопросам, касающимся устройства наилучшего порядка вещей в будущем после того, как революция совершит свою разрушительную миссию“, и что единственная цель „партии действия должна заключаться в борьбе с правительством, в борьбе с установившимся порядком вещей,— борьбе до последней капли крови, до последнего издыхания“.

Чудовищные учения Бакунина и Ткачева, господствовавшие среди эмигрантов, нашли себе, как сказано, выше, сочувственный отголосок в петербургских революционных кружках. Теория федерализма составила, так сказать idèe fixe пропагандистов, практическая же их деятельность получила направление, вполне согласное с учением Ткачева, доказательством чего служит, между прочим, написанный князем Крапоткиным, одним из видных деятелей кружка чайковцев, трактат под заглавием: „Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя“, каковой вопрос разрешался князем Кропоткиным в отрицательном смысле.

Петербургские кружки усвоили себе не только догматическую часть учений, выработанных эмигрантами в Швейцарии, но и в организации своей деятельности последовали указаниям, преподанным на сей предмет юрихскою славянскою секциею, вследствие чего организация кружков выразилась в форме отсутствия какой-либо иерархии и полной свободы выбора каждым агитатором как рода, так и способа пропаганды, при чем однако каждый пропагандист пользовался посильною помощью и содействием своих единомышленников.

Таким образом, из всего вышеизложенного несомненно вытекает, что петербургские революционные кружки возникли и сложились под влиянием двух факторов: во 1-х, оставшихся в России обломков прежних преступных сообществ Долгушина, Натансона и др., к которым присоединились и некоторые личности, привлекавшиеся к делу Нечаева; и во 2-х, русской эмиграции, поселившейся в Швейцарии; — чем и обусловливается связь упомянутых кружков, с одной стороны, с предшествовавшими русскими политическими сообществами, а с другой — с западно-

европейскою социально-революционною партиею, в состав которой вошли русские эмигранты. Возникшие в Петербурге кружки, пополнявшиеся приливом новых членов, преимущественно из числа студентов технологического института и медико-хирургической академии, а также слушательниц женских курсов той же академии и акушерских курсов, разделились на две категории, из коих первая тотчас же приступила в пропаганде революционных идей между фабричными и заводскими рабочими, а другая занялась приготовлением себя к революционной деятельности. Исходя из того положения, что узнать народ и пользоваться его доверием можно лишь в том случае, когда ищущий сближения с народом будет жить жизнью народа, вращаясь в его среде в качестве простого рабочего, многие из агитаторов занялись изучением какого-либо мастерства или ремесла, чем и об'ясняется открытие агитаторами мастерских, как-то напр., кузнечных в Петербурге и Одессе, столярных в Москве и слесарных в Туле. Сношения кружков поддерживались как личным знакомством членов между собою, так и путем сходок, собиравшихся, между прочим, в квартире студента технологического института Головина, в 12-й роте Измайловского полка, на каковых сходках обсуждались вопросы революционной теории и практического применения ее к делу, чем уже были заняты некоторые из пропагандистов.

В конце 1873 г. преступная деятельность некоторых агитаторов в среде петербургских рабочих сделалась известною правительству, вследствие чего означенные лица, скрываясь от преследования, уехали из Петербурга. В числе таких лиц находилось несколько наиболее выдающихся членов кружка „чайковцев“, укрывшихся в Москве, где они проживали под чужими именами. Под их влиянием и руководством сложились московские революционные кружки с таким же направлением, как и петербургские, имевшие с последними прямую, непосредственную связь. Около того же времени лицами, близко стоявшими к петербургским агитаторам, был основан киевский кружок, известный под названием „киевской коммуны“, а раннею весною 1874 г. глава одного из петербургских кружков, дворянин Сергей Филиппов Ковалик, организовал кружок в г. Харькове. Кружки киевский и харьковский вошли в сношение между собою. Киевский, личный состав которого к лету 1874 г. увеличился поступлением в число его членов многих петербургских пропагандистов, кроме того вступил в весьма близкую связь с кружком одесских революционеров; последний же, основанный группою лиц, проживавших в Цюрихе и усвоивших себе революционное направление у самого его источника, естественным путем в силу своего происхождения слился с петербургскими деятелями. Одновременно с кружком, образовавшимся в Харькове, по инициативе Ковалика, в этом городе возник другой кружок, весьма незначительный, основанный пропагандисткою, прибывшею из Москвы; этот последний кружок, вскоре после свего возникновения, а именно к лету 1874 года, слился с таганрогским кружком, основанным в начале лета одним из петербургских революционных деятелей.

Весной 1874 г. петербургские кружки обнаружили стремление к более тесному сближению между собою, к составлению из себя одного органического целого; для этой цели избранные каждым кружком делегаты собирались для совещаний, результатом которых явилось устройство общей кассы, имевшей однако в своем распоряжении не более 700 руб. Назначение кассы было — оказывать вспомоществования как целым кружкам, так и отдельным членам оных, отправлявшимся в народ, при чем в кассе могли принимать участие и отдельные, не принадлежавшие к кружкам лица, от которых требовалась лишь некоторая общая солидарность в принципах, т. е. признание необходимости довести народ до социальной революции.

С наступлением лета члены петербургских кружков двинулись в народ на пропаганду. В этот период времени петербургские революционные деятели совершенно слились со своими московскими единомышленниками и сообща приступили к осуществлению своих преступных замыслов. Под влиянием соединенных элементов петербургских и московских пропагандистов возникли революционные кружки в Нижнем-Новгороде, Пензе, Самаре, Саратове и др. местностях. Таким образом, главные силы революционной партии сосредоточились в восточной полосе России, в приволжских губерниях, что произошло не случайно, а в силу заранее обдуманного плана действий и выработавшегося у большинства пропагандистов, на основании Стеньки Разина и Пугачева, убеждения, что революционные идеи найдут наиболее благоприятную для себя почву на востоке, в приволжских губерниях, представлявшихся для революционеров классическою страною бунтов и возмущений.

В этом последнем фазисе деятельности революционного сообщества первенствующую роль занял пензенский мещанин Порфирий Войноральский, незаконный сын дворянина Ларионова и княгини Кугушевой. Обладая сравнительно значительными денежным средствами и большою энергиею и предприимчивостью, Войноральский весьма скоро стал во главе движения; он устроил в Москве типографию, в которой печатались революционные сочинения, рассылавшиеся затем в разные местности (в том числе в Саратов в мастерскую Пельконен) для брошюровки и распространения их в народе, снабжал деньгами пропагандистов и сам лично занимался организациею кружков и пропагандою в народе. Таким образом, революционная пропаганда шла по двум главным направлениям: юго-западному и восточному; первое направление выразилось в возникновении кружков харьковского, киевского, одесского и таганрогского, с их разветвлениями, а второе в кружках, образовавшихся в Москве, Нижнем-Новгороде, Пензе, Самаре, Саратове и т. д. Все названные кружки, хотя и разделялись на две несколько обособленные группы, тем не менее связанные между собою единством происхождения, учения и преследуемой цели, а также личными сношениями своих членов, составляли одно целое, одно преступное сообщество, наглядным доказательством чего служит то обстоятельство, что обыск, произведенный в мастерской Пельконена, дал возможность раскрыть всю деятельность сообщества.

Внешние приемы пропаганды были одни и те же во всех кружках. Пропаганда—под прикрытием разных профессий: доктора, фельдшера, народного учителя, простого рабочего,—велась или устно, или посредством чтения и раздачи революционных книг: содержание же пропаганды видоизменялось, смотря по тому, с кем пропагандисты имели дело: с лицами ли, принадлежащими к простому народу, или же с лицами, принадлежащими к „интеллигенции;“ под каковым термином революционные деятели подразумевали народных учителей, студентов, семинаристов и гимназистов. В первом случае пропагандист обыкновенно указывал на недостаток земли у крестьян, на тяжесть податей и налогов и внушал мысль, что если бы все крестьяне или рабочие соединились и уничтожили правительство, истребив при этом высшие классы, то не пришлось бы платить никаких податей, а земли было бы у каждого с избытком, так как она вся принадлежала бы крестьянству; во втором случае пропагандист большею частью старался доказать, ссылаясь на разные революционные авторитеты, что экономическое положение народа отчаянное, что на обязанности всякого порядочного человека лежит помочь народу выйти из такого положения, что представляется возможным только путем революции. и что задача последней должна состоять в уничтожении верховной власти, всякого правительства и государства, так как коренное изменение к лучшему положению народа может быть достигнуто только путем замены государства вольною федерациею производительных общин. Независимо от сего, пропаганда, обращенная к „интеллигенции“, сопровождалась обыкновенно указанием на то, что наука есть не что иное, как средство эксплоатировать народ, счастие народа может быть создано и без науки, почему „интеллигентные“ слушатели пропагандиста приглашались бросить учение и идти в народ, при чем об'являлось, что сообщество располагает денежными средствами, которыми и будет снабжать своих новых товарищей. Такое учение, основанное на теории Бакунина, возводящее невежество и леность на степень идеала и сулящее, в виде ближайше осуществимого блага, житье на чужой счет, могло, конечно, показаться заманчивым только для самой плохой части учащейся молодежи, и действительно, большинство завербованных пропагандистами в среде этой молодежи единомышленников представляет из себя людей, занимавшихся чем угодно, только не науками, а потому и крайне легко относившихся к вопросу о выходе из учебных заведений.

Денежные средства сообщества составлялись: из ссуд, отпускаемых более состоятельными вожаками дела как например, Войноральским; из взносов членов кружков; из сумм, вырученных от балов и других увеселений, устройством которых, под разными благовидными предлогами, занимались некоторые петербургские кружки, и т. п. Вообще материальные средства сообщества были незначительны. Между тем, безпрестанные раз'езды пропагандистов, покупка революционных книг и всякого рода вспомоществования требовали больших расходов. Таким положением вещей достаточно об'ясняется причина обнаруженной многими пропагандистами готовности к совершению всяких преступлений ради приобрете-

ния денег. Главный контингент своих сил в количественном отношении сообщество черпало из той учащейся молодежи, о которой уже сказано выше. Преобладание такого элемента в рядах пропагандистов, служа, с одной стороны, доказательством, того, что как более развитая среда, так и среда, лишенная образования, но полная здравого смысла, оставались для революционных деятелей одинаково недоступными. с другой—естественным образом обрекало сообщество на совершенное безсилие и ничтожество.

Осенью 1874 года большинство пропагандистов было задержано, и открытый ими весной того же года поход против государства и цивилизации мог считаться оконченным, а сообщество разрушенным, хотя некоторые из его членов, успевшие скрыться от преследования, и продолжали свою преступную деятельность до конца 1874 года и начала 1875 г. За период всего своего существования сообщество, с его точки зрения, достигло следующего результата: совращения на всем пространстве России, на которое распространялась деятельность всех сил сообщества, двух-трех десятков лиц из простого народа, усвоивших себе суть революционного учения и пришедших к убеждению, что лишение ближнего его собственности и уничтожение власти, которая могла бы сему препятствовать, есть настоящая формула осуществления, если не всеобщего, то их личного блага на земле.

Таковой, в кратком очерке, представляется история возникновения, развития и деятельности преступного сообщества, образовавшегося в Петербурге в 1873 году и окончившего свое существование в конце 1874 года.

(Процесс 193-х. Из. Саблина. Стр. 1—5).

Кружок чайковцев.

(По обвинительному акту).

Освещая отдельные проявления революционной деятельности местных кружков, вышеизложенный очерк вместе с тем уяснит и значение некоторых не вполне рельефно восстановленных обстоятельств дела.

Исходным пунктом революционной пропаганды в России, как уже сказано выше, был С.-Петербург, а из числа образовавшихся в этом городе кружков, первым по времени возникновения и главным по влиянию, оказанному на дальнейшее развитие революционного дела, был кружок чайковцев, о котором упоминают в своих показаниях обвиняемые: Митрофан Гриценков, Моисей Рабинович, Лев Городецкий и Александр Низовкин. Последний, весьма близко стоящий к „чайковцам", в показании своем подробно изложил историю возникновения этого кружка и деятельности многих из его членов в Петербурге. По словам Низовкина, проживавшего в 1873 году на Выборгской стороне, по

Астраханской улице, в доме № 38, вместе с товарищами своими по Медико-хирургической Академии, дворянином Анатолием Сердюковым и некием Доводчиковым, большою популярностью в среде студенческого мира пользовался в то время студент Технологического Института Лисовский, посвятивший всю свою жизнь на сближение с рабочими с целью распространения между ними противоправительственных идей и нашедший себе многих подражателей. Сближение с рабочими начиналось обыкновенно с обучения их грамоте, при чем такое обучение играло лишь роль благовидной приманки, под прикрытием которой внушались рабочим революционные идеи, как словесно, так и посредством раздачи преступного содержания книг, привозимых из-за границы, в числе прочих и самим Лисовским. По примеру Лисовского, сблизился с рабочими и студент университета Корнеев, читавший рабочим лекции по географии. Посетив однажды лекцию Корнеева, Низовкин нашел таковую крайне неудовлетворительною и предложил бывшим у Корнеева рабочим собираться в квартире его, Низовкина, для слушания лекций по физиологии, популярным изложением которой из'явил готовность заниматься Доводчиков. Рабочие согласились и стали посещать квартиру Низовкина и лекции Доводчикова. Присутствовавшие несколько раз на этих лекциях Лисовский и Сердюков находили их совершенно бесполезными для рабочих и полагали, что последних следует поучать в духе идеи рабочего сословия, а также давать им для чтения хорошие книги. В видах предоставления рабочим возможности иметь всегда под руками книги, Сердюков предложил устроить для них библиотеку, и, приведя однажды Низовкина в неизвестную ему квартиру, по Владимирской улице, указал ему большую кучу растрепанных книг и журналов, предоставляя сделать из них выбор по усмотрению Низовкина; последний, при содействии неокончившего курса наук в Вологодской гимназии дворянина Михаила Васильева, разобрал книги и привез их на свою квартиру. Таким образом возникла библиотека рабочих. Тем временем лекции Доводчикова продолжались, привлекая рабочих с заводов и фабрик, расположенных на Выборгской стороне, на Васильевском острове и за Невской заставой. В числе рабочих, посещавших квартиру Низовкина, были рабочие: Виктор Обнорский, Степан Васильев, Митрофанов, Сергей Иванов, Виноградов, Алексей Ильич Козлов, Алексей Васильев Графов, Филипп Яковлев Вангесов и Дмитрий Николаев Смирнов, к которым впоследствии присоединился и Алексей Васильев Лавров. Означенные рабочие интересовались чтениями Доводчикова, сопровождавшимися опытами, но исключительно научное направление лекций не нравилось Сердюкову, и он в беседах с рабочими доказывал последним, что существующий социально-экономический строй России не совместим с интересами рабочих, что этот строй крайне вреден для русского народа, и что поэтому необходимо, во что бы то ни стало, разрушить его путем насилия рабочих масс, в среде которых с этой целью и должна вестись деятельная пропаганда. Указывая рабочим на необходимость разрушения существующего порядка, Сердюков вместе с тем об'яснял им и тот новый

строй, который должен воздвигнуться на развалинах старого порядка, и при этом говорил и об общинном владении землей, и о союзе промышленных ассоциаций, и касался даже женского вопроса, стараясь внушить рабочим целое революционное мировоззрение. Не довольствуясь своею личною пропагандою, Сердюков пригласил в квартиру Низовкина дочь почетного гражданина Александру Ивановну Корнилову, недавно вернувшуюся из-за границы, которая в сущности говорила рабочим то же самое, что и Сердюков. Разница между пропагандой Сердюкова и Корниловой заключалась лишь в форме изложения: первый излагал предмет, так сказать, в догматической форме, т.-е. выставлял прежде всего известные революционные положения и затем уже пояснял их рабочим; Корнилова же излагала свою пропаганду в форме рассказов о своих заграничных путешествиях. Доказывая рабочим необходимость социальной революции, Корнилова указывала на их западно-европейских товарищей, на революционные и промышленные союзы последних, на их стачки и сходки, при чем рассказывала, что сама присутствовала в Вене на нескольких сходках, и показывала фотографические изображения некоторых ораторов из рабочих.

Посещения рабочими квартиры Низовкина в скором времени обратили на нее внимание лиц, искавших сближения с простым народом, и в квартире Низовкина появились Чайковский и отставной артиллерийский поручик Кравчинский, с которыми Низовкин познакомился через Сердюкова. Кравчинский стал приходить довольно часто и беседовал с рабочими, при чем его беседы всегда отличались преступным характером. Кроме этих лиц, квартиру Низовкина навещали: отставной артиллерийский поручик Дмитрий Михайлович Рогачев с которым Низовкин был знаком еще в то время, когда Рогачев, воспитывался в артиллерийском училище, студент Медико-хирургической академии Иван Иванович Гауэнштейн, некто Шлейснер и др. Все вышепоименованные лица, а также студент с.-петербургского университета Дмитрий Клеменс и бывший студент Александр Левашев, с которым Низовкин познакомился впоследствии, занимались пропагандою в среде рабочих; из них Чайковский вел свою преступную деятельность между мастеровыми патронного завода на Васильевском острове, о чем Низовкин слышал от рабочих; Шлейснер агитировал за Невскою заставою, где Низовкин встречал как его, так и Клеменса и Левашева, а Гауэнштейн занимался переводом на русский язык привезенных брошюр, для распространения таковых между рабочими. Вышеназванные личности, пропагандировавшие в 1872 году и в начале 1873 г. в среде петербургских рабочих, и составили, по словам Низовкина, ядро той партии, которая сложилась впоследствии, благодаря усилиям Чайковского.

Такое показание Низовкина находит себе подтверждение в объяснениях рабочих, посещавших лекции Доводчикова, Митрофанова, Виноградова и др. Из показания Митрофанова видно, что, при содействии Лисовского, им была в 1873 году учреждена сапожная артель, которую нередко посещал Лисовский, приводивший с собою и рабочего Виктора

Обнорского. В начале своих сношений с Митрофановым, Лисовский был весьма сдержан, но впоследствии, не стесняясь, стал выражать свое неудовольствие по поводу образа действий правительства; Лисовский ездил заграницу и в разные провинциальные города России; заграницу он ездил для приобретения революционных книг, а в провинцию—для пропаганды. Посещая в 1872 году лекции студента Корнеева, Митрофанов встретился однажды у последнего с Низовкиным, и, по его приглашению, стал ходить на лекции Доводчикова, где видел Сердюкова и Александру Корнилову, рассказывавшую об интернационале. Низовкин познакомил рабочих с Кравчинским, который и стал им читать лекции по истории, а однажды принес с собою брошюру на иностранном языке и рассказывал ее содержание, а впоследствии принес несколько экземпляров этой брошюры на русском языке и роздал таковые рабочим; брошюра называлась: „Слово верующего к народу". По словам Виноградова, он познакомился с Низовкиным через Обнорского, поселился впоследствии в том же доме, где жил Низовкин, и слушал лекции Доводчикова и Кравчинского, из которых последний переводил рабочим брошюру отлитографированную затем на русском языке под заглавием: „Слово верующего к народу" и розданную рабочим. Виноградов встречал у Низовкина—Лисовского и Левашева, знал Клеменса, Рогачева и видел однажды Чайковского. Как Митрофанов, так и Виноградов подтвердили существование библиотеки и удостоверили относительно Гауэнштейна обстоятельства, которые будут изложены ниже, свидетельствующие о преступной его деятельности, а Виноградов кроме того об'яснил, что познакомился у сестры Куприянова с Николаем Аполлоновым Чарушиным, студентом технологического института, при чем присовокупил, что Кравчинский, Клеменс, Рогачев и Чарушин были люди весьма энергичные. Остальные рабочие—Козлов, Вангесов и Смирнов— также подтвердили, что Доводчиков читал им лекции, и что существовала библиотека для рабочих; некоторые из них присутствовали и на лекции Кравчинского, другие же только слышали о нем, равно как и о некоем Синегубе, учившем рабочих явно, не остерегаясь. Алексей Лавров, обнаруживший во время производства следствия признаки растройства умственных способностей, тоже бывал, как это видно из его показаний, на лекциях Доводчикова и Кравчинского, знал Клеменса и слышал о Синегубе и Чайковском.

В начале 1873 года Чайковский сплотил, по словам Низовкина, большинство пропагандировавших между рабочими лиц в одну партию, и таким образом возник первый кружок, носивший название кружка „чайковцев". Число „чайковцев" было весьма значительно. В состав кружка, по удостоверению Низовкина, вошли следующие лица: Лисовский, Левашев, Сердюков, Александра Корнилова, Куприянов, Кравчинский, Рогачев, Гауэнштейн, Клеменс, Чарушин, слушательница женских курсов при медико-хирургической академии Анна Дмитриева Кувшинская, студент технологического института Леонид Владимиров Попов, студент того же института Степан Васильев Мокиевский-Зубок, отставной артиллерий-

ский поручик Леонид Эммануилов Шишко, дворянин Сергей Силов Синегуб, дворянка Софья Львова Перовская и рабочие: Лавров, Обнорский и Михаил Андреев Орлов. Осенью 1873 года к кружку—„чайковцев" присоединился, по показанию Низовкина, после своего возвращения из-за границы, князь Петр Алексеев Крапоткин, а по словам обвиняемого, Моисея Рабиновича, к тому же кружку принадлежала дочь купца Александра Яковлева Ободовская, ныне по мужу Сидерацкая. Сверх сего, как видно из обстоятельств дела, в течение 1873 года к кружку примкнули: дворянин Феликс Вадимов Волхонский, сын священника Василий Аполлонов Стаховский, студент с-петербургского университета Лев Александров Тихомиров, дворянин Федор Михайлов Либавский, отставной подпоручик Александр Викторов Ярцев и крестьянин Тверской губернии Леонид Давыдов Румянцев. Все вышеозначенные лица, как это будет видно из дальнейших обстоятельств дела, были между собою знакомы. Некоторые из них принадлежали к прежним политическим кружкам, или же имели с ними близкие сношения. Так, основатель кружка Чайковский привлекался к дознанию в кружке Натансона; Ободовская и Перовская, как оказывается из отобранной у первой переписки, были знакомы с Натансоном; Ободовская кроме того привлекалась к делу Долгушина и за хранение у себя запрещенных сочинений была приговорена к семидневному аресту, а Волховской привлекался к делу Нечаева, но был по суду оправдан и проживал затем в г. Одессе.

По словам Низовкина, организация кружка „чайковцев" гласила, что между ними нет ни больших, ни меньших, ни начальствующих, ни подчиненных: все равнозначущи, все действуют независимо друг от друга, но опираясь на соединительные силы всех членов кружка и находя в них ту материальную поддержку, которая необходима для осуществления задуманных отдельными членами предприятий. Убежденные в том, что одна интеллигенция в борьбе с существующим порядком ничего серьезного сделать не может, „чайковцы" задумали почерпать свои силы из недр самого народа, для каковой цели и стали деятельно сближаться с рабочими или, как они выражались, „ходить в народ". Сходясь с рабочими, „чайковцы" старались доводить до фанатической ненависти к существующему порядку недовольство рабочих своим материальным положением, обусловленным разными экономическими причинами, и создавать таким образом революционных деятелей из среды самого народа. Когда революционная партия разовьет свои силы и будет располагать обширною агентурою, тогда, по плану „чайковцев", должно было вспыхнуть всеобщее восстание как в городах, так и среди сельского населения, при чем движение масс должно было начаться непременно разом, на том основании, что при таком образе действий силы правительства будут поставлены между многих огней. Центрами восстания должны были служить столицы, где, для дачи быстрого хода напору масс, предполагалось образовать авангарды из людей смелых и хорошо вооруженных на средства партии, на обязанности которых, например, в Петербурге, лежало бы овладение прежде всего артиллерийскими

казармами и крепостью. Вообще стратегические планы для овладения столицами разрабатывались весьма тщательно членами кружка, служившими прежде в военной службе, от которых, как-то от Кравчинского и Рогачева, Низовкин, между прочим слышал, что Москва с ее извилистыми улицами и переулками представляет все удобства для борьбы с войском. Конечная цель указанных Низовкиным стремлений и планов кружка „чайковцев“ состояла в уничтожении государства и замене ныне существующего строя народной жизни „анархиею“, что видно из показания, данного при дознании Ярцевым, в котором последний, встречавшийся с Чайковским, Синегубом, Шишко, Кравчинским, Клеменсом, Чарушиным и многими другими „чайковцами“, об'яснил, что упомянутые лица признавали теоретически анархию идеалом общественного устройства. Ближайшею задачею своей революционной деятельности „чайковцы“ признавали лишь уничтожение существующего порядка вещей посредством революции, отодвигая на второй план вопрос о форме нового строя жизни, т. е. иными словами придерживались учения Ткачева.

Доказательством такого направления кружка „чайковцев“ служит составленная одним из его членов, князем Крапоткиным, записка под заглавием: „Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя“—в коей князь Крапоткин как бы установлял программу действий революционной партии в России. В означенной записке целым рядом доводов и соображений доказывается сначала непригодность всех существующих форм государственной жизни, а разрешение вопроса об идеале будущего строя общества предоставляется народу. Переходя затем к вопросу о том, каким образом народ может осуществить свой идеал, автор записки находит, что единственным для сего путем представляется насильственный социальный переворот, который не ограничился бы только ниспровержением государственности, но и уничтожил бы весь существующий социальный и экономический строй народной жизни: все мирные пути прогресса отвергаются в записке и признаются даже вредными. Для подготовления социальной революции в России необходимо, по мнению автора, образовать революционную организацию, основными положениями которой должны служить: полнейшее равенство всех ее членов, отсутствие всякого подчинения всех одному или нескольким лицам, отрицание обмана и насилия во взаимных отношениях для достижения своих целей и в то же время признание обмана и насилия вполне разумными и необходимыми средствами в отношениях членов организации к правительственной власти и представителям капитала. Подготовительная деятельность революционной организации должна быть направлена, главным образом, на увеличение числа ее единомышленников в среде крестьянства и городских рабочих, посредством деятельной пропаганды своих воззрений и усиления неудовольствия против правительства. Участие в революционной организации учащейся молодежи отвергается запиской. В организацию должны быть принимаемы только те представители упомянутой молодежи, которые, бросив науку, отправятся в народ для пропаганды, отрешившись от всей своей предыдущей

жизни не только в принципе, но и во внешней ее форме, оставив все свои привычки и поставив себя вполне в положение рабочего. Люди из народа признаются автором записки наиболее надежными и полезными революционерами. Для подготовления таких деятелей агитаторы должны поселиться между крестьянами и вести оседлую пропаганду посредством сближения с народом. Для приведения в известность результатов пропаганды и выработки дальнейших мер в записке рекомендуется устройство периодических с'ездов агитаторов, а затем автор записки обращает особенное внимание на подготовку революционных деятелей из городских рабочих, которые, возвращаясь на родину, могут распространять между крестьянами социальные идеи, усвоенные от агитаторов. Кроме устной пропаганды, признанной наиболее целесообразною, автор допускает и пропаганду литературную, в видах которой революционная организация должна озаботиться изготовлением и распространением в народе книг, в роде рассказов о сильных и выдающихся личностях из народа, картин безвыходности современного социального строя, и т. п. Стачки рабочих и устройство артелей не одобряются автором, так как означенные меры в свою очередь служат средством к скоплению капиталов и в результате оказывают вредное влияние на народ. Местные волнения между рабочими и сопротивление властям признаются имеющими для народа „воспитательное" значение в смысле революционном, почему, не советуя агитаторам возбуждать подобные явления, дабы не отвлекать ими народа от стремления к достижению главной цели—всеобщего восстания во имя коренного переворота,—автор находит тем не менее полезным не препятствовать их развитию, если только они вызываются естественным путем.

В заключение автор определяет отношения русской революционной организации к международной ассоциации рабочих и к русским эмигрантам, при чем, заявляя полное сочувствие к деятельности секции федералистов и преимущественно ее русских представителей, вместе с тем отказывается от полной солидарности со всеми партиями эмигрантов, признавая, что русская народная революционная партия должна самобытно развиться среди русского народа.

(Процесс 193. Изд. Саблина. Стр. 5—9).

Протест подсудимых и адвокатов.

(По „Общине").

Заседание 24-го октября. Первопр. прочел состоявшееся 11 октября постановление распорядительного заседания сената по поводу словесного заявления его, первопр., о необходимости произвести судебное следствие о настоящем деле по группам и закрыть двери на время рассмотрения некоторых частей дела. Постановление 11 Октября гласит следующее: „Выслушав заключение товарища обер-прокурора, правительствующий сенат находит, что, несмотря на тесную связь всех частей дела между собою, не представляется физической возможности, в виду недостаточности помещения, произвести судебное следствие во всем его об'еме в присутствии всех обвиняемых; что по обстоятельствам дела обвиняемые могут быть разделены на 17 групп;—что производство судебного следствия в отношении к каждой из вышеназванных групп в отдельности не может нанести никакого ущерба интересам сторон, так как все лица, имеющие, по обстоятельствам дела, какое-либо отношение к известной группе, будут присутствовать при рассмотрении всех относящихся до группы обстоятельств; что при таком производстве судебного следствия и при судебных прениях, общих для всех 17 групп, в присутствии всех обвиняемых, вполне может быть достигнуто пояснение как общего характера дела, так и всех обстоятельств, относящихся до каждого обвиняемого в отдельности... Правительствующий сенат, руководствуясь 547, 620, 621 ст. Уст. угол. судопроизводства и ст. 27 закона 7 июня 1872 г. определил: 1) произвести судебное следствие по делу революционной пропаганды в Империи отдельно в отношении каждой из 17 групп, на которые, по обстоятельствам дела, могут быть разделены подсудимые"...

Раздробление на 17 групп, необходимое, по мнению сената, как для подсудимых, так и для защитников, вызвало ропот неудовольствия среди первых. Необходимость выслушать до конца заставила всех умолкнуть на время, и первоприс. дочитал список групп среди полной тишины.

По прочтении списка прис. пов. Герард обратился к суду с вопросом: „окончательное ли это решение?"

Первопр. отвечал, что „окончательное, и никаким изменениям не подлежит".

Подс. Мышкин поднялся с заявлением, но первоприс., не слушая, просил его сесть, так как никаких заявлений по этому поводу он не примет.

Подс. Мышкин. Я хочу сказать не о разделении на группы. В заседании 20-го октября вы изволили об'яснить нам, что хотя публика и не присутствует здесь, но публичность настоящего процесса достигается тем, что здесь находится стенограф и о всем происходящем будет напечатан полный отчет. Но мы видим, что в „Прав. Вест." помещается отчет в крайне искаженном виде и все наиболее важное и существенное для нас не имеет места в этом официальном органе: напр., в отчете о заседании 20-го октября мы, подсудимые, представлены в очень непривлекательном виде, как будто мы выслушали в благоговейном молчании ваше нравоучение, как будто в нашей среде не нашлось ни одного голоса, который решился бы возразить на это нравоучение...

Первопр. Полный стенографический отчет будет печататься впоследствии.

Подс. Мышкин. Когда мы будем сидеть в центральной тюрьме и потому не будем иметь возможности возразить на те искажения, которых мы имеем полное основание ожидать.

Первопр. Я говорю, что будет печататься полный стенографический отчет; а, следовательно, никаких искажений не будет.

Подс. Мышкин хочет сказать еще что-то, но прис. пов. Утин поднялся с вопросом, не может ли он, Утин, представить особому присутствию некоторые сообщения касательно разделения подсудимых на группы.

Первопр. Это постановление окончательное и никаких заявлений о нем не может быть делаемо.

Прис. пов. Утин. Я просил бы занести это в протокол.

Первопр. не слушает и об'являет заседание закрытым. Все это время в рядах подсудимых слышался глухой шум и ропот недовольства. Одновременно с заявлением подс. и прис. пов. Утина раздавались отдельные выражения протеста, которые в конце стали очень громки и решительны. Строй казаков вошел на место, отведенное защитникам, и оттиснул их от подсудимых., Первопр., об'являя среди шума заседание закрытым, приказал вместе с тем очистить залу, что и было исполнено.

Заседание 25 октября. При открытии заседания подсудимые не были в зале, но их вводили после в одиночку (в группе 27 человек), и только спустя полчаса все подсудимые 1-ой группы были введены. К первой группе отнесены:. Волховской, Ободовская, Перовская, Синегуб, Шишко, Корнилова, Тихомиров, Стаховский, Рогачев, Зубов, Куприянов, Чарушин, Кувшинский, Гауэнштейн, Ярцев, Гриценков, Франжоли, Зарубаев, Рабинович, Лукашевич, Любавский, Низовкин, Румянцев, Орлов, Щеглов, Виноградов, Городецкий.

По открытии заседания прис. пов. Турчанинов заявил от имени всей защиты, что для них было неожиданно постановление особого присутствия правительствующего сената от 11-го октября о делении на группы, что на основании 613 ст. Устава защита имеет право представлять свое мнение по поводу порядка производства дела, и, на основании

этого, просит особое присутствие выслушать заявление. Прис. пов. Кейкуатов, присоединяясь к мнению Турчанинова, выяснил, что подлежит, собственно, рассмотрению распорядительного собрания особого присутствия, а именно: распорядительное заседание постановляет только, будет ли судебное разбирательство происходить при открытых или закрытых дверях. После возражения Желиховского на мнение защиты, особое присутствие удалилось для совещания; вернувшись, оно об'явило свое решение: ходатайство защиты отклонить. Тогда встал прис. пов. Александров и прочел от имени всей защиты следующее ходатайство:...

По прочтении этого ходатайства встал Желековский и об'явил, что он с глубоким прискорбием выслушал заявление защиты, так как в нем виден предварительный сговор, потому что оно даже письменное и так как в нем видно желание как бы сделать упрек особому присутствию и вообще взвести нарекание на него и желание затруднить и затянуть судебное следствие. На это возразил Герард, протестуя против такого искажения Желеховским смысла слов защиты; он сказал, что защита действует в законных пределах и потому вполне справедливо отстаивает и будет отстаивать свои права. Прис. пов. Потехин просил особое присутствие занести слова Желеховского в протокол, как оскорбительные для защиты, так как он намерен возбудить по поводу их особое дело против Желеховского. Он просил первопр. запретить прокурору так своевольно искажать слова защиты. Остальные защитники об'явили, что присоединяются к заявлению прис. пов. Потехина. Особое присутствие опять удалилось для совещания и после довольно продолжительного времени вынесло решение: оставить ходатайство защиты без последствий; в словах Желеховского оно не признало ничего оскорбительного для защиты, а слова Потехина, как оскорбительные для обвинительной власти, постановило занести в протокол.

Затем было приступлено к допросу подсудимого Низовкина. Он подтвердил все свои показания, данные при следствии. Затем была спрошена подсудимая Перовская, признает ли она себя виновной. Подсудимая отказалась давать какие либо ответы и учавствовать в суде.

После перерыва заседания введен был подсудимый Рабинович. Взойдя на скамью подсудимых, он сказал: „Я явился сюда только с тою целью, чтобы об'явить, что все данные мною показания—ложь, чистая ложь. Дал я их в надежде, что меня освободят. Я действительно занимался пропагандой и распространением запрещенных книг, но я не признаю себя виновным, так как это вовсе не есть вина. Я не желаю признавать такой суд. Мои прежние показания оттого и были таковы, что мы все были раз'единены. Теперь нас опять ходят раз'единить, с нами обращаются, как со стадом баранов...

Первопр. Подсудимый, не забывайтесь. Вы не имеете права оскорблять суд.

Рабинович. Я не желаю никого оскорблять. Я хочу только сказать, что не признаю такого суда и отказываюсь от защиты и от защитника.

Вводят подсудимую Корнилову. Она громко сказала: Я явилась сюда, только уступая насилию. Так как наши законные требования с самого начала не удовлетворяются, то это не дает нам гарантий, чтобы и впредь наши законные требования были удовлетворяемы...

Первопр. (перебивая). Здесь неуместно об этом говорить. Отвечайте на вопрос о виновности.

Корнилова. Я об'являю, что не признаю такого суда, отказываюсь давать какие либо ответы и вообще от всякого участия в нем и прошу меня увести отсюда.

Вводят подсудимого Гауэнштейна, который заявляет: Я приведен сюда насильно и отказываюсь от участия в таком суде, отказываюсь от показаний и защиты и прошу меня увести отсюда...

Первопр. Суд имеет право употребить все средства для привода подсудимого.

Вводят подс. Рогачева, который заявляет: Я должен заявить Особому Присутствию, что приведен сюда насильно.

Первопр. С вами поступлено по закону, так как подсудимые подлежат приводу на суд.

Рогачев. Я заявил, что приведен насильно. Иначе бы я сюда не явился. Я не признаю такого суда и не хочу принимать в нем никакого участия. Прошу меня вывести отсюда,

Подсудимая Кувшинская заявила тоже, что приведена насильно, не желает признавать суд, не желает принимать в нем участие и просит увести ее.

Вводят подсудимого Синегуба.

Первопр. Ваша фамилия?

Синегуб. Синегуб. Я должен кое что заявить. Вчера первопр. заявил нам о постановлении Особого Присутствия, состоявшемся 11 окт., по которому мы разделены на 17 групп. При решении этого вопроса ни мы сами, ни наши защитники не были опрошены...

Первопр. Об этом уже было заявлено.

Синегуб. Я заявляю как лично от себя, так и от товарищей, уполномочивших меня.

Первопр. (перебивая). Вас никто не имел права уполномочивать.

Синегуб. Нас никто не может уверить, что у вас нет и других заранее составленных решений—как относительно хода судопроизводства по нашему делу, так и относительно самих приговоров. На основании этого факта, мы не доверяем суду, не признаем его и требуем оставить нас в наших камерах, где мы по 3 и 4 года ждали с таким нетерпением хоть сколько нибудь приличного суда...

Первопр. Если вы будете употреблять такие выражения, то будете удалены из залы заседания. Выведите подсудимого.

Синегуб. (не слушая его). И не дождались... (Его выводят, но на дороге первопр. остановил его).

Первопр. Желаете ли вы отвечать на вопрос о виновности?

Синегуб. Не желаю. Подсудимого уводят.

Подс. Рогачев и Рабинович поднимаются и заявляют, что присоединяются к словам Синегуба. Их также уводят.

Введен подс. Тихомиров.

Первопр. Ваша фамилия?

Тихомиров. Я должен заявить суду, что пришел сюда не по своей воле, а приведен силою. Сам же я, вследствие постановления 11 октября, нарушающего, по моему мнению, справедливость и права нашей защиты, не желаю принимать в суде никакого участия и не стану отвечать ни на какие вопросы.

Подс. Чарушин и Шишко заявили то же самое.

Введен подс. Франжоли, который заявил: Я приведен сюда насильно. Меня держат в одиночном заключении четвертый год—за то, что причисляют к какому то громадному тайному сообществу. Я надеялся, по крайней мере, здесь, на суде ознакомиться с этим сообществом, а между тем меня хотят опять судить одиночно. Из-за чего же я сижу 4-й год в предварительном одиночном заключении? При таком условии я отказываюсь от суда и желаю быть уведенным отсюда.

Вводят подсудимого Волховского. Войдя в залу, он прежде всего обратился к первопр. с просьбой вызвать его к судейскому столу, по причине его глухоты. „Прошу сделать это прежде каких либо вопросов", прибавил он. Когда председатель уважил его просьбу, Волховский обратился к суду с речью, в которой выяснил, что он не станет касаться в частности тех или других действий особого присутствия, но целый ряд их таков, что отнимает всякую возможность защищаться. „Я не хочу, заметил он, между прочим—играть роль платка, который в руках фокусника перелетает с места на место". Далее Волховский сказал, что он, хотя всегда смотрел на особое присутствие не как на суд, а как на административную комиссию, но всетаки ожидал, что с ним можно будет иметь дело. Он ошибся, однако. Достаточно вспомнить—заметил он,—что вчера я видел это место, место отведенное защитникам, наводненным вооруженными казаками. Я смотрю на это, как на оскорбление, нанесенное всей защите, и прошу моего уважаемого защитника (прис. пов. Бардовского) простить, что я был невольной причиной нанесенного ему оскорбления.

Первопр. несколько раз прерывал речь подсудимого.

Волховский заявил, что он отказывается принимать какое бы то ни было участие в суде, отказывается от защиты и от защитника и просит удалить его из залы заседания.

Первопр. Подсудимый, просьба ваша не будет исполнена. Садитесь на место. Судебный пристав, попросите подсудимого сесть на место. Подс. Волховский садится.

Подсудимые Зубов, Стаховский, Куприянов Зарубаев (рабочий), Ярцев, Гриценков и Лукашевич—все заявили поочередно, что приведены насильно, не признают суда и не желают принимать в нем никакого участия.

Речь Мышкина.

Первопр. Подс. Мышкин! Вы обвиняетесь в том, что принимали участие в противозаконном обществе, имевшем целью в более или менее отдаленном будущем ниспровержение и изменение порядка государственного устройства. Признаете ли вы себя виновным?

Мышкин. Я признаю себя членом не сообщества, а социально-революционной партии и прошу позволения об'яснить, в чем именно заключается преступление, которое я, по собственному моему сознанию, совершил против русских государственных законов.

Перв. Об'ясните!

Мышкин. Я не могу признать себя членом тайного сообщества, потому что я и товарищи мои, товарищи не только по заключению, но и по убеждениям, не представляем нечто обособленно-целое, связанное единством внешней, общей для всех организации. Мы составляем лишь частицу многочисленной в настоящее время на Руси социально-революционной партии, понимая под этим словом всю массу лиц одинаковых с нами убеждений, одинаковых, конечно, только вообще, а не в частности,—лиц, между которыми существует хотя преимущественно только внутренняя связь, однако, связь достаточно реальная, обусловливаемая единством целей и большим или меньшим однообразием средств практической деятельности. Основная задача социально-революционной партии—установить на развалинах теперешнего государствено-буржуазного порядка такой общественный строй, который, удовлетворяя требованиям народа в том виде, как они выразились в крупных и мелких движениях народных и повсеместно присущи народному сознанию,—составляет вместе с тем справедливейшую форму общественной организации. Строй этот—земля, состоящая из союза независимых производительных общин. Осуществлен он может быть только путем социальной революции, потому что государственная власть преграждает все мирные пути для достижения этой цели и добровольно никогда не откажется от насильственно присвоенных ею себе прав. В этом нам ручается здесь ход истории. Возможно ли мечтать о мирном пути, когда власть не только не подчиняется голосу народа, но не хочет даже и выслушать этого голоса и за всякое стремление, несогласное с видами ее, награждает тюрьмой и каторгой? Возможно ли мирное разрешение социальных вопросов соответственно народным потребностям, когда народ не только для осуществления своих желаний, но даже и для выражения их не имеет другого средства, кроме бунта, этого единственного органа народной гласности? Едва ли эта мысль нуждается в подстрочном примечании.

Перв. Вы признали себя членом известной партии. Вы об'яснили, в чем заключается ваше стремление; затем препятствия о которых вы говорите, не входят в круг обсуждения суда, поэтому я не вижу возможности, ни даже надобности для суда выслушивать все то, что вы говорите.

М. Весьма важно выяснить, почему мы смотрим на революцию, как на единственно возможный исход из настоящего положения.

П. То, что относится к вопросу о вашей виновности, вы уже достаточно выяснили; остальное вы можете сказать впоследствии.

М. Я полагаю, что для суда весьма важно знать, как мы относимся к революции, т. е. предполагаем ли мы, что наша партия должна, во что бы то ни стало, немедленно вызвать, создать революцию или только позаботиться об успешном исходе ее; предполагается ли немедленное осуществление революции или в более или менее отдаленном будущем; от этого будет зависеть определение всей виновности с точки зрения государственных законов.

П. Об этом вы можете говорить.

М. Я полагаю, что ближайшая наша задача заключается не в том, чтобы вызвать, создать революцию, а в том, чтобы только гарантировать успешный исход ее, потому что не нужно быть пророком, чтобы, при нынешнем отчаянно-бедственном положении народа, предвидеть, как неизбежный результат этого положения, всеобщее народное восстание. В виду неизбежности этого восстания, нужно только позаботиться, чтобы оно было возможно более продуктивно для народа, а главное—предостеречь его от всех фокусов, которыми западно-европейская буржуазия обманывала тамошнюю народную массу и одна извлекла для себя выгоды из народной крови, пролитой на баррикадах. Ради этой цели наша практическая деятельность должна состоять в сплочении, в об'единении революционных сил, революционных стремлений, в слиянии двух главных революционных потоков: одного, недавно возникшего и проявившего уже порядочную силу — в среде интеллигенции, и другого, более широкого, более глубокого, никогда не изсякавшего потока — народно-революционного. В этом об'единении революционных элементов путем окончательного сформирования социально-революционной партии и заключалась вся задача движения 74—75 г.г. Задача эта если не вполне, то в значительной степени выяснена, и знамя социальной революции водружено во всех концах русской земли. Прибавлю к этому, что в только что сказанных мною словах я указал лишь на центр нашей деятельности, и что в массе участвовавших в последнем движении были лица, стоящие на различных ступенях революционного развития, начиная с тех, кто делал первые шаги по пути уяснения причин народных страданий, и кончая отдельными личностями, делавшими попытки организации сил нашей партии. При всем различии взглядов по другим вопросам, приверженцы социальной революции сходятся в одном: что революция может быть совершена не иначе, как самим народом, при сознании им, во имя чего она совершается; другими словами: настоящий государственный строй должен быть ниспровергнут только тогда, когда пожелает этого сам народ. Следовательно, если правительство солидарно с народом, оно не может считать нас злоумышленниками. Можно ли указывать, как

на заговорщиков и бунтовщиков—на тех, кто говорит: „Мы будем ходатайствовать перед народом об удовлетворении настоятельнейших нужд страны, нужд, сознаваемых самим народом; мы предлагаем для этого свою посильную помощь, и да будет все так, как пожелает народ“. Ведь в нашем распоряжении нет ни тюрем, ни военных команд, ни больших промышленных предприятий, закабаляющих тысячи рабочего люда. Следовательно, мы не имеем никаких средств насиловать народную волю в пользу излюбленных нами идей. Мы можем действовать только убеждениями. Все средства насилия находятся в распоряжении и действительно практикуются нашими противниками. Если же, несмотря на крайне неблагоприятные для нас условия, правительство все-таки имеет серьезные основания опасаться, что наша деятельность увенчается успехом, то, значит, мы не ошибаемся, расчитывая на сочувствие народа нашим идеям; но в таком случае мы не преступники, не злоумышленники, а лишь выразители потребностей, сознанных народом.

Об'яснив в кратких словах цель и средства социально-революционной партии, я перехожу к следующему, не менее важному вопросу о причинах возникновения и развития этой партии вообще и движения 1874 г. в частности. В обвинительном акте все дело представлено таким образом, что были де на Руси обломки прежних политических сообществ, была еще русская эмиграция в Швейцарии, явилось несколько энергичных личностей, и по слову: „Да будет революционное движение на Руси!“ — создалось таковое по всему лицу земли русской. А так как обломки преступных сообществ и эмиграция давно существовали и всегда будут существовать до окончания нынешнего государственного строя, то оказывается, что движение, подобное нынешнему, было вызвано и всегда может быть вызвано по произволу 3—4 лицами. Конечно, ни один мыслящий человек, сколько-нибудь понимающий причины социальных явлений, не удовлетворится подобным прокурорским об'яснением. Для крупного социального явления должны быть крупные социальные причины. Нужно особое недомыслие или особенная недобросовестность, чтобы называть искусственно созданными революционные движения в среде интеллигенции.

П. Прошу не употреблять подобных выражений.

М. Я говорю только, что движения эти не созданы искусственно. Изучая их, мы прежде всего замечаем тот знаменательный факт, что все движения в интеллигенции соответствуют параллельным движениям в народе и даже являются простыми отголосками последних; так что движения народа и интеллигенции представляют как бы два параллельных потока, стремящихся слиться в общее русло, уничтожив разделяющую их вековую плотину; плотина эта—рознь между интеллигенцией и народом, которая сложилась вследствие вековой отчужденности друг от друга. Первое движение интеллигенции в начале 60-х годов было отголоском того сильного народного волнения, которое было во время крестьянской реформы, вследствие того, что народ не удовлетворялся этим мнимым

своим освобождением. Это движение положило фундамент социально-революционной партии. Затем, ко времени исполнения 10-летия крестьянской реформы, в народе стали ходить настойчивые слухи об уменьшении и даже об уничтожении выкупных платежей. Слухи эти хотя не вызывали массы бунтов, как в 60-х годах, но все-таки поддерживали волнение в народе и отголоском на это волнение явилось движение интеллигенции, завершившееся так называемым Нечаевским процессом. Наконец, в наши дни обеднение народа, истощаемого непомерными платежами и поборами, дошло до того, что нужно быть совершенно глухим, чтобы не слышать громкого ропота народа. Этот ропот и вызвал движение 73—75 г.г., которое было последним фазисом развития социально-революционной партии. Эта только что указанная, несомненно, существующая связь между революционными движениями в интеллигенции и в народе легко может ускользать от внимания общества по той простой причине, что, благодаря известной, практикуемой в России системе гласности, до сведения нашего общества доводится преимущественно только о разных мелочах; о более же крупных фактах народной жизни систематически умалчивается или не менее систематически извращается. Например, о крестьянских бунтах, бывших в 60-х годах, общество наше знает только по слухам.

П. Особое присутствие вовсе не нуждается в примерах.

М. Если высказанный мною взгляд о системе русской гласности представляется для Особого Присутствия несомненной истиной, не нуждающейся в доказательствах, то я охотно готов воздержаться от приведения примеров, которые подтвердили бы мою мысль.

П. Для суда это не составляет истины. Суд с'умеет сам различить, что истина; от него зависит придать мнению подсудимого то или другое значение.

М. Я это очень хорошо знаю и желаю только полнее выяснить тот весьма важный вопрос, что движения интеллигенции не созданы искусственно, а составляют только отголосок народных волнений. Общество наше в настоящее время знает только, что был суд, и происходит суд над несколькими представителями революционного движения в среде интеллигенции, и ему может показаться, что это движение не имеет под собою твердой почвы, не имеет твердой связи с народом, потому что от общества скрыты другие, более резкие проявления революционного духа в самом народе; между тем в самих проявлениях в 73—75 г.г. недостатка не было. Не говоря уже о волнениях между уральскими казаками, о которых наше общество имеет очень скудные сведения, во многих других местах приходилось прибегать к помощи военных команд для усмирения народа; несколько татарских волостей в Пермской губернии, раскольники на уральских заводах, крестьяне в Казанской губернии, Воронежской и Киевской....

П. Вы опять приводите примеры, в которых, как я уже сказал, не нуждается Особое Присутствие; да они и не могут быть подтверждены на следствии.

М. Иначе мои заявления будут голословны.

П. Вы входили в вашей речи в очень подробный разбор. Я вам сделал вопрос о том, *признаете ли вы себя виновным* в принадлежности к противозаконному обществу, указанному в обвинительном акте; вы себя признали принадлежащим к другому незаконному обществу, какому — вы сказали. Затем я не вижу, что может еще остаться для выслушания суду по этому вопросу.

М. Г. Первоприсутствующий! Я хотел только выяснить, что *причина нашего преступления есть народные движения*, которые были в последнее время, что эти движения существуют и что наше движение есть не более, как отголосок этих движений.

П. Ваши мнения ни в каком случае не могут служить для суда доказательством или таким фактом, который он должен был бы принять за несомненный вывод из того, что вы говорите. Если желаете, то говорите так, *чтобы ваша речь* в настоящее время не имела *защитительного характера*, потому что до этого еще не дошло дело. Говорите так, чтобы суд мог себе уяснить, *признаете ли вы себя виновным* в том преступлении, в котором обвиняетесь, и *что вас побудило* к этому преступлению, но не касайтесь таких фактов, которые не могут подлежать обсуждению суда.

М. Если я говорю, что меня побудило к этому невыносимое положение народа, то я должен *привести примеры*...

П. Это совершенно *излишне*. Вы сослались на тяжелое положение народа и продолжайте дальше.

М. Я думаю, я имею право *доказывать правильность моих выводов*! Разумеется, суд может относиться к моим мнениям, как ему угодно, но для чего же не дать мне высказать причины, побудившие меня, для чего зажимать мне рот...

П. Вам никто не зажимает рот. На основании закона я обязан допускать *прения и доказательства только против того, что пред'явлено в обвинении*, поэтому я не могу дозволить вам говорить о том, что не подлежит нашему обсуждению. Я вам не препятствую продолжать речь, но прошу ограничиваться только выводами, которые вы признаете нужным сказать суду.

М. Г. Первоприсутствующий! Я хотел привести эти примеры только для того, чтобы *выяснить следующее*: мы видим теперь, что в числе моих товарищей — девушка, намеревающаяся читать крестьянам лекции по социальным вопросам, — юноша, давший книгу крестьянскому мальчику,—несколько человек, рассуждавших о причинах народных страданий и высказавших такое мнение, что не худо бы, пожалуй, народное восстание:—все они привлечены к суду, как тяжкие преступники. А лица, открыто возмутившиеся против государственной власти и усмиренные только при помощи штыков и розог, ссылаются административным порядком. *Как будто бы у нас говорить о бунте гораздо преступнее, чем участвовать в самом бунте*. Этот абсурд очень понятен: представители другой, более страшной для правительства силы,

силы народной, могли бы сказать на суде нечто более полновесное, более неприятное для государственной власти и более поучительное для общества, чем мы. Поэтому то им зажимают рот и не дают им возможности сказать свое слово перед обществом. Кроме бунтов есть еще и другие, не менее значительные факты, доказывающие усиление в последнее время революционных стремлений в народе, как, например, распространение революционных сект, где отрицание государственной власти возводится в догмат: источник этой власти именуется антихристом, а представители этой власти—слугами антихриста; образование в крестьянской среде обществ с специальной целью уклонения от платежа повинностей без всякой религиозной основы, исчезновение целых деревень по той же причине, т. е. как результат стремления избавиться от невыносимых поборов...

П. Эти об'яснения не относятся к вопросу о виновности, который я предложил вам. Я позволил вам говорить, потому что вы признали себя виновным в принадлежности хотя и не к тому сообществу, в котором обвиняет прокуратура, но к другому или к партии...

М. Я не сказал, что признаю себя виновным, и не мог сказать этого, потому что, напротив, считал и считаю своею обязанностью, долгом чести стоять в рядах социально-революционной партии.

П. Ну да, вы признали себя членом партии и достаточно уже раз'яснили свое преступление. Все остальное, что вы желали бы сказать, вы можете изложить впоследствии.

М. Но для суда необходимо еще знать причины, вызвавшие данное преступление. Об этих то причинах я и желал бы сказать еще несколько слов. Возникновение социально-революционной партии относится к началу 60-х годов. Оно совершилось, как отголосок на народные страдания и народные волнения, при участии известной фракции русской интеллигенции, благодаря, главным образом, двум причинам: во первых влиянию на интеллигенцию передовой западно-европейской социалистической мысли и крупнейшего практического применения этой мысли — образования Международного общества рабочих; во вторых, уничтожению крепостного права, потому что после крестьянской реформы в среде неподатных классов образовалась целая фракция, испытавшая на самой себе всю силу гнета государственного экономического строя, готовая откликнуться на зов народа и послужившая ядром социально-революционной партии. Фракция эта — умственный пролетариат. Кроме того крестьянская реформа оказала три важные услуги социально-революционному делу: 1) с 19 февраля 1861 г. начинается развитие капиталистического производства с его неизбежным спутником—борьбою между капиталом и трудом; 2) крестьянская реформа, вместе с другими реформами, послужила для нас наглядным доказательством истины, которая прежде была нам известна только из книг и по чужому опыту доказательством полной несостоятельности политических,

реформ в деле коренного улучшения народного быта. С каким восторгом, с каким ликованием приветствовало русское либеральное общество так называемые великие реформы нынешнего царствования, — и что же мы видим в результате! Народ доведен до отчаянно-бедственного положения, до небывалых хронических голодовок, и не нужно особенного политического радикализма, чтобы усомниться в благодетельности всех этих реформ для народной массы; 3) крестьянин, освобожденный от помещика, стал лицом к лицу с представителями губернской власти, увидел, что ему нечего надеяться на эту власть, нечего ждать от нее, увидел, что он жестоко обманывался, веря в царскую правду, ища в ней опору против своих врагов...

П. Вы достаточно уже выяснили свою мысль...

М. Я хочу только сказать, что крестьянам не трудно было убедиться, что превозносимая, препрославленная крестьянская реформа сводится к одному: к переводу более 20-ти миллионов крестьянского населения из разряда помещичьих холопов в разряд государственных или, вернее сказать, чиновничьих рабов. Как прежде крестьянин работал всю жизнь на помещика, так и теперь весь его труд идет в казну. Как прежде помещик был полным властелином жизни и собственности крестьянина, так теперь чиновник...

П. Вы говорите о том, как крестьяне относятся к реформам и к правительству: вы не можете говорить об этом здесь за крестьян...

М. Мне необходимо выяснить эту сторону вопроса в особенности потому, что только тогда суд поймет, почему я—сын крепостной крестьянки и солдата, — видевший собственными глазами уничтожение крепостного права,—не только не благословляю правительство, совершившее эту реформу, но стою в рядах от'явленных врагов его. Когда крестьяне увидали, что их наделяют песками да болотами, да такими клочками земли, на которых немыслимо ведение хозяйства, сколько нибудь обеспечивающего быт земледельца, а между тем за эти клочки наложили громаднейшие платежи, превышающие в несколько раз доходность наделов; когда крестьяне увидели, что это новое нарушение права народа на землю совершается не по произволу помещиков, а с утверждения верховной власти; что в положении 19 февраля нет той статьи, присутствие которой они предполагали, которая должна была охранять народные интересы и скрыта будто бы духовенством и помещиками; когда они увидели все это, то не могли не убедиться, что им не на кого более надеяться, как на свои собственные силы. Рядом с этим крестьяне, превратившиеся в орудие капиталистического производства, поняли всю прелесть так называемого свободного договора между голодным тружеником и сытым капиталистом, поняли также, что капиталист угнетает рабочего не только вследствие экономической несостоятельности последнего, но еще и благодаря тому, что в спорах между капиталистом и рабочим правительство всегда становится на сторону первого,—поняли это и не могли не отнестись с еще большею ненавистью к угнетающей их государственной власти...

П. Я не могу дозволить вам порицать правительство.

М. Человек, совершающий политическое преступление, самим этим фактом порицает уже правительство. Я не могу вовсе раз'яснить моего преступления, и в особенности, причин его, не касаясь таких сторон государственной жизни, которые с моей точки зрения заслуживают порицания. Если мое мнение ошибочно, то оно повредит только мне. А если в нем есть правда, то тем менее оснований зажимать мне рот.

П. Я не зажимаю вам рот, я говорю только, что не могу допустить порицать правительство.

М. Мне необходимо указать те элементы, из которых социально-революционная партия почерпает свои силы. Я сейчас кончу это перечисление. После земледельцев и фабричных рабочих умственный пролетариат, как по своему экономическому положению, так и по своим знаниям, извлеченным из исторического опыта нашего и других народов, не мог не стать в ряды врагов государственности. Наконец, в эти же ряды стали из других классов общества личности, которые по самой натуре своей способны действовать только во имя известного, выработанного ими идеала, а не для узких экономических целей. Вот те элементы, из которых почерпала и до сих пор почерпает свои силы социально-революционные партии, Прочным цементом, скреплявшим все революционные элементы, служит крайне бедственное положение народа и совершенное бесправие российских граждан. Что народ находится в очень бедственном положении...

П. Вы об этом уже говорили, и нельзя возвращаться опять.

М. Я не могу говорить подробно об этом вопросе, потому что источник всех революционных движений — чрезвычайные страдания народа и недовольство его своим положением. Притом в обвинительном акте почти на каждой странице можно найти указания, что подсудимые напирали, главным образом, на тяжесть податей, на недостаток земли, на общее обеднение крестьян. Поэтому нет ничего удивительного, что мне часто приходится возвращаться к этому предмету, тем более, что вследствие перерывов, которым я подвергался со стороны г. первоприсутствующего, я не могу излагать свои соображения вполне последовательно, систематично. Повторяю, я считаю этот вопрос самым существенным, и потому мне необходимо сказать о нем еще несколько слов...

П. Вы извольте теперь вести вашу речь к тому, признаете ли вы себя виновным или нет.

М. Я уже сказал, что признаю себя членом социально-революционной парти. В моей речи я хотел выяснить те причины, которые повлекли за собою создание этой партии.

П. Вы уже сказали о причинах; нам больше нечего знать.

М. В таком случае я не могу окончить того, что я хотел еще сказать по главному вопросу. Перехожу к другим, более частным. Из обвинительного акта видно, что, по уверению прокурора,

сообщество, в принадлежности к которому я обвиняюсь, поставило целью своей деятельности борьбу против религии, собственности, семьи и науки, возводило леность и невежество на степень идеала и сулило, в виде ближайшего осуществления благ, житье на чужой счет. Если бы действительно, подтвердилось, что другие подсудимые задавались подобными целями, то я руками и ногами открестился бы от солидарности с ними, и чтобы очистить себя от подобных обвинений, я выскажу свой взгляд на задачу соц.-револ. партии по отношению к только что перечисленным мною вопросам. Начну с религии. В идеале общественного строя, стремиться к осуществлению которого я поставил целью своей деятельности, нет места уголовным наказаниям за распространение каких бы то ни было зловредных, в том числе и религиозных идей, за совращение в ереси, за исполнение или неисполнение обрядов, предписанных такою-то церковью, и т. п. Словом, нет места насилию над мыслью и совестью человека; каждый может верить или не верить, во что ему угодно; каждая община, если только пожелает, будет иметь право строить у себя на свой собственный счет сколько угодно церквей и содержать сколько угодно попов. Никто помешать этому не может, ибо община вполне самостоятельная, вполне независимая устроительница своих дел. Согласно нашему идеалу, не должно быть такой власти, которая принуждала бы под страхом наказания лгать, лицемерить.

П. Вас и теперь никто не принуждает лгать, лицемерить. Прошу воздержаться от подобных инсинуаций.

М. По вашим законам, я, под страхом уголовного наказания, не могу перейти из православия в другое вероисповедание, следовательно, закон принуждает меня лицемерить.

П. Вы не можете порицать законов, и вообще, каковы бы ни были законы, они не подлежат нашему обсуждению.

М. Я констатирую только известный факт. Я говорю, что в желанном нам строе не должно быть такой силы, которая заставляла бы людей насильно, под конвоем жандармов, шествовать в христианский или иной рай.

П. (возвышая голос). Я не могу дозволить таких выражений.

М. Словом, по отношению к религии я желаю одного—полнейшей веротерпимости и глубоко убежден, что свобода слова в соединении с правильным воспитанием и образованием непременно приведут к торжеству истины, т. е. к торжеству научной мысли над мыслью теологической, и тогда...

П. Нам нет дела до ваших убеждений.

М. А за что же я сижу, как не за убеждения?

П. Не за убеждения, а за действия.

М. За действия, которые служат только выражением моих убеждений. Перехожу к другому обвинению, возводимому на всех нас прокуратурой, в том, что мы возводили невежество на степень идеала. Это очевидная клевета, и мне не стоит ни малейшего труда опроверг-

нуть ее. Приведу хоть одно соображение. Кого скорее можно считать ревнителем невежества: тех ли, кто с риском для себя, печатает и распространяет хоть бы такие книги, как сочинения Лассаля, или тех, кто преследует, истребляет, подобные книги?

П. Вы произносите защитительную речь, для которой теперь не время.

М. Я хочу только возразить на те обвинения, которые возведены прокурором на всех подсудимых огулом, а в том числе и на меня.

П. Это вы успеете сделать в свое время, а не теперь.

М. Я прошу указать мне момент, когда я буду иметь право говорить об этом.

П. Я не обязан указывать; это будет зависеть от усмотрения суда.

Затем первопр. обращается к Мышкину с вопросом, признает ли он себя виновным в том, что составлял, печатал и рассылал в разные местности сочинения, возбуждающие к бунту или другому неповиновению власти верховной, с целью распространения их?

М. Я признаю, что в качестве содержателя типографии, я считал своею обязанностью, по мере сил своих, содействовать печатанию книг, запрещенных правительством, и прошу позволения теперь же об'яснить причины, побудившие меня к этому. Мысль о необходимости начатания книг антиправительственного содержания, — созревала во мне постепенно, и я решился, наконец, осуществить ее только тогда, когда окончательно убедился, что у нас на Руси печать находится в безотрадном положении, вовсе не соответствующем, потребностям, как современного образованного общества, так и в особенности потребностям народа: когда я убедился, что у нас каждый правдивый, неподкрашенный рассказ из жизни трудящегося люда, каждая честно написанная книга, об'ясняющая действительные причины народных страданий, каждая дельная статья, указывающая страшные язвы на русском государственном и общественном организме,—все это безпощадно преследуется, истребляется, сожигается...

П. Вы произносите защитительную речь.

М. Могу ли я говорить о причинах преступлений?

П. Об этом вы можете говорить после... Затем... (смотрит в обвинительный акт). Вы обвиняетесь еще в том...

М. Я не буду отвечать ни на какие ваши вопросы, прежде чем успею дать необходимые раз'яснения по первым двум обвинениям.

П. Так садитесь. (Мышкин сел). Затем был допрошен свидетель Гольдман.

Мыш. Хотя я на основании 729 ст. Уст. угол. суд. имею право требовать, чтобы мне было сообщено обо всем, бывшем на суде по первым 11 группам, но так как я уверен, что подобное требование, несмотря на всю его законность, не будет уважено, то я считаю излишним обращаться с ним к суду. Но я прошу, по крайней мере, сообщить мне о тех наиболее важных частях суд. следствия, которые имеют непосредственное отношение ко мне, как к одному из чле-

нов предпологаемого сообщества. Например, все подсудимые, следовательно, в том числе и я, обвиняются в готовности к совершению всяких преступлений ради приобретения денег. Я желаю знать, подтвердило ли судебное следствие те факты, на основании которых прокурор создал это обвинение? Так, подтвердило ли следствие, что некоторые подсудимые „предлагали Идалии Польгейм сделаться любовницей какого то старика, курского помещика, с тем, чтобы обобрать его, отравить, а деньги предоставить на пользу кружка?“ Если я получу ответ на этот вопрос, то затем укажу еще на несколько подобных же мест обвинительного акта, относительно которых мне необходимо знать, подтверждены ли они суд. следствием?

Перв. Во время всего следствия по первым 11-ти группам ваше имя ни разу не упоминалось; следовательно, оно вовсе не относится до вас.

М. До меня относятся все те факты, на которых построены общие прокурорские выводы: напр., я уже указал на обвинение в готовности совершить преступление ради денег. Так как в обвинительном акте не сказано, что оно относится до таких то лиц, а возводится вообще на всех, то, очевидно, что сделано это только вследствие предположения солидарности между всеми нами; поэтому каждый из нас имеет право знать все те части следствия, которые относятся до подобных общих обвинений. На требовании об'яснения, подтвердило ли судебное следствие, как упомянутый мною факт, так и другие подобные же факты, я настаиваю потому, что, как известно частным образом, уже доказана судебным следствием лживость их, а следовательно, и лживость прокурорских выводов.

П. (возвысив голос). Прошу не употреблять подобных оскорбительных выражений.

М. Для выяснения вопроса о праве моем на получение требуемых мною сведений я желаю, чтобы прокурор об'яснил, относится ли обвинение в готовности на всякие преступления в числе прочих подсудимых и ко мне, или нет?

П. Подобного об'яснения прокурор теперь не может дать. Когда вы услышите обвинительную речь, тогда и представите свои соображения.

М. Но не располагая данными всего следствия, я лишен буду возможности опровергнуть общие прокурорские выводы, хотя бы они были совершенно неосновательны.

П. Вы будете слышать следствие по этой группе и узнаете все, что относится до вас.

М. Но я не узнаю ничего, относящегося до тех обвинений, о которых я упомянул и которые возводятся вообще на всех подсудимых.

П. Вы еще не знаете, что будет выяснено здесь на судебном следствии.

М. Обвинение меня в принадлежности к сообществу основано не на какой либо определенной группе свидетельских показаний, в обвининительном акте вовсе не указаны даже улики, изобличающие меня в

этом преступлении; значит, обвинение это основано исключительно на предположении нравственной связи между всеми подсудимыми—предположении, извлеченном, вероятно, прокурором из всего следственного производства. Поэтому и я, как сторона, равноправная, по закону, с прокурором, имею право на ознакомление со всеми данными, подтверждающими, по мнению прокурора, связь между нами, и в особенности с теми данными, на которых, повторяю, основано обвинение всех нас огулом в различных преступлениях.

П. Еще раз говорю, что находя следствие по предыдущим группам не относящимся до вас, я не считаю нужным сообщить вам о нем.

М. В таком случае, я желаю теперь возразить на некоторые из прокурорских обвинений. Так, между прочим, в обвинительном акте сказано, что мы смотрим на науку, как на средство эксплуатировать народ, и склоняем учащуюся молодежь покидать школы. Я открыто признаюсь, что принадлежу к числу тех, которые не видят для революционера необходимости оканчивать курс в государственных школах. Так как этот взгляд навлек на нас уже не мало нареканий со стороны известной части общества, то я считаю необходимым об'яснить, путем каких соображений я пришел к этому взгляду. Я предположил: что если бы Россия в настоящее время находилась под татарским игом, и во всех больших городах на деньги, собранные в виде дани с русского народа, существовали бы школы под ведением татарских баскаков, в этих школах читались бы лекции о великих добродетелях татарских ханов, об их блестящих военных подвигах, об историческом праве татар господствовать над русским народом и собирать с него дань...

П. Этот пример не идет к делу.

М. Г. первоприсутствующий, я обладаю таким складом ума, что могу усваивать известное положение и доказывать справедливость его преимущественно только путем аналогий, сравнений. Поэтому прошу позволить мне окончить начатое сравнение, как вполне уясняющее мою мысль. Итак, если бы в предполагаемых мною школах история излагалась таким образом, чтобы доказать неспособность русского народа к самостоятельной жизни, и все обучение было бы направлено лишь к тому, чтобы создать из русских юношей верных, покорных слуг татарских ханов, то спрашивается—была ли бы необходимость оканчивать курс в подобных школах для той части русской молодежи, которая желала бы посвятить все свои силы делу воодушевления русского народа к дружной, единодушной борьбе против от'явленных врагов его?—Конечно, нет. Точно так же я думаю, что и в настоящее время нет надобности для революционера в окончании курса в существующих государственных школах, потому что... удерживаюсь от окончания этой фразы из опасения быть остановленным г. первоприсутствующим.

Затем в обвинительном акте говорится, что сущность революционного учения заключается в том, что „лишение ближнего его собственности и уничтожение власти, которая ему препятствует, есть формула осуществления, если не всеобщего, то нашего лич-

ного (пропагандистов) блага на земле". Я, признаюсь, не знаком с таким революционным учением. Учение, которого я придерживаюсь, гласит, напротив, что обеспечение трудящемуся человеку права полного пользования продуктом его труда и уничтожение власти, которая ему препятствует, безусловно необходимы для осуществления на земле блага трудящихся классов. Можно ли серьезно называть охранительницею собственности ту самую государственную власть, которая насильственно присваивает себе право налагать на народ какую угодно контрибуцию, взыскивать эту произвольно наложенную дань при помощи военных команд, отнимать последний кусок хлеба у крестьян...

Первоприсутствующий прерывает Мышкина и между ними завязывается спор, подобный приведенному выше: первоприсутствующий кричит, что не может допустить порицания правительства, а Мышкин доказывает право политического преступника на выражение такого порицания, потому что иначе причина преступления не может быть выяснена. Только недовольство правительством, говорит он, и вообще существующим строем создает революционеров. Кончается тем, что Мышкин, принужден был отказаться от разбора наиболее существенных общих прокурорских выводов, изложенных на первых страницах обвинительного акта. „Значит",—прибавил Мышкин,—„прокурор может говорить и писать, что ему угодно, а мы все должны молчать"; затем он продолжал:

Перехожу к другому предмету. Прошу заявить о тех незаконных, насильственных мерах, которые были приняты против меня во время предварительного ареста. После первого же допроса я, за нежелание отвечать на некоторые из предложенных мне вопросов, был закован сначала в ножные кандалы, а спустя некоторое время еще в наручники. Одновременно с этим я был лишен права пользоваться не только чаем, но даже просто кипяченою водою.

П. Ваше заявление совершенно голословно.

М. О заковке в кандалы имеется протокол в деле. До какой мелочности доходит мстительность властей по отношению к политическому преступнику, в котором они видят своего личного врага, лучше всего доказывает следующий, правда, мелкий, но очень характерный факт. Когда я унизился до ничтожной просьбы о дозволении носить под кандалами чулки, потому что на ногах образовались язвы от кандалов, то даже на эту ничтожную просьбу я получил отказ. Затем во все время содержания меня под стражею мне ни разу не позволили повидаться с матерью.

П. Суд не может проверить ваши показания, как совершенно голословные.

М. Я обращался в особое присутствие с просьбою об истребовании, откуда следует, справок об обстоятельствах, сопровождавших заковку меня в кандалы, но особое присутствие не нашло мою просьбу заслуживающей уважения. Что же касается до запрещения мне видеться

с матерью, то проверить эти слова очень легко,—стоит только спросить у Железовского мое прошение по этому предмету и его ответ.

П. Действия прокуратуры не подлежат рассмотрению суда: она имеет свое начальство. Особое присутствие не может входить в рассмотрение подобных обстоятельств.

М. Насильственные меры, подобные указанным мною, не могут не оказать влияния на характер об'яснений подсудимого, а следовательно и на то представление, которое составляют о нем предварительно судьи; поэтому...

П. Вы не можете знать, какое мнение мы имеем о вас.

М. Но я думаю, что это представление основывается, главным образом, на документах предварительного следствия, и потому для судей не лишнее знать, какие пытки пускаются в ход с целью вымучивания от подсудимых желаемых для властей показаний, хотя нередко безуспешно.

П. Эти меры были приняты против вас на дознании; особому присутствию не подлежит рассмотрение действий лиц, принимавших эти меры.

М. Итак, нас могут пытать, мучить, а мы не только не можем искать правды,—конечно, я не настолько наивен, чтобы ожидать правды от суда и различных властей, но нас лишают даже возможности довести до сведения общества, что на Руси обращаются с политическими преступниками хуже, чем турки с христианами.

П. О каких таких пытках говорите вы?

М. Да, я смело могу сказать, что нас подвергают пыткам. Я указал на кандалы, но это пустяки в сравнении с другими мерами, которые принимались для вымучивания от нас показаний. Например, я в течение нескольких месяцев лишен был права чтения каких бы то ни было книг, даже духовного содержания, даже евангелия, и жандармский офицер откровенно говорил мне, что, как только я дам требуемые показания относительно предполагавшихся моих соучастников, то мне немедленно позволят иметь книги, журналы, газеты.

П. Ваше заявление опять голословное.

М. Я подавал несколько жалоб на это беззаконие, но они почему то не приложены к делу, а спрятаны под зеленое сукно. Сидеть в одиночном заключении без всяких книг—это очень тяжелая, очень сильная пытка. В виду таких мер, можно ли удивляться, что в нашей среде оказался такой громадный процент смертности и сумашествия. Да, многие, очень многие из наших товарищей сошли в могилу, не дождавшись суда.

П. Теперь не время и не зачем заявлять об этом.

М. Неужели мы ценою продолжительной каторги, которая ждет нас, не купили себе даже права заявить на суде о тех насилиях физических и нравственных, которым подвергали нас? На каждом слове об этом нам зажимают рот.

П. Тем не менее вы высказали все, что хотели.

М. Нет, это еще не все, а если позволите, я кончу.

П. Нет, теперь этого не могу дозволить.

М. В таком случае после всех многочисленных перерывов, которых я удостоился со стороны первоприсутствующего, мне остается сделать одно, вероятно, последнее заявление. Теперь я окончательно убедился в справедливости мнения моих товарищей, заранее отказавшихся от всяких об'яснений на суде, того мнения, что, несмотря на отсутствие гласности, нам не дадут возможности выяснить истинный характер дела. Теперь для всех очевидно, что здесь не может раздаваться правдивая речь, что здесь на каждом откровенном слове зажимают рот подсудимому. Теперь я могу, я имею право сказать, что это не суд, а простая комедия, или нечто худшее, более отвратительное, позорное, более позорное...

При словах „пустая комедия“ Петерс закричал: „уведите его!“ Жандармский офицер бросился на Мышкина, но подсудимый Рабинович, загородив собою дорогу и придерживая дверцу, ведущую на „голгофу“ [1]), не допускал офицера; последний после нескольких усилий оттолкнул Рабиновича и другого подсудимого, Стопане, старавшегося также остановить его, и, обхвативши одною рукою самого Мышкина, чтобы вывести его, другою стал зажимать ему рот.

Последнее однакож не удалось: Мышкин продолжал все громче и громче начатую им фразу... „более позорное, чем дом терпимости; там женщина из за нужды торгует своим телом, а здесь сенаторы из за подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества!“.

Когда Мышкин говорил это, на помощь офицеру бросились еще несколько жандармов, и завязалась борьба. Жандармы смяли Рабиновича, преграждавшего им дорогу, схватили Мышкина и потащили его из залы. Подсудимый Стопане приблизился к решетке, отделяющей его от судей, и громко закричал: „Это не суд! Мерзавцы! Я вас презираю, негодяи, холопы!“ — Жандарм схватил его за грудь, потом толкнул в шею, другие подхватили и потащили. То же последовало и с Рабиновичем. Эта сцена безобразного насилия вызвала громкие крики негодования со стороны подсудимых и публики. Публика инстинктивно вскочила со своих мест. Страшный шум заглушил конец фразы Мышкина. Вообще во время этой баши-бузукской расправы с подсудимыми в зале господствовало величайшее смятение. Несколько женщин из числа подсудимых и публики упало в обморок, с одной случился истерический припадок. Раздавались стоны, истерический хохот, крики: „Боже мой, что это делают! Варвары, бьют, колют подсудимых. Палачи, живодеры проклятые!“ Защитники, пристава, публика, жандармы— все это задвигалось, заволновалось. Так как публика не обнаружила особой готовности очистить залу, то явилось множество полицейских, и под их напором публика была выпровождена из залы суда. Часть за-

---

[1]) „На голгофу“ отделены пять подсудимых: Ковалик, Войнаральский, Рогачев, Мышкин и Костюрин, которых вообще содержат под стражей на особом положении, под присмотром особо приставленных к ним жандармов.

щитников старалась привести в чувство женщин, упавших в обморок. Рассказывают, что туда же сунулся жандармский офицер. — „Что вам нужно?“—спрашивает его один из защитников, — „Может быть, понадобятся мои услуги“.—„Уйдите, пожалуйста, разве вы не видите, что один ваш вид приводит людей в бешенство“—ответил адвокат; офицер махнул рукой и ушел, последовав умному совету. Во премя расправы первоприсутствующего с товарищами, прокурор и секретарь вскочили с своих мест и, видимо смущенные, оставались все время на ногах. Первоприсутствующий ушел и, растерявшись, позабыл об'явить заседание закрытым. Пристав от его имени об'явил заседание закрытым. Говорят, будто защитники возразили, что им нужно слышать это из уст самого председателя. Поэтому они были приглашены в особую комнату, где первоприсутствующий об'явил им о закрытии заседания. Защитники требовали составления протокола о кулачной расправе, но первоприсутствующий не счел нужным удовлетворить их просьбу и даже упрекнул адвокатов в подстрекательстве. Желеховский воскликнул по этому поводу: „Это чистая революция!“

Журнал Рус. Истор. Библ. № 7. Государственн. преступления в России. Под ред. В. Базилевского. Т. III

Из воспоминаний Чудновского

о процессе 193-х.

18-го октября 1877 г. невольные жильцы „Предварилки“ поднялись очень рано, тщательно оделись (некоторые даже принарядились) и, умывшись, напились чаю и закусили, и с величайшим нетерпением стали ожидать момента, когда их поведут в суд. Если принять во внимание, что у каждого из нас между товарищами по суду были близкие друзья, что большинство из нас просидело уже за решеткой по 3 и 4 года, что самое наступление суда знаменовало для значительной части подсудимых скорое освобождение из душных одиночных камер, то можно себе представить то волнение, которое охватило всех в ожидании этого момента...

Наконец, стали нас вызывать.—Раскрыли наши камеры, мы высыпали в длинный корридор „Предварилки“ и строились там в шеренги. Явился чуть ли не целый дивизион жандармов, который окружил нас со всех сторон с сверкающими саблями наголо. Начальник дивизиона (кажется, полковник Федоров) прочел конвоирам соответствующие грозные статьи военных постановлений, из коих вытекало, что мы обязаны беспрекословно подчиняться распоряжениям конвоя, и что, в случае малейшей попытки со стороны кого либо из нас к побегу, конвоирам предоставляется право прибегнуть ко всем мерам до употребления холодного и даже огнестрельного оружия включительно.

Длинной вереницей, очень внушительной и эффектной, двинулись мы в путь, прошли подземным ходом из „Предварилки“ в Окружный Суд, на который пал в данном случае выбор, как на одно из наиболее вместительных судебных помещений, хоть сколько нибудь соответствовавшее численности подсудимых, защитников и свидетелей...

Наконец-то, настал нам суд, и мы в зале судебного заседания.

Подсудимых видимо-невидимо. Они заполнили все скамьи, устремляясь—преимущественно—в задние ряды, чтобы свободнее беседовать и отводить душу с друзьями-приятелями. Если мне не изменяет память, из „Предварилки“ нас явилось около 150 человек, а остальные 40—45 человек находились на свободе—на поруках и под стражей находились лишь в самом суде, размещаясь на общих скамьях с другими подсудимыми.

При всей своей относительной вместительности, зал суда был настолько переполнен подсудимыми и защитниками, что, хотя первоприсутствующий не провозгласил, что заседания суда будут закрытые, но фактически они должны были таковыми оказаться, и присяжный поверенный Спасович имел полное основание, при самом открытии заседания, заявить от имени своего и всей защиты, что заседание происходит при закрытых дверях, и ходатайствовать ввиду недостаточного помещения для публики приискать для заседаний суда более обширное помещение (проходную залу того же Окр. суда или какое-либо из обширных городских зданий). Спасовича поддержал Герард, но первоприсутствующий Петерс раз'яснил, что заседание-де публичное, и в заседании присутствует даже публика в пределах вместимости посещения, так что ходатайство защиты не подлежит удовлетворению.

Действительно, была в зале и публика, но крайне немногочисленная, состоявшая, главным образом, из ближайших родственников подсудимых—матерей, жен, братьев, отцев, сестер. Посторонняя же публика была допущена в самом ограниченном количестве и впускалась не иначе, как по строго контролировавшимся билетам. Я не говорю об отборной сановной публике, красовавшейся в блестящих мундирах за креслами судей...

Первоприсутствующий приступил к формальному опросу подсудимых — о звании, вероисповедании, занятиях, летах и последнем местожительстве.

Ответы были сдержаны и кратки. Заметна была лишь общая тенденция большинства подсудимых подчеркнуть бесконечно долгое предварительное заключение. Мне столько то лет, а во время ареста было лишь столько то,—вот каков был ответ очень многих подсудимых на вопрос о летах, хотя никакого предварительного уговора на этот счет не было,—и из этих ответов выяснилось, что, за исключением весьма немногих, громадное большинство томилось в ожидании суда за решетками по 3—4 года. На вопрос о вероисповедании многие отвечали: при рождении меня окрестили по православному обряду. На вопрос о последнем местожительстве большинство отвечало:—„тюрьма“.

После некоторых других еще формальностей, когда особое присутствие, выслушав заключение обвинителя, предположило перейти к производству судебного следствия, один из подсудимых—И. Н. Чернявский—в весьма резкой форме заявил, что, так как судебные заседания, благодаря неудачно выбранному помещению, фактически будут, вопреки раз'яснениям первоприсутствующего, не публичные, а закрытые, и подсудимые лишены будут той гласности, на которую они имели право расчитывать, то подсудимые считают излишним присутствовать на суде и отказываются добровольно приходить в заседания. К этому заявлению присоединились Муравский и многие другие.

Первоприсутствующий приказал тогда удалить из залы заседания Чернявского. Но, когда пристав хотел привести в исполнение это приказание, вся зала заволновалась. Раздались бурные протесты и крики: „Пусть выводят всех. Мы все разделяем это мнение".

Видя, что придется или отменить приказ об удалении Чернявского, или прервать заседание, первоприсутствующий в интересах „престижа" приказал ввести стражу и, об'явив заседание закрытым до следующего дня, распорядился об удалении из зала всех 193-х подсудимых, хотя нашлись в числе последних и такие (правда, очень немногие), которые заявили, что они к мнению Чернявского не присоединяются и намерены участвовать в суде...

В 5-м заседании, 24 октября, около 4-х часов дня чтение обвинительного акта, наконец, закончилось. Настал момент перехода к судебному следствию.

И вот тут-то само Особое Присутствие доставило нам, подсудимым, неуязвимый, по нашему мнению, с точки зрения самой строгой законности, повод к тому бойкоту суда, к которому уже заранее присоединилось около сотни подсудимых.

Прежде, чем перейти к судебному следствию, первоприсутствующий огласил следующее, состоявшееся е щ е д о о т к р ы т и я с у д е б н о г о р а з б и р а т е л ь с т в а, 11-го октября, в р а с п о р я д и т е л ь н о м заседании, по его—первоприсутствующего—словесному предложению, определение: всех привлекаемых к „делу о революционной пропаганде в Империи" разделить, в виду тесноты помещения, на 17 групп, производя судебное следствие в каждой группе в отдельности, предоставляя отнесенным к той или иной группе право присутствовать при судебном следствии и над лицами другой группы, буде они укажут на заведомую связь их с этой группой.

При оглашении этого неожиданного, при столь странной обстановке состоявшегося, определения Особого Присутствия, раздались единодушные протесты против него со стороны подсудимых и со стороны защитников. На обращенные присяжными поверенными Герардом и Утиным запросы к суду и на выраженное ими желание сделать заявление по поводу этого определения, первоприсутствующий об'явил, что определение суда о к о н ч а т е л ь н о е и обсуждению не подлежит.

Поднялся страшный ропот со стороны почти всех подсудимых. Раздался общий негодующий крик: „Мы протестуем: существенные интересы наши нарушены“. Многие подсудимые, и в их числе и я, крайне возбужденные, вскочили на стулья и, вне себя от негодования, выразили свой протест в самых резких выражениях против столь бесцеремонного и незаконного поступка суда. К чести наших защитников надо отметить, что они единодушно и весьма энергически поддерживали наши протесты, возмущаясь до глубины души попранным правом.

Шум и ропот возрастали crescendo. По адресу суда посыпался целый каскад самых нелестных и оскорбительных эпитетов. Ни крики, ни угрозы первоприсутствующего не помогли. В зале воцарилась полная анархия. Все слилось в один бурный гул.

И тогда произошла одна из тех сцен, которые никогда не забываются и навеки неизгладимыми чертами врезываются в память: мгновенно раскрылись двери, в зал заседания быстро вторглось множество жандармов, которые со сверкающими высоко-поднятыми над головами саблями наголо со всех сторон окружили подсудимых сплошной цепью и потребовали грозно, чтобы те немедленно последовали с ними обратно в дом предварительного заключения.

Немногочисленная публика, присутствовавшая в заседании, впала в оцепенение. В ее рядах раздались истерические вопли и крики, было даже несколько случаев с обмороками.

Направленные на нас в упор сабли не помешали нам, однако, еще раз протестовать против беззаконий суда и заранее, повидимому, организованного против нас насилия. Мы слишком были возмущены и возбуждены, чтобы выбирать выражения, которые не отличались особенной деликатностью.

Члены Особого Присутствия, крайне смущенные, совершенно растерялись от столь неожиданного для них активного противодействия и без всякого заявления со стороны первоприсутствующего о перерыве или закрытии заседания, вместе с прокурором Желиховским, поспешно оставили зал заседания. Нас насильственно отвели „домой“, а наши защитники все демонстративно остались на своих местах, заявив, что, так как заседание председателем формально и публично не закрыто, то они не считают себя в праве удалиться из зала,—о чем и довели через судебного пристава до сведения Особого Присутствия, присовокупив, что одного его негласного заявления через суд. пристава о перерыве заседания для них недостаточно, так как закон обязывает суд делать подобные заявления публично в самом зале заседания и в присутствии обоих сторон.

Очутившись в столь безвыходном положении, Петерс пригласил в судейскую комнату защитников. Там, как мы узнали от последних, произошло очень бурное об'яснение. Сенаторы горько упрекали защитников в потворстве скандалу, учиненному подсудимыми, в неуважении к суду и т. д. Желиховский совершенно забылся, обрушился на защитников и поз-

волил себе чуть ли не обозвать их революционерами и подстрекателями. Защитники не оставались в долгу и довольно резко отметили некорректное отношение суда к подсудимым. В конце концов защитники сдались и, удовлетворившись сделанным им лично Петерсом (хотя и в судейской комнате) заявлением о закрытии заседания, удалились домой...

Очередь дошла до десятой группы, в которую включили одесситов, и в том числе и меня...

Петерс обратился ко мне с бесстрастным обычным вопросом: признаю ли я себя виновным. В ответ я заявил, что я прошу суд прежде всего раз'яснить мне: на основании какого обвинительного акта он предполагает судить меня?

Петерс в недоумении спрашивает меня: „А разве вам не вручен был обвинительный акт, и разве вам не читали его здесь на суде?"—Да, возразил я, этот обвинительный акт мне пред'явлен был, но, очевидно, что судят меня не на основании этого акта, а какого либо другого, так как по тому обвинительному акту суду предается ведь тайное сообщество 193-х лиц, одним из которых по совершенно неосновательному мнению прокуратуры являюсь я. В данную же минуту я вижу себя в обществе всего 26 лиц, и судебное следствие предполагается произвести над этими именно 26-ю лицами,—и суд не может не согласиться, что недоуменье мое, таким образом, вполне законное и основательное...

Прервав меня, Петерс сурово сказал мне: „Вы знаете, что суд разделил подсудимых на группы вследствие тесноты помещения и то только на время производства судебного следствия. А теперь прошу вас дать, не уклоняясь, ответ на мой вопрос".

— Но, возразил я, г. председатель, я с подобным доводом согласиться не могу. Меня и других, привлеченных по этому делу, продержали до суда в предварительном одиночном заключении около четырех лет, и на все наши протесты и ходатайства нам неизменно отвечали, что нас—подсудимых—слишком много, что мы разбросаны по всей России и составляем, вместе с тем, такое тесное сообщество, что в интересах правосудия, немыслимо разделить нас, отделить одних от других, а необходимо, безусловно необходимо судить нас всех разом и вместе. И вот мы изнывали, томились бесконечно долгое время, многие не выдержали предварительного заключения, зачахли за решетками и умерли, не дождавшись суда, некоторые покончили самоубийством. А теперь, когда настал, наконец, долгожданный суд, последний находит возможным, за неимением соответствующего помещения, разбить нас на 17 групп и производить судебное следствие по каждой группе в отдельности. Четыре года все было бессильно перед суровым принципом: „fiat justitia — pereat mundus", — во имя торжества последнего не останавливались ни перед серьезными болезнями заключенных, ни перед их отчаянием, разразившимся самоубийством, а перед „теснотой помещения" принцип этот должен был покорно склониться... Если я обвиняюсь в принадлежности к сообществу из 193 лиц, то пусть же суд

производит судебное следствие надо мною и над каждым из нас в присутствии всего этого общества“...

Петерс вновь прервал меня заявлением, что Особое Присутствие не ответственно де за то, что происходило до суда. Он предоставит мне дать все свои об'яснения впоследствии, когда будет производиться следствие по существу; теперь же он требует от меня категорического ответа на формальный вопрос.

Я в свою очередь возразил, что я не могу согласиться участвовать в следствии по существу до тех пор, пока не получу ответа и удовлетворения по столь существенному формальному вопросу.

Петерс сурово заявил мне: прошу категорического ответа на вопрос, признаете ли себя виновным или нет?

Заметив, что ко мне уже направляются судебный пристав и конвоир, я, возвысив голос, громко отчеканил буквально следующее:

— Ответить на этот вопрос я не считаю возможным, и во имя закона и истинного правосудия отказываюсь от всякого участия в настоящем суде.

При последнем слове я быстро направился к выходу и, не ожидая „вывода“, вместе со своим конвоиром оставил зал заседания, вышел в корридор, поделился с товарищами по группе, ждавшими своей очереди, моим заявлением и затем препровожден был в „Предварилку“ — в свою камеру.

(Мин.-Годы. 1908 г. № 5—6. Стр. 351—361).

Речь Мышкина.

(Из восп. Е. Брешковской).

Осенью 1876 г. вместе с другими семьюдесятью, намеченными перстом Третьего Отделения, Мышкин был переведен из Дома Предварительного Заключения в крепость.

Летом 1877 года нам вручили обвинительный акт по делу 193-х и пригласили ходить в канцелярию равелина (комната, где давались свидания), чтобы читать „дело“, т. е. показания всех привлекаемых по делу о пропаганде в 36 губерниях; а этих прямых и косвенных участников хождения в народ допрошено было более 2000 человек. Эти показания, сложенные в толстые синие папки, озаглавленные, занумерованные и зашнурованные, давались читать подсудимым для того чтобы они до суда могли знать, какие имеются данные, подтверждающие или опровергающие обвинения, изложенные против них в обвинительном акте. Таких папок было несколько сот и их развозили на телегах из Дома Предв. Заключения в крепость и обратно в продолжение нескольких недель.

В канцелярии вызывали заключенных по шести-восьми человек; они садились вокруг длинного стола, заваленного толстыми папками, и

каждый брал себе ту, которая была ему интересна; перелистав одну, брал другую, третью. Но стоявший возле стола смотритель нашего равелина и крутившийся в комнате жандармский офицер могли скоро заметить, что подсудимые не столько читали „дело“, сколько переговаривались, смеялись и всякими способами норовили передавать друг другу записки. По этому ли поводу или же потому, что само начальство понимало, что суд сословных представителей вовсе не нуждается в том, чтобы подсудимые имели ясное понятие в своем деле, но чтение поспешили прекратить прежде, чем мы успели ознакомиться с сотой долей всего содержания синих папок. Тем не менее, веселое настроение, вызванное свиданиями и близостью развязки, не покидало заключенных и в их камерах. Ожидание предстоящего суда породило множество речей и рассуждений о нашем к нему отношении, вызвало множество предложений, от самых крайних до наиболее умеренных. Большинство сразу высказалось за отрицание правительственного суда, за отказ от всякого в нем участия подсудимых. Многие говорили, что не только не позволят за себя говорить адвокатам (которых можно было пригласить по своему выбору), но и откажутся от судебного следствия и от последнего слова; настаивали на том, что мы должны игнорировать и состав суда, и все его производство, как лживое, бесчестное учреждение, роль которого состоит в том, чтобы прикрыть собой явный произвол Третьего Отделения, царившего тогда вместо теперешнего Департамента Полиции. Говорить нечего, что Мышкин тоже не расчитывал на правосудие сенаторов и тоже не боялся того усиления наказания, которое могло ожидать каждого из дерзких, решавших громко заявить, что царского суда они не признают и, как социалисты и революционеры, ничего общего с ним иметь не могут. Тем не менее, раз, после долгих переговоров и обсуждений все того же жгучего вопроса, раздался особенно громкий стук в решетку окна (тогда еще доступную обитателю камеры), и Мышкин торжественно заявил, что пусть с ним делают, что хотят, но он не может отказаться от последнего слова... „Ни оправдываться, ни защищаться не буду, пусть приговаривают, к чему хотят, но не сказать им в глаза всего, что я об них думаю, не назвать их именами, которые они заслужили — я не могу“...

Ему возражали, что никакие доводы и доказательства не убедят царских чиновников в бесчестности их поведения, что никакие заслуженные ругательства не смутят их закаленной совести; что суд будет не гласный, и речь подсудимого останется либо бисером, брошенным пред свиньями, либо криком негодования, пропадающим в безвоздушном пространстве.

— „Я не могу молчать... как хотите... я буду говорить. Я не могу не сказать подлецам всей правды о них самих. Позвольте мне всего раз... всего одну речь“...

В один из следующих дней он передал нам набросок составленной им речи, и маленькая бумажка, исписанная сжатым и мелким почерком, недели две переходила из камеры в камеру, возбуждая замечания, привет-

ствия, добавления. Потом этот набросок целиком вошел во вторую часть речи Мышкина на суде, тогда как первая половина речи, характеризующая тогдашнее движение, была составлена другим лицом, отказавшимся от слова в пользу Ипполита.

Из крепости нас перевели в Дом Предварительного Заключения, кажется, в августе, здесь предложения и дебаты относительно „суда“ приняли еще более оживленный характер как потому, что общение между заключенными было значительно свободнее, так и потому, что для сидевших здесь мысль отказаться от участия в суде была и нова, и не обычна. Пришлось вести усиленную пропаганду, доказывая, что, кроме унижения и разочарования в себе, суд ничего не даст политическому обвиняемому. Прения по этому вопросу шли успешно, когда случилось обстоятельство, ускорившее решимость большинства отказаться от участия в казенной комедии. Обвинительный акт гласил, что, хотя все 193 человека действовали в разных кружках, рассеянных по 36 губерниям империи, но что все вместе они составляют одно тайное общество, поставившее себе целью ниспровержение существующего порядка вещей, для коренного изменения как формы правления, так и экономического строя страны; и что потому каждого из нас следует считать членом этого тайного сообщества, на каком основании все мы подвергаемся обвинению по такой-то статье закона. Признание „сообщества“, т. е. такого факта, который может быть лишь следствием предварительного соглашения для деятельности по одному плану и ради одной и той же цели, влекло за собой необходимость и совместного судопроизводства, и одновременного присутствия в зале суда всех членов тайного сообщества, чтобы все они могли следить за ходом дела, одинаково касавшегося всех их. Очевидно, сами судьи так думали, и потому первые три дня заседания все 193 человека были приглашены в залу одновременно.

Нетерпеливое, утомительное ожидание уже много дней наполняло наши сердца, и не мудрено, что когда, в один прекрасный осенний день, жандармы явились сопровождать подсудимых из их камер в залу суда, то мы летели по длинным корридорам мрачного здания на углу Литейной и Сергиевской, торопясь увидеть себя среди массы дорогих лиц и голов, услышать знакомые и незнакомые голоса товарищей, с которыми столько было пережито, столько выстрадано в грязных и темных российских тюрьмах. Не бежали только те, кто, ослабев от истощения, еле двигали свои ослабевшие ноги или же опирались на костыли исхудалыми, обвисшими руками, или на каждом шагу останавливались, чтобы откашляться и придержать руками свою разбитую исхудалую грудь. Зал отвели небольшой, нарочно, чтобы не было места для публики. Все 193 человека, и здоровые, и больные, разместились на всех имевшихся в зале сидениях; не осталось ни одного пустого места. Все женщины (их было 37) уселись в первый день на скамьи для адвокатов; мужчины постарше (их было 12—15, от 27 до 40 лет): Муравский, Войнаральский, Ковалик, Мышкин, Рогачев и др. заняли возвышение, назначенное для обвиняемых, выступ, окруженный перилами, который мы назвали „Гол-

гофой“; а все остальные, человек 140, уселись на места отсутствующей публики. Таким образом мы очутились как бы в тесном улье, у отверстий которого стояли вооруженные жандармы и выглядывающие из-за двери пристава. Сенаторы и прочие судьи восседали за большим длинным столом, против мест публики. Вправо от них, маленький ехидный прокурор Желиховский стоял на возвышении, почти закрытый своим пюпитром, а слева—столики с секретарями, быстро вскакивавшими при малейшем жесте сенаторов. Перед столом секретарей получился пустой квадрат, который был полон адвокатов, принимавших большое участие в ходе процесса, и двумя столиками, на которых быстро чертили свои знаки две скромные стенографистки, одна от правительства, другая от защитников; впоследствии в этот же четырехугольник вводились и свидетели, для дачи их показаний, и часто заполняли его тесной толпой, потому что всех свидетелей, созванных со всей России, было более 900 человек.

Весь первый день ушел на опрос подсудимых: их звания, вероисповедания, лет, занятий и т. д. С первых же минут ясно было, что подсудимые отвечают на вопросы председателя только между прочим, что на уме их совсем другое, что внимание их целиком направлено в сторону взаимного сближения. Все думали только о том, как бы переговорить между собой о необходимости общего протеста, как бы скорее и в то же время обстоятельнее договориться до единогласного решения значительного большинства и до выработки мотивировки, долженствующей лечь в основу нашего официального отказа от суда. Это был самый трудный пункт соглашения, так как на нем сталкивался целый ряд мнений: от самых крайних до самых умеренных.

Понятно, что такое положение дела вызвало необходимость множества свиданий и личных переговоров, и что спешность вопроса заставила окончательно потерять всякий интерес к тому, что исходило от пышного стола сенаторов. Все чувства наши сосредоточились, от радости свидания и новых знакомств, на взаимной пропаганде в своей, родственной среде. Сначала мы стали кланяться друг другу на расстоянии и молча передавали из рук в руки приготовленные записки; потом мы стали разговаривать с соседями своими, а вся другая половина заседания прошла уже в том, что подсудимые стали меняться местами, перелезать через скамьи и вызывать нужных для переговоров товарищей то с того, то с другого конца залы, не исключая и Голгофы. Мало-по-малу вся зала заговорила; голос сенатора утонул в общем шуме, а звонок председателя выбивался из сил, не достигая желанных результатов. Сенаторы недоумевали и начинали понимать, что им не справиться с такой массой людей, не желающих их слушать, что при таких условиях судебное производство будет невозможно. И, как мы узнали стороной, в первый же день сенаторы решили про себя разбить все „сообщество“ на отдельные группы, по месту их деятельности: Киевскую, Московскую Оренбургскую и т. д., чтобы над каждой из этих групп особо вести судебное следствие. Такое решение вопроса было несогласно даже с их

собственным законом, требующим, чтобы все обвиняемые по одному и тому же делу совместно присутствовали на суде, в виду необходимости знать каждому из них все подробности обстоятельств, сопровождающих процессуальную сторону дела; кроме того, это решение осуждало всех нас, уже посидевших в одиночках по три года, а некоторых и по четыре — к бесконечному еще сидению в тюрьмах, так как вместо одного суда приходилось пережидать целых 36 или около этого. Тайные переговоры сенаторов с остальными судьями немедленно становились известными и нам, а потому на другой день, назначенный для чтения обвинительного акта (который месяца за два до суда был выдан нам на руки и всем известен), подсудимые входили в зал, вооруженные единодушным негодованием против втайне уже подготовленного судом грубого нарушения прав людей, и без того много выстрадавших, успевших лишиться 75 товарищей молодых и здоровых, еще не осужденных и, быть может, даже непричастных к делу... Зала была полна воинственного духа, о судейском столе и сенаторах никто не заботился, все сердца и умы были направлены на скорейшее согласование содержания и формы протеста.

Мы знали заранее, что меньшинство, человек около сорока, которые, кто по слабости, кто по убеждению, что не расчет навлекать на себя увеличение наказания—не будут протестовать. Но и остальные полтораста человек не были все единогласны; им приходилось очень о многом толковать между собою и обсуждать то ту, то другую формулировку. А потому и второй день нашего присутствия в зале суда был занят деловыми переговорами, что вызывало большой шум, а вместе с ним звонкие и резкие призывы к порядку, в свою очередь, вызывавшие серьезные и не менее резкие возражения со стороны подсудимых.

Вдруг среди шума и взаимных пререканий раздался голос звучный, отчетливо произносивший каждое слово, точно привыкший спокойно и властно отдавать приказания, разрешать споры и требовать себе последнего слова. Зала смолкла, и головы обернулись к человеку, впервые громко заговорившему. На Голгофе, среди других богатырей наших возвышалась голова, с бледным правильным лицом, не пышно, но красиво обрамленным черной шапкой волос; высокий лоб был приподнят, глаза строго смотрели в сторону стола, окруженного мундирами. Это Мышкин протестовал против нарушения прав подсудимых. Он начал уже строго выговаривать сенаторам и уличать их в вероломстве, когда председатель с помощью адвокатских светил, сидевших в углу между судьями и Голгофой, поспешил раз'яснить, что прения еще не открылись, что когда кончится чтение обвинительного акта, каждый получит возможность сказать то, что хочет.

Снова подсудимые принялись за агитационную работу в своей среде, снова загнусил Желиховский им же составленный акт, снова сенаторы зевали и перешептывались, замышляя новые козни против жертв своих расчетов и видов на звезды и чины; снова адвокаты осматривались и прислушивались, изучая своих клиентов и предвкушая удоволь-

ствие быть услышанными..., а звуки серебристого, чистого и властного голоса стояли в зале и наполняли сердца восхищенных товарищей. Было еще несколько попыток говорить, требовать об'яснений, но председатель, хитрая лисица сенатор Рененкампф, упорно отклонял переговоры, ссылаясь на то, что ничего не известно определенного, и что, если вопрос о делении на группы будет поставлен, тогда и возможно будет обсуждать его, а заранее говорить о нем нет основания. Напрасно ему возражали, что предупредить решение возможно только прежде, чем оно сделано, председатель твердил свое и не давал говорить никому из подсудимых. Инициаторы протеста поняли, что такое беззаконное поведение суда может только усилить оппозиционное настроение всего состава подсудимых, и, видя в то же время, что все их попытки вразумить судей остаются безуспешными, с новой энергией принялись организовывать протестующих. Зала была полна самых разнообразных сцен и настроений: здесь сидели два товарища и горячо заканчивали теоретический спор, начатый ими еще перестукиванием в крепости; здесь жених и невеста условливались о том, как им быть в случае приговоров, разлучающих их на долгие годы; там друзья юности спешили передать друг другу пережитое ими за долгие годы одиночества; там и тут сидели бледные, исхудалые кандидаты на смерть и грустно смотрели на тех, кто был еще в состоянии радоваться; для этих полуживых людей утвердительное решение вопроса о распределении всего состава на группы—было равносильно приговору умереть в тюрьме,—не вдохнув ни разу свободного, чистого воздуха: процесс затягивался на много месяцев.

Позади, у стены, стояли две-три серые фигуры, с почерневшими безжизненными лицами, тупо смотревшими вперед и опускавшими глаза при встрече с чужим взглядом. Это были Низовкин и Ларионов; первый—студент, сознательный предатель, второй—беглый уголовный, выдавший себя за политического и тоже оговоривший всех, известных ему лиц.

А из конца в конец залы, шагая через скамьи с народом, агитаторы подходили то к той, то к другой группе лиц и горячо убеждали товарищей в необходимости самого решительного и категорического протеста.

Говор, шум и звонки председателя, жалобы прокурора на то, что никто не слушает его чтения... и опять шум, говор. Так прошел второй день, и тем же начался третий. Но за два дня бестактного поведения суда публика наша окончательно взвинтилась, и по мере того, как зала наполнялась подсудимыми (приходившими один за другим), чувствовалось, как поднималась революционная атмосфера, и как все труднее и труднее становилась задача председателя, обязанного сохранить внешний порядок. Первую минуту даже не садились, а стояли кучками, громко разговаривая, убеждая, доказывая. Усердный звонок и приглашения председателя усадили, наконец, подсудимых, и опять Желиховский загнусил монотонным голосом недочитанный обвинительный акт. Судьи уже приготовились отдохнуть от напряженного состояния, жандармы и пристава стали реже заглядывать в двери, когда подсудимые, начавшие разговаривать вполголоса, мало по малу перешли к громкому говору, и снова

зала превратилась в громадный улей, шумящий, жужжащий, волнующийся. Звонки, призывы к порядку — ничто не помогало. Со всех сторон слышались громкие возражения: „Мы не хотим слушать вашего обвинительного акта"... „Мы не признаем его". „Вы поступаете беззаконно:... делите сообщество, признанное вами, на отдельные процессы, этим вы удлиняете срок сиденья до бесконечности... лишаете подсудимых возможности совместной защиты"... „Вы хотите всех заморить... больные не вынесут дольше"... Бросив эти и подобные слова в сторону, говорившие отвертывались и продолжали говорить с соседями. Депеши на словах и на бумаге летали из конца в конец зала. Наконец, чтение окончилось, и прокурор уже намеревался сказать свое заключение, как вдруг зала огласилась криками негодования и презрения, и обвинения во лжи и клевете посыпались на голову жалкого человека, дрожавшего от злости за своим пюпитром. Ни звонков, ни воплей председателя не было слышно, все тонуло в общем гуле голосов, и напрасно жандармы переступали порог залы и делали вид, что вот - вот ринутся в толпу с обнаженными шашками. Шум поднимался все выше и выше, точно растущая буря; и как удары раскатистого, звонкого грома, голос Мышкина покрывал собою весь хор негодующих, и в звуке этого голоса точно откристаллизовывались чувства и мысли, наполнявшие сердца и головы собрания.

С грозной отвагой глядя на смертельных врагов своих, отчеканивая каждое меткое свое слово — бывший ординарец третировал, как самых последних негодяев, судей и прокурора и бросал им в лицо одно обвинение за другим... Все поднялись со скамей, и небольшая зала точно сотряслась от взрыва негодования... гневные восклицания, жесты, крики... Люди, просидевшие по три и по четыре года в одиночках, бросали вызов своим всесильным судьям и гордо удерживали за собой право над своей совестью, над своими поступками. Гнев на позорно составленный обвинительный акт, где не было ни правды, ни смысла, которым правительство хотело представить пред лицом населения всех нас мальчишками, недоучками, людьми без принципов, без совести, без мысли; обида за больных и слабых товарищей, осужденных еще на месяц лишнего сиденья; отвращение ко всей обстановке суда, сопряженной с самой наглой ложью, со всевозможными унизительными и оскорбительными процедурами для подсудимого — все это вместе создало ту атмосферу непримиримости, которая и вызвала бурю, напугавшую и судей, и прокурора, и стражей. Сенаторы вскочили со своих мест, за ними побежали все их прихвостни; Желиховский успел вскрикнуть: „Да это чистая революция"... и спрятался сначала за пюпитр, а потом выскочил за дверь. Не стало ни судей, ни прокурора. Изумленные адвокаты осматривались во все стороны, а стенографистки, бледные, перепуганные, не знали, что и как вносить в свои протоколы. А подсудимые смеялись и продолжали свои прерванные разговоры. Но вот, один из бегавших приставов поспешно вынес резолюцию, что заседание закрыто...

В тот же день сенаторы оффициально постановили и об'явили о том, что процесс тайного сообщества, с'организовавшегося для социально-революционной пропаганды в 36 губерниях Российской империи — расчленяется на группы, и что каждая из этих групп будет иметь свое отдельное судопроизводство и, следовательно, свой приговор. Попросту это значило, что, боясь иметь дело со всеми 193 заключенными зараз, сенаторы сочли более удобным для себя справляться с группами лиц в 10—15—20 человек. Пока одна группа посещала судебное следствие, остальные должны были продолжать сидеть в одиночках, ничего не зная, в каком виде находится та часть дела, за которую им придется специально отвечать. После оффициального об'явления резолюции сенаторов, все стоявшие за протест тут же отказались от участия в судоговорении. На следующий же день в суд вызвали только часть подсудимых, именно, петербургскую группу (кружок Чайковцев), которая почти целиком заявила суду о своем недоверии к его образу действий и, отказавшись принимать в нем какое бы то ни было участие, вернулась в свои камеры.

Тем не менее судьи продолжали заседать и вести заочно дела отказавшихся на ряду с делами тех двух - трех человек каждой группы, которые не хотели протестовать и присутствовали в суде во время судопроизводства; а время это для каждой группы в отдельности тянулось настолько долго, что в общей сложности взяло несколько месяцев. Именно суд начался 17 октября 1877 г., а окончился 23 января 1878 г., в окончательной же форме приговор был об'явлен в мае.

Жандармы и надзиратели дома предварительного заключения хорошо знали, кто из нас принадлежит к протестующей стороне, и кто был согласен явиться в суд. Заключенные нисколько не стеснялись высказывать свои мысли, свои взгляды, свое отношение к администрации и всему правительству, взятому в целом. С утра до вечера окна одиночек, выходившие во двор, приотворялись на своих железных цепях, и узники, стоя на раковинах умывальников и просунув голову в отверстие, вели обширные переговоры, произносили громкие речи и обсуждали вопросы так же свободно и открыто, как это делается на сходках, где решаются вопросы революционных принципов и тактики. Кроме этих гласных заседаний, нашей характеристикой для Третьего Отделения служило еще множество записок и рукописей, которые отбирались в камерах во время внезапных ночных посещений жандармерии, несколько раз нарушавших обычный тюремный режим во время суда. Тем не менее, согласно принципам юридической морали, каждого из подсудимых должны были представить пред светлые очи судей, хотя бы силой, чтобы честные судьи собственными ушами услышали отказ подсудимого и раз'яснили бы ему все истекающие отсюда невыгоды для неразумного протестанта. На самом же деле, судьям, уже совершившим открыто беззаконие (разделением нас на группы после составления единого для всех обвинительного акта), стало как-то неловко судить массу лиц, не имея почти никого из них на лицо. Тем более неловко, что при групповом делении все скамьи для публики оказались свободными и были заняты по билетам ближайшими родственниками обвиняемых.

Публика, множество свидетелей, толпа адвокатов, торжественный стол с красным сукном и золотыми кистями, судьи в мундирах с крестами и звездами и... один, два подсудимых. Неловко, неудобно суду милостивому и справедливому судить людей за глаза, которые сидят в двух шагах от залы, в пяти минутах ходьбы по мрачным сырым сводам, соединяющим здание суда с Домом Предварительного Заключения. У судей была тайная надежда на то, что авось притащенный силой обвиняемый соблазнится, опустится на лавку и останется в зале.. В виду такой возможности, как им казалось, председатель любезно встречал вводимых протестантов, обращаясь к ним со словами: „садитесь, садитесь". Но выслушав мотивировку подсудимого, указывавшую обыкновенно на беззакония, злоупотребления и превышения власти царских представителей, председатель спешил уволить его из залы заседания и с неспокойным сердцем ожидал появления следующего военнопленного.

Когда наступила очередь Московской группы, которая тоже почти вся протестовала, то, к великому удивлению жандармов, Мышкин, хотя заявил, что идет в суд, только подчиняясь насилию, пошел спокойно, не оказывая никакого сопротивления. Напротив, смелый и гордый, он шел, как воин на давно ожидаемый бой и взошел на Голгофу, как на трибуну, с которой должен был поведать всенародное грозное слово врагам народа. И он сказал это слово, как никто еще не говорил в России.

Все мы, протестовавшие, к большому нашему огорчению, не слышали этой знаменитой речи, известной „речи Мышкина" на суде. Но час спустя, а может быть и раньше, мы уже знали о ней и о том громовом впечатлении, какое она произвела на слушателей, из рассказов прибежавших адвокатов, бледных, задыхающихся, встретивших нас возгласами: „Мы ничего такого не слыхали... Надо родиться таким оратором, этого нельзя передать"... То пытались передать они нам силу впечатления, произведенного речью на всех присутствующих, даже на самих судей; то пытались передать содержание речи; то описывали эпизод борьбы с жандармами товарищей наших, тридцати человек, пришедших нарочно вместе с Мышкиным, чтобы не впускать жандармов на Голгофу, когда они бросятся стаскивать его; то опять возвращались к самой речи, восхищаясь ораторским искусством Мышкина, превратившегося в грозного судью царских судей; то возвращались к обморокам и истерикам, вызванным бурным красноречием оратора. Мы слушали эти рассказы с замирающим сердцем, со слезами восторга на глазах. Скоро вернулись и надзирательницы, бегавшие в суд в свободные часы, и полились новые рассказы, полные восхищения и удивления. Затем пришли те немногие товарищи, которые посещали суд и, прерывая слова свои громкими рыданиями, старались передать нам более связно содержание речи и те подробности, которыми сопровождался этот блестящий обвинительный акт, пред'явленный правым преступником своим неправым судьям.

(Е. Брешковская. Ипполит Мышкин и арх. кружок стр. 28-41).

Мышкин в крепости.

(Из воспоминаний М. Попова).

...Мышкин стоял отдельной фигурой среди революционеров 70 годов. Его революционное чувство накоплялось суровой действительностью его жизни. Впечатлительная организация натуры, при богато одаренном уме, с самого детства могла реагировать только отрицательно на ту обстановку, которая выпала на его долю, как на сына кантониста. Вот почему, когда он вступил в ряды борцов 70-х годов, то рядом с его теоретическими обоснованиями ярко выступило накопленное еще в детстве революционное чувство, и вот почему Мышкин всегда и прежде всего реагировал чувством на окружающее его. Каким был всегда, таким остался и в равелине, и потом в Шлиссельбурге.

В первых же записках, писанных им мне в равелине, он предлагал протестовать против жестокого и беззаконного обращения с нами. Как теперь, так и тогда было одно средство, к которому прибегали в борьбе с правительством—это голодовка. Мышкин был против голодовки, как средства. „Такой протест, писал он, напоминает мне протест некрасовского Якова, верного холопа примерного,—казнись, мол, моими страданиями. Нашим палачам, и особенно здесь, в равелине, наша тихая и спокойная смерть, которую они, строгим соблюдением тайны в этом застенке, могут с удобством выдать за смерть от естественных причин, будет только на руку. Нет, я согласен и голодать, но вместе с тем будем бросать, чем попало, в наших палачей, будем кричать, бить стекла, — кратко, делать все возможное в этой обстановке, чтоб наш протест стал известен вне стен застенка. Пусть нас перебьют! Во всяком случае такой протест тем удобен, что не останется без следа в жизни,— перебьют нас или уступят нам, т. е. дадут нам книги, свидания с товарищами и переписку с родными“.

Предложение Мышкина я передал через Фроленко, сидящего в нашем крыле,—Тригони, Морозову, Златопольскому и Исаеву, которыми предложение это и было принято; но в виду надежд, что в этом году, быть может, нас увезут в Сибирь, протест был отложен до осени.

Но 1-го августа нас увезли не в Сибирь, а в Шлиссельбург, куда попало в первую голову наше крыло. Первую партию рассадили внизу, один от другого через камеру. Меня посадили в камеру № 17. Тишина была мертвая. Кроме бряцания кандалов на моих ногах да суетни жандармов по коррлдору, я ничего не слыхал. На другой день над моей камерой справа и слева послышался тот же звон кандалов. Я тотчас инстинктивно вскочил на стол и стал стучать ложкой в стену — „кто“? Справа на мой ответ ни звука, там в камере № 28, как потом уж стало известно, когда он умер в 88 году, сидел Арончик, помешавшийся на том, что он английский лорд. Потеряв надежду направо, стучу налево. Ответ был: „я — Мышкин“. — „Отлично, ответил ему я, очень рад, что мы соседи, я — Попов“. Узнавши о соседстве с Мышки-

ным, я почувствовал себя ровно выпущенным на волю. Новая тюрьма, совсем неизвестная, специально построенная для нас, в первые дни пребывания в ней, вызывала тяжелые думы. Думалось, если вызывающие ужас рассказы на воле о Петропавловских мешках-казематах не удовлетворили чувства мести к нам Толстого, [1]) то, значит, здесь, в этой камере, я буду окончательно замурован и ни одного живого слова не услышу до конца моих дней. И вдруг слышу: „Я — Мышкин".

Обменялись мы несколькими словами, причем Мышкин высказал свое предположение, что прикованные болтами к стене кровати, вероятно, предоставят нам удобство для перестукивания, и мы решили отложить наш разговор до вечера, когда кровати будут спущены. Я горел желанием поскорее дождаться вечера и проверить предположение Мышкина. Тем нетерпеливее я ждал проверки предположения, что иначе нам, сидящим в разных этажах, пришлось бы довольно громко стучать и тем облегчать задачу жандармов — слышать наш стук. Уже и этот наш короткий разговор не ускользнул от бдительности жандармов, и если Ирод, [2]) которому, я слышал, у моей камеры жандарм докладывал, что я стучал, отнесся снисходительно, сказав самонадеянно жандарму: „Пускай его стучит"—то только потому, что он был уверен, если не в возможности перестукивания, при размещении нас в шахматном порядке, то в большой трудности. Вечером, как только спустили нам для спанья кровати, я и Мышкин сейчас же начали стучать в раму кровати у болта,— и опыт блистательно оправдал предположение Мышкина.

Ум и сердце Мышкина работали в том же направлении—протестовать во что бы то ни стало. „Теперь, говорил он мне, не остается у нас никаких надежд на увоз в Сибирь, в который я и раньше не верил, и в котором теперь должны разочароваться и те, которые до перевода сюда надеялись на это. Эта тюрьма—наша могила, мы заживо погребены здесь, и чем скорее смерть избавит нас от такой жизни, тем лучше для нас. Завидую я тем, говорил он, кто был приговорен к смертной казни и помилован. Да, я завидую вам, Родионыч. Вы имеете нравственное право заявить нашим палачам, что вы отказываетесь от милости и требуете, чтобы над вами был исполнен приговор суда. Такого права я не имею, но я заставлю их казнить меня, если останется только это средство избавить себя от варварской пытки надо мной".

Я с Мышкиным были совершенно отрезаны от остальных товарищей по заключению. Вверху направо, как я уже сказал, сидел Арончик, сумасшедший. Внизу камера № 16 была занята жандармами, и таким образом я был отрезан от Морозова, сидящего в 15 №. Мышкин сидел в 30 № вверху, налево от меня; с ним рядом в 31 №, как оказалось в 87 году, сидел Караулов, не отвечавший на стук Мышкина.

Пока наши попытки снестись с остальной тюрьмой терпели неудачу за неудачей, в один вечер после ужина, часов около 10-ти, когда тюрьма

---

[1]) Граф Д. А. Толстой, тогдашний министр внутренних дел.
[2]) Надзиратель Соколов.

была закрыта, раздалось пение. Я сейчас же узнал чудный баритон Егора Ивановича Минакова, который пел свою любимую песню:

Я вынести могу разлуку,
Грусть по родному очагу,
Я вынести могу и муки
Жить в вечно праздной тишине,
Но прозябать с живой душою,
Колодой гнить, упавшей в ил,
Имея ум, расти травою,
Нет,—это свыше моих сил.

— Это, стучу я Мышкину, — поет Минаков, я узнаю его голос и его любимую песню.

— Нужно поддержать его, отвечает мне Мышкин.

Не успели мы условиться, как нам поддержать Минакова, как загремела тюремная дверь в корридоре, и явился Соколов, слывший потом в тюрьме, с легкой руки Лопатина, Иродом. Он начал с того, что открыл форточку в камере Минакова, сидевшего на противоположной стороне от меня и Мышкина, в камере 1-й, и сказал ему громко: „Если будешь безобразничать, будешь связан". В ответ также громко сказал Минаков: „Убирайся к чорту, варвар!"

Форточка хлопнула, Ирод нервно прошел по корридору, заглянул в стекла камер внизу, вбежал по винтовой лестнице вверх, где, вероятно, проделал то же самое. Очевидно, он проверял, какое впечатление произвело пение Минакова на обитателей тюрьмы.

Минаков продолжал петь. Окончив свое дело, Ирод вновь направился к камере Минакова. Камера отворилась, Минакова начали вязать. Тогда я и Мышкин закричали: „Варвар! Палач"! Я прокричал в этот же раз: „Я требую смертной казни, я отказываюсь от этой жестокой милости и требую, чтоб надо мной был исполнен приговор суда"! Из камеры Минакова послышались слова Ирода — „а, ты еще драться?" И затем ответ Минакова: „А что-же? ты думаешь, палач, я позволю бить себя, не отвечая тем же, пока буду иметь возможность?" Связав Минакова, Ирод помчался опять наверх. Открылась форточка Мышкина, и раздался голос Ирода: „Если будешь кричать, подыму койку и будешь спать на голом полу!". „Убирайся к чорту, палач!" — ответил Мышкин. Форточка захлопнулась, Ирод спустился вниз, открыл форточку у меня и сказал: „Зачем кричать? это ни к чему не поведет. Если что нужно, надо сказать начальству". Я ответил ему: „Я уж сказал, что мне нужно, и еще раз повторяю: передайте, кому следует, например варвару, вашему министру внутренних дел, Толстому, что я отказываюсь от милости, считая ее жестоким издевательством надо мною, и требую, чтобы надо мной был исполнен приговор суда — смертная казнь".

„Хорошо, я передам коменданту; завтра он сам придет".

Вообще Ирод перетрусил в этот раз. Об'яснить это новостью для Ирода, неуменьем найтись, как быть в подобном случае, конечно, было бы наивностью с моей стороны. Потом я оценил его хорошо на своей

шкуре и по его любимой фразе — „я не таких усмирял!“ Да и до протеста Минакова, еще в равелине, я познакомился с этой стороной способностей Ирода, когда он, заметив мой стук с Баранниковым, ворвался с жандармами, схватившими меня один за одну, другой за другую руку, чтоб Ирод безопасно мог подойти ко мне и сказать мне только это: „Ты не веди со мной борьбы, иначе ты будешь меня помнить!“ Только это он мне и сказал, но по тому, как он сказал, и как играла в это время его физиономия, я вполне понял, что предо мною патентованный мастер дел застенка. В данный момент — самое вероятное об'яснение, — он еще не имел полномочий на этот счет и потому не развернул всех своих способностей.

На другой день Ирод действительно привел ко мне коменданта, которому я повторил то, что накануне сказал Ироду. На это комендант сказал:

„Зачем падать духом? не все же будет так! У нашего государя милостей много“. Получив в ответ от меня, что я знаю, что таких милостей, каковою пользуюсь я, действительно много, он что-то пробормотал себе под нос и ушел от меня. Минаков продолжал петь, а Ирод продолжал его вязать.

Я и Мышкин пришли к заключению, что, пока не сговоримся на общий протест, единичные протесты не будут иметь такого значения, из-за которого стоило бы подвергать себя надеванию горячечной рубахи (в Шлиссельбурге связывали не веревкой, а надеванием горячечной рубахи). Я прокричал через коридор Минакаву: „Егор Иванович! Мы думаем, что нужно подождать с протестом в одиночку, пока не придут все к заключению, что единственный выход из нашего положения — или смерть, или добиться более человечных условий жизни“. На это Минаков ответил мне так: „Другие, как хотят, я же жить при таких условиях не могу, я или добьюсь свидания с товарищами, книг, табаку, переписки с родными, или умру“.

Как трудно было нам на первых порах в Шлиссельбурге сноситься между собою, показывает то, что, когда на меня надевали горячечную рубаху за вышесказанные слова Минакову, я услышал крик Кобылянского, сидевшего на противоположной стороне вверху: „Долгушин, что с тобой делают, и чего ты добиваешься?“. Очевидно, он говорил по адресу Минакова, приняв его за Долгушина. Через 2 — 3 дня Минаков прекратил петь, и я с Мышкиным думали, что Минаков тоже пришел к такому же заключению на счет протеста, что и мы. Но мы ошиблись, Минаков начал голодовку. Начал ли он голодовку с первого дня протеста, когда пел, или потом, — не знаю. Прошло дней 5 — 6 с начала протеста, прихожу я с гулянья и узнаю от Мышкина, что Минаков бросил в кого то чашкой, ибо он, Мышкин, слышал звон покатившейся чашки и слова, кем-то сказанные Минакову: „За что же ты меня ударил? ведь я не сделал тебе никокого зла!“.

Оказалось потом, что Минаков не чашкой бросил в кого-то, а ответил пощечиной доктору на заявление последнего, что тот должен кормить

его насильно, по приказанию. Чашка же покатилась по полу потому, что доктор выронил ее из рук, когда Минаков его ударил.

Голодовка Минакова прекратилась с этого дня, и ему, по нашим наблюдениям, дали кое-что из требуемого, по крайней мере, мы слышали, как Ирод, открывая камеру Минакова, каждый раз распоряжался, чтобы подали то папиросы, то книги.

Спустя неделю по прекращении Минаковым голодовки, часа в 4 вечера, открылась дверь камеры Минакова, и Ирод сказал: „На суд!" Минаков пробыл в суде часов до 10 и был приведен в свою камеру. Еще спустя неделю меня с гулянья увели в старую тюрьму, где я просидел до гулянья следующего дня. В 7-м часу утра, сидя в старой тюрьме, я слышал залп. По возвращении в тюрьму в свой 17 №, я узнал от Мышкина, что в 7 часов утра был казнен Минаков, и что, идя на казнь, он прокричал в корридоре: „Прощайте, товарищи! Меня ведут убивать!"

Мышкина ужасно мучило то, что на последнее прости Минакова никто не ответил. „Более всех я виню себя, говорил Мышкин. Конечно, об'ясняется это неожиданностью, незнанием, что Минакова приговорили к смертной казни, неумением сразу найтись. Но все же другие более, чем я, могут оправдать себя всем этим, так как многие, вероятно, совсем не знали, что значил крик Минакова и как нужно было понимать его. А я все же знал кое-что и должен был ожидать казни Минакова. А как тяжело было бедняку Минакову всходить на эшафот с мыслью, что на его последнее прости никто из нас, его товарищей, не откликнулся".

Простучав мне это, Мышкин бросился к двери и я услышал: „Товарищи, да будет всем нам стыдно, что мы не ответили на последнее прости Минакова. Себе я этого никогда не прощу. Как тяжело было всходить ему на эшафот без теплого сочувственного отклика товарищей. Представьте только это себе, и ваша совесть также упрекнет вас, как моя совесть упрекает меня".

Тотчас явился Ирод и прокричал Мышкину: „Чего орешь?" — „Почему вы не дали нам проститься с Минаковым?" ответил Мышкин Ироду. „А вы кто такие?" заорал вновь Ирод. „Мы люди", — ответил ему Мышкин, — „а вы наши палачи!" Форточка закрылась, и этим закончился протест Минакова.

Дня за 3 до казни Минакова, всех нас обошел Ирод с младшим помощником, тем самым Яковлевым, который был последним начальником Шлиссельбургской тюрьмы, при котором в числе 8 человек я вышел из Шлиссельбургского застенка. Они опросили нас, кто и чем желает заниматься, обещали нам выдать грифельные доски, занумерованные тетради и чернила и в скором времени обещали разрешить ручные работы в камерах.

— Напр., какие работы разрешат нам? — спросил я.

— Напр., — ответил Ирод, — плетенье корзин, что-ли, а может, и еще что".

На другой день, возвратясь с гулянья, мы нашли в стенах камер вывешенные инструкции, в которых, между прочим, обещалось для отличающихся хорошим поведением: беседы со священником, чтение книг из тюремной библиотеки, занятия в камерах ручным трудом, освещение камер в неположенное время (последняя из льгот так и осталась для нас загадкой, ибо камеры освещались всю ночь) и пр. За нарушение порядка в тюрьме, как-то: за пение, крик, шум, свист, — грозили карцером от 4 до 8 дней с лишением горячей пищи, за более же важные проступки — карцером с наложением оков от 4—8 дней и розги, за оскорбление действием начальства — смертная казнь. Некоторые льготы действительно дали, хотя и не сразу, а так через месяц, два по столовой ложке...

...Под Рождество я с Мышкиным всю ночь перестукивались. Это был единственный за наше знакомство р а з г о в о р, когда он говорил мне о своей семье и, главным образом, о своей матери. Из этого разговора я узнал, что он очень любил свою мать, и тут же выразил свою просьбу, что, если он умрет, не увидавшись с матерью, чтобы я послал на имя его брата Гр. Ник. Мышкина письмо матери, в котором бы сообщил, что он не в состоянии был переживать те оскорбления, каковым его подвергало русское правительство, и что умер с мыслями о ней.

В 4 часа утра — час, когда Ирод ежедневно появлялся, чтобы заглянуть к нам в камеры, все ли благополучно, — он подошел к моей камере, открыл форточку и сказал: „Если будешь стучать, будешь связан“. Я ему ответил обычным в таких случаях: „убирайся к чорту!“ К Мышкину он не зашел на этот раз. В 7 часов утра, во время чая, ко мне в камеру вошли 4 унтера и стали предо мною, а Ирод, стоя позади их, сказал мне:

— Стучать здесь не полагается, и, если ты будешь продолжать, то будешь наказан.

На что я ответил ему:

— Делай ты свое дело, но оставь меня в покое, избавь меня от своих наставлений.

— Читал § инструкции, так помни-же, — зарычал Ирод. На это я ответил ему тем, что сорвал со стены инструкцию и бросил ему. Жандармы затопали предо мною ногами, делая вид, что они готовы к наступлению. Но Ирод, сделав „ш-ш-ш“ — обычное свое об'яснение с жандармами в присутствии нашем, вышел из камеры, жандармы за ним.

После этого инцидента в моей камере, Мышкин весь день, не переставая, ходил по своей камере, и когда я попытался позвать его во время обеда, пользуясь прекращением его шагов во время обеда, то он ответил знаком „же“ — условным знаком, что он не желает говорить. Во время ужина в этот же день, 25 декабря, когда открылась камера Мышкина, я услышал звон тарелки, покатившейся по железным перилам корридора. Вслед за этим произошла в камере возня и крики Мышкина: „Палачи! разбойники!“ Потом открылась камера надо мной, и туда перенесли Мышкина. Когда дверь закрылась, Мышкин простучал мне ногою в потолок,

что он слышал, что Ирод сказал мне в „чай“, не отзывался же на мой зов из боязни, чтобы разговор со мной не поколебал его решения сделать то, что он сделал.

— Я бросил чашку в Ирода и сейчас связан, — сказал Мышкин.

Связанным Мышкин оставался до чая следующего дня. В „чай“ к нему вошли, развязали и дали чай.

В 10 час. 26 декабря его повели на предварительный допрос, который производил комендант Покрошинский.

По возвращении Мышкин рассказал мне, что на допросе комендант был чрезвычайно вежлив с ним, и он, Мышкин, сказал ему, что прибег к такому средству, чтобы заставить правительство казнить его, так как на требование — лучше казнить, чем истязать душу и тело, — не обратили внимания и не исполнили до сих пор этого требования. Что если и в этот раз его не казнят или не перестанут с ним поступать так, как поступали до сих пор, то он будет добиваться своей казни всеми возможными средствами.

После этого Мышкин просидел до 19 января. Так что и я, и он думали, что дело кончится ничем.

В продолжение этого времени дали парные прогулки для 6 человек, именно Фроленко и Исаеву, Тригони и Грачевскому, Морозову и Караулову; я же на две недели был лишен прогулок.

19 января вечером открылась камера Мышкина, и Ирод сказал ему: „на суд“. После этого Мышкин уже не возвращался в тюрьму.

26 января часов в 8 я слышал ружейный залп.

А 29 июня я обозвал Ирода палачем за жестокое обращение с душевно-больным Арончиком, за что и был уведен в старую тюрьму, сидел в той камере, где перед казнью находился Мышкин, и на крышке стола прочел: 26 января — „я, Мышкин, казнен“. Очевидно, надпись сделана за часы, быть может, за минуты до смерти...

Так прекратилась жизнь одного из выдающихся борцов за свободу России, Ипполита Никитича Мышкина.

(Былое. — 1906 г. № 2. стр. 2[illegible]—271)

О деле 193-х.

Из воспоминаний Синегуба.

18-го сентября 1877 года, наконец-то, наступил день долгожданного суда. Сначала 193-х подсудимых выводили на суд, заседавший в здании окружного суда, всех вместе, так, что мы занимали не только место залы, предназначенное для подсудимых, и часть которого носила у нас название „Голгофы", но и все места для публики. Для всей многочисленной стражи нашей места в зале не оставалось, и только кое-где торчало из нее по несколько фигур, между стенами и местом, где были мы.

На „Голгофу" обыкновенно приводили Ковалика, Войнаральского, Рогачева, Рабиновича, Костюрина и еще кого-то, но кого, теперь не помню.

Пока шло чтение обвинительного акта, и совершался привод многочисленных свидетелей к присяге, нас приводили всех 193-х в зал суда, но когда окончилась эта процедура, особое присутствие сената, в распорядительном заседании, порешило разделить на 17-ть групп и начать разбирательство дела по группам.

Это постановление вызвало взрыв негодования у подсудимых и, по возвращении в этот день из суда, между подсудимыми везде по клубам [1]) состоялись решения — протестовать против суда. Правда, к протесту пристали далеко не все, но с уверенностью, можно сказать, что за протест было никак не менее половины подсудимых. Протест должен был заключаться в заявлении суду, что мы его не признаем, и что допущенное им разделение нас на группы нарушает наше право знать все, что происходит на суде, а следовательно, и интересы нашей защиты. Сначала было постановлено не идти на суд, когда явятся приглашать туда, и прежде всего должны были это сделать те, которые входили в состав первой группы. В первую же группу попали, между прочим, все бывшие на лицо члены чайковского кружка.

Я отчетливо помню, что было решено возложить заявление протеста на одного из чайковцев; посланный должен был заявить протест от всех подсудимых с требованием оставить нас в покое в тюрьмах и судить нас заочно, как судьям будет угодно. Выбор пал на меня. Я приготовил такую маленькую речь: „Я заявляю особому присутствию правительствующего сената от себя и от всех товарищей, уполномочивших меня на это, что мы не признаем вашего суда, так как вы нарушили наши права и интересы нашей защиты. Мы требуем судить нас заочно и просим оставить нас в наших тюрьмах, где мы столько лет ожидали хотя бы приличного суда — и не дождались". В день, назначенный для судебного заседания, я, по приглашению тюремных властей идти в суд, вышел из казармы в галлерею и внизу попал в кучку не-

[1]) См. статью „Из воспоминаний о деле 193-х" Ивановой-Борейши.

протестующих, которые шли туда же. Помощник управляющего и надзиратель, выпускавшие меня из камеры, были удивлены, что я без всяких возражений и разговоров пошел в суд, в то время, как большинство из первой группы заявили о своем нежелании идти в суд и оставались в своих камерах. Тюремные власти, не зная, как им быть с протестантами, оставляли их в покое, пока из суда не было приказано тащить протестантов в суд силою, если они не пойдут добром.

Когда я пришел в суд, я был введен на „Голгофу". На прежних местах сидела публика. На Голгофе сидели уже Рогачев и Рабинович, которых притащили силою, раньше, чем привели меня. Я заявил протест от себя и от пославших меня товарищей, в словах, приведенных мною выше. И лишь окончил я свою маленькую речь, как председатель суда Петерс заявил: „вон его!" Меня подхватили два жандарма и поволокли, но прежде чем успели вывести меня за решетку, Петерс крикнул снова: „Вы будете отвечать на вопросы?" — „Нет, я с таким судом не хочу разговаривать". — „Вон его!" заорал Петерс, и меня вывели. В то время, как меня вытаскивали из залы суда, Рогачев и Рабинович, перевесившись через барьер Голгофы, в свою очередь кричали суду: „Мы присоединяемся к протесту Синегуба, требуем вывести и нас из суда". Петерс не обращал на них никакого внимания, пока Рабинович не крикнул: „Вы не судьи — а опричники", а Рогачев обозвал суд — шемякиным судом. Тогда вывели из суда и их. Из подсудимых женщин, сидевших далеко от нас на противоположной стороне от Голгофы, некоторые (я помню Кувшинскую и Сашу Корнилову) тоже закричали, что они присоединяются к заявленному мною протесту, но Петерс только грубо крикнул в их сторону: „А вы там — сидите!"

Мое представительство от товарищей не было признано судом и в этот день силком таскали в суд всех подсудимых, приставших к протесту, и кого-то даже на руках принесли солдаты, так как не могли заставить идти. Все приводимые протестанты произносили по адресу суда или оскорбления, или даже целые речи. Из числа подсудимых первой группы наиболее остроумную и едкую речь по отношению к суду произнес Волховский; произнес при том под самый нос суду, так как, пользуясь своей глухотой, Волховский добился того, чтобы председатель призвал его с места подсудимого к самому судейскому столу.

Надо отдать справедливость суду, что, по его распоряжению, всех протестантов после того, как они заявили протест, больше в суд уже не таскали, но пока разбиралось дело группы, каждый раз перед заседанием суда в форточку камеры просовывалась голова надзирателя, и раздавался вопрос: „в суд пожалуете?" Встретив отрицательный ответ, форточку захлопывали и подсудимых оставляли в покое. По окончании судебного следствия по первой группе, в ночь с 11 на 12 ноября 1877 г., несколько человек, показавшихся властям почему-то наиболее яркими протестантами, перевели из Д. П. З. в Петропавловскую крепость. И я туда попал снова после 2-х летнего пребывания в Д. П. З.

. . . .

В конце марта 1878 года нам в камеры Петропавловской крепости был доставлен печатный приговор судившего нас Особ. Прис. Сената. Я и Стаковский были приговорены Особ. Прис. Сената к 9-ти летней каторге в крепостях, но относительно нас двоих суд постановил ходатайствовать перед царем о замене каторги поселением в Сибири в местах не столь отдаленных.

Мой незабвенный защитник Владимир Николаевич Герард, которого я называл про себя — „чистокровным джентльменом", и от которого я не успел отказаться во время своего протеста перед судом, почему он и посещал меня в крепости вплоть до вхождения приговора в законную силу, побывав у меня после об'явления приговора, поздравил меня с избавлением от каторги.

„Ну, это еще бабушка на двое сказала", смеясь заметил ему я, вполне, впрочем, не сомневаясь в душе, что ходатайство суда будет царем уважено.

Владимир Николаевич горячо стал уверять меня, что никогда царь в ходатайстве суда не отказывает, что до сих пор, по крайней мере, такого случая не было. Увы, на этот раз незабвенный Владимир Николаевич ошибся. Царь не уважил ходатайства суда относительно целых 12 человек.

Суд приговорил Мышкина, Ковалика, Войнаральского, Рогачева и Добровольского к 10 летней каторге, меня, Шишко, Чарушина, Союзова, Квятковского — к 9 летней, Сажина и Брешковскую к 5 летней. Суд не ходатайствовал только за одного Мышкина, так как Мышкин-де отягчил свое преступление покушением на убийство казака в Якутской области, при его неудачной попытке освободить Чернышевского. Обо всех остальных ходатайствовал о замене каторги — Ковалику, Войнаральскому, Рогачеву и Муравскому поселением в отдаленнейших местах Сибири, мне — поселением в местах не столь отдаленных, Шишко, Чарушину, Союзову, Квятковскому — житьем в Сибири без лишения всех прав, а лишь с ограничением, Сажину и Брешковской — ссылкой в одну из отдаленных губерний Европейской России. Но относительно всех этих лиц царь ходатайства не уважил и лишь приказал засчитать нам годы сидения в одиночках в срок каторги. Отсюда получился курьез, что я, по мнению суда более виновный и заслуживший даже по ходотайству более тяжелого наказания, чем Квятковский (я лишился всех прав и ссылался на поселение, Квятковский шел на житье с ограничением прав) наказывался легче. По приказанию царя, мы оба шли в каторгу, но из моих 9 лет каторги сразу высчиталось 4 года 8 месяцев сиденья до приговора и месяц в дороге, а у Квятковского, много позже арестованного и просидевшего только 1½ года, исключались только эти последние да месяц в дороге.

Говорили в то время, что мы были обязаны отклонением ходатайства суда царем шефу жандармов Мезенцеву и министру юстиции Палену, которые, возмутившись мягкостью приговора, — помилуйте, один только Мышкин из 193 подсудимых угодил на каторгу без всякого хо-

датайства — представили царю свои соображения на счет невозможности такого скандала. Чуть не пять лет мудрили над созданием процесса, спасая отечество, создали процесс-монстр в 193 человека, нашумели на весь русский мир, и вдруг, гора мышь родила: из всех крамольников, представших пред сенаторами, даже с точки зрения этих последних, только один оказался бесповоротно достойным каторги: скандал.

Жихарев, Желиховский, Пален и Потапов (тогда уже спятивший с ума и замененный Мезенцевым) терпели, очевидно, полное фиаско. Этого допустить нельзя было. И вот мы 12-ть явились козлами отпущения с целью хоть некоторого смягчения скандала.

„БЫЛОЕ“ 1906 № 10-й. Из воспоминаний Синегуба. Стр. 57—59 и 60—62.

Из воспоминаний Ивановой-Борейши о деле 193-х.

Зала суда в этот день представляла собою невиданное зрелище: несколько подсудимых (которые считались „опасными“) сидели на возвышенном месте, которое тут же было названо „Голгофой“,—остальные подсудимые разместились по всей зале. Большинство из них провели в одиночном заключении от трех до четырех лет, и каждый был ошеломлен в буквальном смысле, попав в такое большое общество; правда, сидевшие в „Предварилке“ имели между собою сообщения и даже за последнее время могли говорить друг с другом, крича в окна и беседуя в „клубах“ [1]), но это все таки не то, что видеть людей перед собою и говорить с ними самым обыкновенным способом, как говорят все люди „на воле“. Каждый искал в толпе своих знакомых и старался наговориться, как можно больше. С незнакомыми надо было перезнакомиться и узнать, кто эти товарищи по скамье подсудимых. Общее дело „о пропаганде в 36 губерниях“ было сшито мастерской рукой прокурора Желиховского, но, не смотря на это, многие из подсудимых не только не были знакомы между собой, но даже ровно ничего не знали друг о друге. Разумеется, это не относилось к тем, которые составляли отдельные группы и кружки. Были и такие группы, которые имели между собою связь и даже имели общих руководителей; но в общем, все таки, была масса незнакомых между собою людей, которых прокурору необходимо было выставить, как „преступное сообщество“.

В зале стоял невообразимый гул от разговоров, несмотря на звонки председателя, призывавшего к порядку. Среди множества незнакомых лиц я снова увидела ту девочку — подростка, с которой встречалась в Москве. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что это была Софья Львовна Перовская, та самая, о которой я много слышала, как об одном из видных деятелей кружка чайковцев. Я знала, что кружок

[1]) Клубами назывались ватер-клозеты, через трубы которых можно было разговаривать.

чайковцев организовал петербургских рабочих, и Перовская в этом деле играла не последнюю роль. Она была арестована вместе с другими пропагандистами, но против нее не было серьезных улик, и обвинения, по счастливой случайности, были так слабы, что даже прокурор Желиховский счел возможным не только освободить ее на поруки, но даже не арестовывать ее снова перед судом, как это было сделано с другими подсудимыми, бывшими на поруках. Таким образом, она могла являться на суд в качестве подсудимой, живя на воле. Это не помешало ей, однако, присоединиться к тем из товарищей, которые назывались „протестантами“, — они отказались от суда и не пожелали принимать в нем никакого участия. Так как я была тоже „протестанткой“, то в зале суда мне не пришлось присутствовать долго, и Софью Львовну я снова увидела только по окончании суда, когда она стала являться к нам на общие свидания. Она была в числе оправданных судом. На женском отделении „Предварилки“ тоже освободили массу народа, так что там осталось всего шесть человек, которых, в ожидании высылки по приговору суда, держали довольно свободно: кто желал, мог помещаться в общей камере, а кто оставался в одиночных — ходили обедать или просто проводить время в общую. Свидания разрешались не только с родными, но и со знакомыми, так что все освобожденные, которые оставались в Петербурге, считали долгом посещать нас. В конце концов их стали прямо пускать в нашу общую камеру, которая, поэтому, стала представлять собою два раза в неделю настоящий салон. Женщины, как это всегда бывает в делах посещения тюрьмы, особенно старались окружить нас вниманием; им было совестно, как говорили некоторые, что они пользуются свободой в то время, как мы сидим под замком. Нам старались приносить побольше новостей с воли, книг, газет, лакомств. Софья Львовна была из самых старательных.

Я особенно помню одно посещение, когда она пришла сообщить нам неприятную новость о том, что наши товарищи, приговоренные к каторге и сидевшие в Петропавловской крепости, увезены неожиданно в Харьковскую центральную тюрьму. Тут, как известно, случилось небывалое дело: суд сам ходатайствовал перед верховной властью о замене каторги ссылкой на поселение в Сибирь, адвокаты уверяли, что не бывало таких случаев, чтобы ходатайство суда не было уважено, и потому все осужденные и их родственники свыклись с мыслью о том, что они пойдут на поселение. И вдруг пришла весть, что ходатайство не уважено, некоторым об’явлено, чтоб они собирались в Сибирь на каторгу, а пятеро из наших товарищей спешно увезены в „централку“. Это известие подействовало на всех удручающим образом. Всем было тяжело и не хотелось говорить о посторонних предметах. Я видела, что у Перовской подергиваются губы и подбородок, и она делает над собою усилия, чтобы скрыть слезы. Но она быстро овладела собою и начала торопясь сообщать нам другие новости, чтобы отвлечь наше внимание.

„Былое“. 1906 г. № 3. Стр. 83—85.

В. Ленин о корифеях 70-х годов.

1902 г.

... Вспомните, с каким несравненным, по-истине „Нарциссовским“ высокомерием поучали эти мудрецы[1]) Плеханова: „рабочим кружкам вообще (sic!) недоступны политические задачи в действительно практическом смысле этого слова, т. е. в смысле целесообразной и успешной практической борьбы за политические требования“. (Ответ ред. „Р. Д.“, стр. 24). Есть кружки и кружки, господа! Кружку „кустарей“, конечно, недоступны политические задачи, покуда эти кустари не сознали своего кустарничества и не избавились от него. Если же эти кустари, кроме того, влюблены в свое кустарничество, если они пишут слово „практический“ непременно курсивом и воображают, что практичность требует принижения своих задач до уровня понимания самых отсталых слоев массы,—то тогда, разумеется, эти кустари безнадежны, и им, действительно, в о о б щ е н е д о с т у п н ы п о л и т и ч е с к и е з а д а ч и. Но кружку корифеев,—в роде Алексеева и Мышкина, Халтурина и Желябова, доступны политические задачи в самом действительном, в самом практическом смысле этого слова, доступны именно потому и постольку, поскольку их горячая проповедь встречает отклик в стихийно пробуждающейся массе, поскольку их кипучая энергия подхватывается и поддерживается энергией революционного класса. Плеханов был тысячу раз прав, когда он не только указал этот революционный класс, не только доказал неизбежность и неминуемость его стихийного пробуждения, но и поставил даже перед „рабочими кружками“ высокую и великую политическую задачу. А вы ссылаетесь на возникшее с тех пор массовое движение для того, чтобы п р и н и з и т ь эту задачу, для того, чтобы с'у з и т ь энергию и размах деятельности „рабочих кружков“. Что это такое, как не влюбленность кустаря в свое кустарничество? Вы хвастаетесь своей практичностью, а не видите того, знакомого всякому русскому практику, факта, какие чудеса способна совершить в революционном деле энергия не только кружка, но даже отдельной личности. Или вы думаете, что в нашем движении не может быть таких корифеев, которые были в 70-х годах? Почему бы это? Потому, что мы мало подготовлены? Но мы подготовляемся, будем подготовляться! Правда, на стоячей воде „экономической борьбы с хозяевами и с правительством“ образовалась у нас, к несчастью, плесень, появились люди, которые становятся на колени и

---

[1]) Сторонники экономизма из ред. „Раб. Мысли“ и „Раб. Дела“, с которыми вел борьбу Ленин.

молятся на стихийность, благоговейно созерцая (по выражению Плеханова) „заднюю“ русского пролетариата. Но мы с'умеем избавиться от этой плесени. Именно теперь русский революционер, руководимый истинно-революционной теорией, опираясь на истинно-революционный и стихийно-пробуждающийся класс, может наконец — наконец! — выпрямиться во весь свой рост и развернуть все свои богатырские силы. Для этого нужно только, чтобы среди массы практиков, среди еще большей массы людей, мечтающих о практической работе уже со школьной скамьи, всякое поползновение принизить наши политические задачи и размах нашей организационной работы встречало насмешку и презрение. И мы добьемся этого, будьте спокойны господа!

Ленин. „Что делать“. стр. 105—109.

ЛИТЕРАТУРА.

Базилевский В. (Богучарский В.). Государственные преступления в России в XIX веке. Томы I, II, III.
Процесс 50-ти. Ред. В. Каллаша. Изд. В. Саблина.
Процесс 193-х. (Обвинительный акт). Ред. В. Каллаша. Изд. В. Саблина.
Правительственный вестник 1871 года (отчет о деле о заговоре).
Р. Кантор. В погоне за Нечаевым.
Былое 1906, 1907, 1918, 1919, 1922 г.г.
Сборник. Речи и биографии Бардиной, Алексеева и др.
Соч. Некрасова.
Е. Брешковская. Ипполит Мышкин и архангельский кружок.
Революционная журналистика, ред. В. Базилевского.
Тун. История революционного движения в России.
Степняк-Кравчинский. Подпольная Россия.
Ю. Стеклов. Борцы за социализм.
Голос минувшего 1918 г.
Г. Плеханов. Русский рабочий в revol. движении.
А. А. Шилов. Что читать по истории русского революционного движения. Петербург. Госиздат. 1922 г.

Русская революция в судебных процессах и мемуарах.

Политические процессы 70 годов.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

